

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1970

СО Д Е Р Ж А Н И Е

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

[В. В. Виноградов]. Стиль В. И. Ленина и задачи текстологии	3
В. А. Аврорин (Ленинград). Ленинские принципы языковой политики	6
Ю. А. Бельчиков (Москва). Значение трудов В. И. Ленина для изучения истории русского литературного языка XIX—XX вв.	17
Б. А. Серебряников (Москва). К проблеме отражения развития человеческого мышления в структуре языка	29

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А р н. Ч и к о б а в а (Тбилиси). К вопросу об отношении картвельских языков к индоевропейским и северокавказским языкам	50
А. Л. Ж о в т и с (Алма-Ата). О критериях типологической характеристики свободного стиха	63
Е. С. К у б р я к о в а (Москва). О типах морфологической членимости слов, квази-морфах и маркерах	78

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Т. Б. А л и с о в а (Москва). Опыт семантико-грамматической классификации простых предложений	91
---	----

ИЗ ИСТОРИИ СТИХОВЕДЕНИЯ

С. И. Г и н д и н (Москва). Взгляды В. Я. Брюсова на языковую приемлемость стиховых систем и судьбы русской силлабики (по рукописям 90-х годов)	99
---	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Р е ц е н з и и

«Current trends in linguistics», II	110
В. А. М о с к о в и ч (Москва). <i>D. G. Hays. Introduction to computational linguistics</i>	130

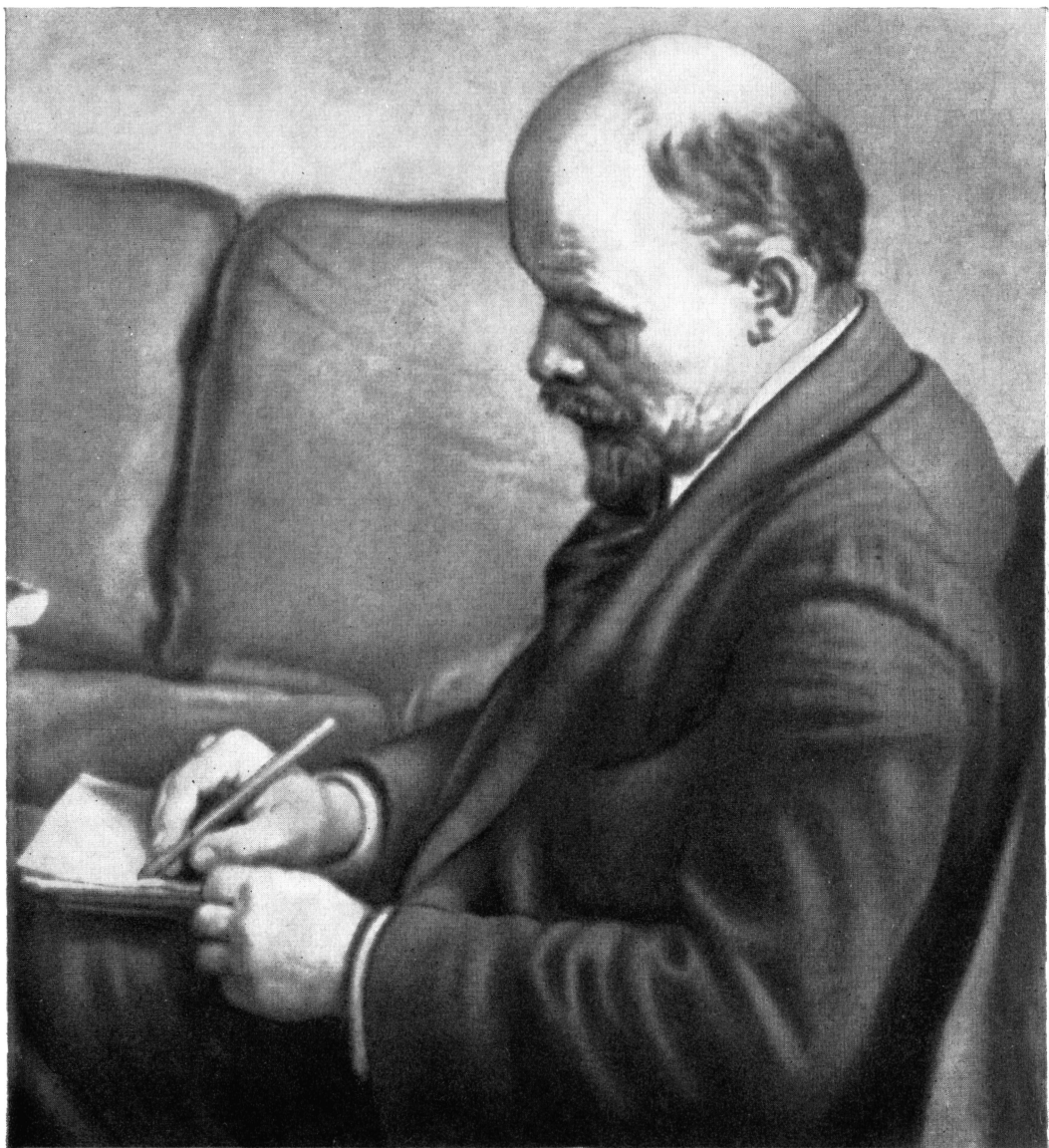
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Л. С. Ковтун (Ленинград). Рукописи с языковедческой тематикой в древнехранилище Пушкинского дома	134
Хроникальные заметки	139

Р Е Д К О Л Л Е Г И Я:

О. С. Азманова, [В. В. Виноградов] (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), Э. А. Макаев, М. В. Панов,
В. З. Панфилов, И. И. Реввин, Ю. В. Рождественский, Б. А. Серебряников,
Н. И. Толстой (отв. секретарь), О. Н. Трубачев

Адрес редакции: Москва, К-31. Кузнецкий мост, д. 9/10, Тел. 228-75-55



В. В. ВИНОГРАДОВ

СТИЛЬ В. И. ЛЕНИНА И ЗАДАЧИ ТЕКСТОЛОГИИ

Текстология, представляющая собою сложный комплекс разнообразных наук общественного и естественного характера, помогает постигнуть стиль выдающихся писателей, определить его глубокую и истинную природу, его подлинную сущность, освободить его от подделок и ложных примесей. Текстологические методы и принципы привели к восстановлению подлинного текста преобладающего количества произведений А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Н. Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова и многих других наших выдающихся художников и публицистов. Текстологический анализ играет совершенно незаменимую роль при исследовании продуктов анонимного творчества в области древнерусской литературы, в области публицистики, журналистики и политических сочинений. Для продуктивной текстологической работы необходимо наличие многих вспомогательных средств и пособий. Особенно ценны словари языка писателя. У нас таких словарей — добросовестных и полных (ср. четырехтомный словарь языка Пушкина) — почти нет. Между тем для подготовки классических изданий произведений таких великих деятелей и писателей, как В. И. Ленин, исчерпывающие и тщательно составленные словари их языка крайне необходимы. Пока же приходится — при подготовке полного собрания сочинений В. И. Ленина, особенно в отношении анонимных, опубликованных без подписи, но нередко связываемых (и не всегда достаточно убедительно) с именем В. И. Ленина статей — руководствоваться методами и приемами текстологии. Вот — две иллюстрации.

Две статьи «Три лозунга либералов» и «Откровенное рассуждение либерала» были опубликованы в 1914 г. в большевистской газете «Правда», вышедшей по цензурным условиям под названиями «Путь правды» (18 марта) и «Трудовая правда» (10 июня).

По мнению некоторых научных работников, эти статьи написаны В. И. Лениным, но ряд других считает, что для такого утверждения нет достаточных оснований. Для сопоставления указанных статей со статьями В. И. Ленина, относящимися к этому периоду, в которых освещаются примерно те же вопросы, были привлечены следующие статьи, опубликованные в 24 томе Полного собрания сочинений В. И. Ленина: «Политические споры среди либералов», «Забота либералов», «„Ответственная оппозиция“ и участие к.-д. в совещании первого марта», «Кадет Маклаков и с.-д. Петровский», а также статья «Беседа о „кадетодействе“» (т. 22)¹.

¹ Акад. В. В. Виноградов с теми же целями атрибуции текста в последние недели жизни работал и над статьей «„Защита отечества“ или борьба за социальную революцию», опубликованной в газете «Социал-демократ» 3 марта 1915 г. Текстологический анализ этой статьи он завершить не успел. — *Ред.*

Результат текстологического анализа статьи «Откровенное рассуждение либерала». Статья «Откровенное рассуждение либерала» гораздо более соответствует стилю Ленина, чем статья «Три лозунга либералов». К сожалению, в ней много цитат из рассуждений барона Мейендорфа (речь от 1 VI 1914). Поэтому ленинский текст невелик и не очень разнообразен.

За принадлежность статьи В. И. Ленину говорят такие качества статьи «Откровенное рассуждение либерала»:

1. Употребление выражений *В этом суть дела*, *В этом гвоздь* — в определенном контексте:

«Кадеты и все либералы боятся демократии больше, чем реакции. *В этом суть дела*»².

И через небольшой абзац: «Либералы боятся выступления на политическую авансцену широких масс. *В этом гвоздь*».

Ср. в «Беседе о „кадетоведстве“» (т. 22, стр. 66): «Здесь гвоздь всего вопроса. Новой России еще нет. Она еще не построена». И через небольшой абзац: «*Вся суть переживаемой эпохи* в России есть определение размеров этой дистанции».

Ср. этот же прием употребления конструкций со словами *суть* и *гвоздь* в статье «Политические споры среди либералов» (т. 24, стр. 347).

2. Прием построения соседних фразовых единств посредством «анафор», т. е. повторения одних и тех же выражений, все усиливающихся в своей выразительности:

«Редко бывают либералы откровенны. Обыкновенно либералы (с Милюковым и партией к.-д. во главе) *следуют правилу*: язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли.

Редко либералы выступают перед публикой с отчетливым политическим рассуждением. Обыкновенно они угощают публику песочком в глаза, уверяя, с божбой и с биением себя в грудь, что мы де тоже демократы.

Ср. повторенное четыре раза: «Суть дела... Суть дела в том, что... Суть дела в том, что... Суть дела в том, что...» в статье «Политические споры среди либералов» (т. 24, стр. 347).

Ср. в «Беседе о „кадетоведстве“» (т. 22, стр. 67):

«Когда марксист „ест“ кадета за „богомольные“ речи Караулова, марксист не в состоянии развить своей положительной точки зрения. Но всякий грамотный человек понимает: демократия не может быть демократией, будучи богомольной.

Когда марксист „ест“ кадета за речи Гредескула, марксист не в состоянии развить своей положительной точки зрения. Но всякий грамотный человек понимает: демократия не может быть демократией, разделяя взгляды Гредескула».

Ср. те же приемы в статье «Политические споры среди либералов» — «Во всех странах...» (т. 24, стр. 348).

3. Для стиля В. И. Ленина характерен прием тройственного сочетания определений, глаголов и квалификаций, напоминающих синонимы, для усиления выразительности.

Например, в статье «Откровенное рассуждение либерала»:

«От отрицательных сторон демократия не избавляет капитализма, она лишь делает возможною *свободную, открытую, широкую классовую борьбу*».

«Ибо только социалдемократия борется *последовательно, решительно, бесповоротно* за культуру в самом широком и полном значении слова, борется против всяких „узко-национальных и шовинистических настроений и деяний“».

² Здесь и далее курсив мой. — В. В.

Откровенное разсуждение либерала.

Рѣдко бываютъ либералы откровенны. Обыкновенно либералы (съ Милюковымъ и партіей к.-д. во главѣ) слѣдуютъ правилу: языкъ данъ человѣку для того, чтобы скрывать свои мысли.

Рѣдко либералы выступаютъ передъ публикой съ отчетливымъ политическимъ разсужденіемъ. Обыкновенно они утѣшаютъ публику песочкомъ въ глаза, утѣряя, съ бѣжкой и съ бисеніемъ себя въ грудь, что мы де тоже демократы.

Чрезвычайно пріятнымъ исключеніемъ явилось поэтому откровенное разсужденіе либерала Мейендорфа, барона, члена Г. Д., «лѣваго октябриста», который, пожалуй, и впрямую будетъ полезенъ кое-кого изъ кадетовъ. Разсужденіе это напечатано въ № 146 «Рѣчи» (1. VI. 1914) и посвящено оцѣнкѣ политическаго положенія.

Г. Мейендорфъ «не вѣрится въ ослабленіе реакціоннаго курса», какъ и всѣ либеральные буржуа. И опять таки, какъ всѣ буржуа, какъ всѣ кадеты, онъ «съ особеннымъ прискорбіемъ констатируетъ, что политика правительства толкаетъ страну на путь опасныхъ крайностей».

Въ чемъ же усматриваетъ либеральный баронъ опасныя крайности?

«Несоотвѣтствіе — пишетъ онъ — между общественными условіями и политическимъ режимомъ становится все глубже. Когда спокойные и умеренные элементы общества усилятся правительства будутъ оттолкнуты на задній планъ, на политическую авансцену выступятъ широкія массы. Ни въ политическомъ, ни въ культурномъ отношеніи мы это де представляемъ замечательнымъ. Суевѣрное преклоненіе передъ демократіей мы чуждо».

Намъ, марксистамъ, тоже чуждо суевѣрное преклоненіе передъ демократіей. Мы знаемъ, что демократія есть наиболѣе совершенный и наиболѣе свободный отъ крѣпостничества строй буржуазнаго общества. Отъ отрицательныхъ сторонъ демократіи не избавляетъ капитализма, она лишь дѣлаетъ возможнымъ свободную, открытую, широкую классовую борьбу.

Марксисты стоятъ за демократію, понимая всю ограниченность буржуазной демократіи. Либеральный помѣщикъ—баронъ словечкомъ противъ «суевѣрнаго преклоненія» выразилъ свою крѣпостническую враждебность къ демократіи.

Демократія есть отсутствіе среднѣвѣковыхъ или крѣпостническихъ привилегій и господства массы. Какъ разъ выступленіе на политическую авансцену широкихъ массъ не правителю Мейендорфу, не нравятся и всѣмъ либераламъ, всѣмъ кадетамъ.

Кадеты и всѣ либералы боятся демократіи больше, чѣмъ реакціи.

Въ этомъ суть дѣла.

Надо быть благодарнымъ Мейен-

дорфу за то, что онъ откровенно раскрываетъ вражду либерализма къ демократіи. Правду знать всегда полезно.

Либералы боятся выступленія на политическую авансцену широкихъ массъ. Въ этомъ гвоздь.

Но чѣмъ объясняетъ эту свою боязнь Мейендорфъ? Здѣсь ему откровенность уже измѣняетъ. Онъ пишетъ:

«Я очень опасаясь, что лозунги широкихъ демократическихъ массъ въ ближайшемъ будущемъ будутъ значительно разниться отъ идеалистическихъ лозунговъ демократіи въ недавнемъ прошломъ. Факты послѣдняго времени показали чрезвычайную восприимчивость широкихъ массъ къ узко-національнымъ и шовинистическимъ настроеніямъ и дѣяніямъ... Я опасаясь, что радикализмъ демократіи въ ближайшемъ будущемъ отлочно уживется съ ультра-націоналистическимъ «воздушевизмомъ», ничеа общаго съ культурой не имѣющимъ. Я иногда формулирую для себя это настроеніе въ такой парадоксальной возможности: будутъ требовать отъ насъ смертной казни для... лицъ русскаго происхожденія и православнаго вѣроисповѣданія».

Если бы баронъ Мейендорфъ былъ искрененъ и если бы ему не набили голову съ юности «идеалистическимъ» хламомъ, то выводъ изъ его «опасеній» былъ бы одинъ: надо перейти къ социалдемократамъ!

Ибо только социалдемократія борется послѣдовательно, рѣшительно, безповоротливо за культуру въ самомъ широкомъ и полномъ значеніи слова, борется противъ вся-

кихъ «узко-національныхъ и шовинистическихъ настроеній и дѣяній».

Когда великорусское крестьянство освободится вполнѣ отъ крѣпостническаго гнета, въ немъ, вѣроятно, усилятся узко-національныя и шовинистическія настроенія, нѣмъ столь энергично насаждаемыя коллегами Мейендорфа по партіи и по «обществу», великорусскими помѣщиками и капиталистами. Намъ, марксистамъ, прекрасно извѣстно, что кроетъ націоналистовъ - реакціонеровъ бываютъ и націоналисты-либералы (или національ-либералы, — октябристы и кадеты именно таковы), бываютъ, наконецъ, и національ-демократы.

Что же отсюда вытекаетъ? То ли, что надо «опасаться» перехода отъ крѣпостнической Россіи къ буржуазно-демократической? Или то, что надо всѣмъ поддерживать такой переродъ и помогать ему, ни на минуту не забывалъ о пролетарской классовой борьбѣ противъ всякой буржуазіи, хотя бы демократической, противъ всякаго націонализма хотя бы мужицкаго?

Г. Мейендорфъ изъ страха передъ демократіей ищетъ спасенія у крѣпостниковъ. А рабочіе говорятъ: съ буржуазной демократіей противъ крѣпостниковъ, въ союзъ рабочаго ахъахъ націй противъ всякаго, въ томъ числѣ и великорусскаго и крестьянскаго и демократическаго, націонализма.



ИТЕ

А.
совъ жён-
прислуги.

«Возвращаясь
изъ Россіи
въ въ Пе-
кинъ». Женщи-
ны и рабо-
дѣльцаго.

65 К.; на

этажъ,

редамъ и

20 шт. 6 коп.



Литература

ГЗ

Кошачья
поначѣ-
достаточ-
нѣ завод-
низмовъ.

ИНЫХЪ

Три лозунга либераловъ.

Либералы спорятъ о тактикѣ оппозиціи въ Г. Думѣ и тѣмъ дальше споръ ихъ мельчаетъ и отходитъ отъ дѣйствительно важныхъ для народа вопросовъ къ вопросамъ мелкимъ и пустошорочнымъ. Начался споръ вопросовъ о томъ, есть ли еще у либераловъ «въра въ возможность мирнаго исхода» изъ современнаго положенія, говоря словами В. Мамакова. Г.г. либералы очень быстро должны были сознаться, что въра этой, въра въ мирное, постепенное развитіе въ наличности не обрѣтается.

Честную политическую мысль это признание обаяло. Отсутствие въра въ мирный исходъ обаяло къ определенной работѣ. Если нѣтъ мѣста въ жизни для мирнаго исхода, то, значитъ, дѣло идетъ къ кризису, о чемъ съ такимъ краснорѣчіемъ говорилъ недавно г. Гучковъ. Кризисъ—это прямое и открытое противопоставленіе силъ стараго и силъ демократіи. Задача, следовательно, стоитъ такъ: работать надъ тѣмъ, чтобы укрѣпить силы демократіи, готовить ее къ грядущимъ эпохъ помочей встрѣтить ее во всеоружіи... Надо, въ первую голову, отказаться отъ либеральной системы систематическаго обмана народа на счетъ возможности реформистской тактики. Не подойдя къ этому пункту, г.г. либералы, естественно, испугались и бросили говорить на эту опасную тему. Какъ бы по молчаливому взаимному договору споръ былъ моментально переведенъ на другіе рельсы. Либеральная пресса рѣшила говорить не о путяхъ грядущаго кризиса, а о лозунгахъ реформъ. Въра въ эти реформы будто бы и нѣтъ уже, но за то есть желаніе во что бы то ни стало отболтаться отъ серьезныхъ вопросовъ кризиса пустяковыми разговорами о перечнѣ стоящихъ на передѣ реформъ. Тутъ мнѣнія либераловъ расходятся.

«Рѣчь», желая показаться пользе, выдвигаетъ три основныя лозунга: реформу избирательнаго закона, реформу Государственнаго Совѣта, ответвен-

ность министерства предъ Думой. «Русскія Вѣдомости» настаиваютъ на платформѣ болѣе «конкретной», болѣе дѣловой, говоря проще—болѣе умирной. На чемъ въ концѣ концовъ сойдутся либералы изъ «Рѣчи» съ либералами изъ «Р. Вѣдомостей» не такъ ужъ важно. Они уже сошлись въ основномъ. Ибо и три лозунга «Рѣчи» есть лозунги либеральной реформы, а не лозунги демократическаго кризиса.

Либерально-реформистскій, а не демократически-радикальный характеръ трехъ лозунговъ «Рѣчи» особенно яствуетъ изъ того, какъ «Рѣчь» разсуждаетъ объ аграрномъ вопросѣ.

На запросъ, почему въ ея лозунгахъ не намѣстъ собой мѣста вопросу о землѣ, — газета указываетъ во 1-къ на неразработанность вопроса и во 2-хъ, на то что «составъ четвертой Думы не благоприятенъ для рѣшенія крестьянскихъ вопросовъ».

Ясно, что либералы толкуютъ объ «аграрномъ вопросѣ» не какъ объ основномъ пунктѣ, подлежащемъ радикальному рѣшенію, а какъ о «крестьянскихъ вопросахъ», рѣшаемыхъ тѣмъ или другимъ составомъ той или другой Думы.

Мало, однако, того, что лозунги либераловъ, есть лозунги буржуазной реформы, а не демократическаго кризиса. Кроме того они еще и обманные лозунги. Ибо и либераламъ должно было бы быть изъ ихъ собственнаго опыта 1906 года хорошо извѣстно, что даже эти реформы при данномъ сопротивленіи г.г. Пуршквичей требуютъ въ качествѣ предисловія... того же кризиса. А разъ такъ, то и въ центрѣ общественнаго вниманія надо ставить не либеральныя лозунги, а вопросъ о кризисѣ.

Кризисъ же идетъ и пойдетъ не подъ знаменемъ трехъ лозунговъ либераловъ, а подъ знаменемъ трехъ лозунговъ рабочей демократіи. Эти три лозунга («три кита») хорошо извѣстны и только они служатъ тѣмъ сборнымъ пунктомъ, вокругъ котораго происходитъ собраніе силъ демократической Россіи. Она собирается не вокругъ либеральныхъ, а вокругъ пролетарскихъ лозунговъ.

Охра

Нижеслѣдующій группой
російской
рабочей
Государствъ

законъ об
розы ра
при п

Ст. 1
нихъ, сод
спортныхъ
всѣхъ безъ
предпріятій
выборной
мѣнять при
богъ этихъ
только и
и газо-отв
дители или
пріятія, пр
о сзопомни
рабочихъ
въ предпр
работъ.

Ст. 2.
въ произв
щю разру
на жизнь
служащихъ
Ст. 3.

Хозяевъ

(Исторіи)

Случаи
шенія как
и здоровъ
чаются не
исполно на
«Проводникъ
исключеніе,
невозможны
водской раб
наго отнош
страніи къ
исторіи раб
извѣстны и
ступной эк
со ж е н
Около 18
фабрикъ Г

На Сест

буржуазнаго изслѣдователя намѣ-
ренно блѣзны въ вѣдѣтельности

рахъ всѣ подвергаются моему уча-

Ср. в «Беседе о „кадетоестве“» (т. 22, стр. 61): «Гг. Бланки и Кусковы своей грубой ложью постарались *замять, затемнить* его. Но мы не должны позволить *заслонять* принципиальные вопросы, мы должны вскрывать все их значение, вырывать из-под груди бланковски-кусковских *извращений, клевет и ругательств* корни интересующих всякого сознательного рабочего разногласий».

Ср. в статье «„Ответственная оппозиция“ и участие к.-д. в совещании первого марта» (т. 24, стр. 373): «... *неуместна, смешна, нелепа и недостойна* была роль кадетских, конституционно-демократических депутатов».

4. В статье «Откровенное рассуждение либерала» почти буквально воспроизводятся ленинские строки из статьи «Политические споры среди либералов» (т. 24, стр. 347).

Здесь читаем: «Суть дела в том, что эта буржуазия больше боится народа, чем реакции».

В статье «Откровенное рассуждение либерала» находим почти то же заявление: «Кадеты и все либералы боятся демократии больше, чем реакции».

В этом суть дела».

Представляется, что для сомнения в авторстве В. И. Ленина нет никаких оснований.

Результат текстологического анализа статьи «Три лозунга либералов». Есть серьезные основания для сомнений в принадлежности этой статьи перу В. И. Ленина.

Обращает на себя внимание наречие *на переди*, принятое редактором за опечатку (вместо *на очереди*).

Для такого понимания нет никаких оснований. В семнадцатитомном Академическом словаре (т. 7, стр. 371) читаем: «*Напереди*, нареч. Устар. и простореч. На передней стороне; спереди. Безобразный придворный Карла с горбом напереди, с горбом назад обнимал царевну. Карамз. Прекр. царевна. || Впереди других. Напереди стоял спесиво, в красной шапке, украшенной золотом, буджаковский полковник. Гог. Тарас Бульба». В лексикографической справке к этой статье отмечается, что это слово впервые зарегистрировано в словаре Вейсмана 1731 г., стр. 728; в Российском Целлариусе 1771 г., стр. 368; в словаре Нордстета 1780 г.

У В. И. Ленина употребление *на переди* не отмечено.

Можно указать еще несколько выражений и оборотов, не свойственных стилю В. И. Ленина, во всяком случае не вполне обычных для него.

Сюда относятся такие: «... веры этой, веры в мирное, постепенное развитие *в наличности не обретается*»; «... прямое и открытое противопоставление сил старого и сил демократии»; «... укреплять силы демократии, *готовить ее к грядущей эпохе...*»; «... *бросили говорить* на эту опасную тему»; «Как бы по молчаливому взаимному договору спор был моментально *переведен на другие рельсы*»; «... даже эти реформы при данном сопротивлении г. г. Пуришкевичей требуют в качестве предпосылки... того же кризиса». (Такая многозначительная пауза с обрывом текста, выражаемая многоточием, для В. И. Ленина прием редкостный.)

Не очень удачна конструкция: «Эти три лозунга („три кита“) хорошо известны и только они *служат тем сборным пунктом, вокруг которого происходит* собиравание сил демократической России».

Итак, на основании анализа стилистических фактов едва ли можно признать, что статья «Три лозунга либералов» написана В. И. Лениным.

В. А. АВРОРИН

ЛЕНИНСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ

Титаническая деятельность великого вождя трудящихся всего мира, создателя первого социалистического государства В. И. Ленина была образцом органического сочетания самой передовой науки и самой гуманистической практики. Советское языкознание, как и многие другие науки, прежде всего общественные, обязано В. И. Ленину постановкой и разработкой ряда важнейших теоретических проблем и животворной ориентацией его на разрешение многих актуальных вопросов, связанных с развитием культуры, народного образования и национальных отношений, имеющих непреходящее значение для нашего многонационального государства и для всего человеческого общества, пока оно сохраняет деление людей по национальному признаку.

В. И. Ленин разработал основные принципы национальной политики Коммунистической партии и ее важной органической части — политики языковой, под регулирующим воздействием которой функционируют и развиваются языки многочисленных народов Советского Союза. В. И. Ленин не оставил нам законченного систематического изложения своих мыслей по этому частному поводу. Имеющие для нас исключительную ценность мысли щедро разбросаны в его многочисленных книгах, статьях, письмах и выступлениях. Целью настоящей статьи является попытка собрать воедино важнейшие из этих мыслей и изложить их в определенной последовательности, позволяющей представить лежащую в их основе концепцию.

Прежде чем приступить к осуществлению намеченной цели, представляется полезным уточнить некоторые связанные с темой лингвистические понятия и существующие между ними зависимости. Это особенно необходимо хотя бы уже потому, что сама возможность осуществления той или иной политики в области языка советскими языковедами в разное время трактовалась далеко не одинаково.

Возможность и даже необходимость языковой политики были очевидными еще в 20—30-е годы для многих ученых, внесших существенный вклад в разработку социологического аспекта лингвистики, и особенно для тех, кто активно включился тогда в интенсивную работу по созданию и усовершенствованию письменности для многочисленных народов Советской страны. Своеобразной кульминацией (хотя и вовсе не естественным продолжением) этого направления можно считать теорию стадийности Н. Я. Марра и И. И. Мещанинова, в которой социальные факторы, в том числе и языковая политика, рассматривались чуть ли не как единственные стимулы совершенствования языка. Лингвистическая дискуссия 1950 г. принесла известную пользу развитию советского языкознания, напомнив языковедам о существовании внутренних законов развития языка. Но, вместе с тем, она породила крен в обратную сторону — в сторону умаления роли экстралингвистических факторов. Под влиянием этих «новых» веяний проблема языковой политики была на долгие годы предана советскими языковедами забвению.

Одной из причин столь значительных колебаний советского языкознания в интересующей нас области может быть названа, как мне кажется, неуточненность ряда лингвистических понятий, отсутствие отчетливого представления о специфике процессов языкового развития.

Действие языка (если мы условимся понимать его не как любую семиотическую систему, а как особое социальное явление, служащее, по определению В. И. Ленина, важнейшим средством человеческого общения) обеспечивается наличием у него двух диалектически связанных между собой сторон: материальной структуры и общественной функции. Соответственно этому развитие языка идет по двум линиям: структурной и функциональной. В традиционной лингвистической терминологии этому ближе всего, хотя и не полностью, соответствует давно уже возникшее разделение лингвистики на внутреннюю и внешнюю, а в некоторых новейших работах — выделение двух аспектов лингвистики: собственно-лингвистического и социологического. Не вдаваясь в оценку той или иной системы терминологии и имея в виду, что всякий термин условен и что достоинства его — не в этимологии, а прежде всего в строгой определенности стоящего за ним научного понятия, позволим себе придерживаться здесь той терминологии, которая непосредственно связана со структурной и функциональной характеристиками языка.

Структурная линия развития представляет собой процесс постепенных изменений структуры языка в целом, всех ее отдельных элементов, лингвистических функций этих элементов, их взаимосвязей и сфер использования в речи. Именно эта линия развития языка составляет генеральное, а для некоторых новейших направлений, в частности для структуральной и математической лингвистики — единственное, содержание лингвистических исследований. Неизмеримо меньшее внимание уделяется функциональной линии развития языка, тогда как и она имеет весьма существенное значение. Правда, за последнее время внимание к ней, особенно в нашей стране, усилилось, но именно в этой области неуточненность основных понятий дает себя знать в наибольшей степени.

Под функциональной стороной действия и развития языка разумеется распределение и перераспределение, возникновение, видоизменение и отмирание общественных функций, свойственных каждой из форм существования языка, в различных сферах человеческой деятельности. Все эти изменения в функциональной стороне языка происходят в определенных социальных условиях и, что важнее всего, целиком зависят от них.

Главная, наиболее общая функция языка — коммуникативная. Она лежит в основе всех прочих, частных функций, всех случаев использования языка, будь то сообщение или восприятие знаний, идеологическое или эстетическое воздействие, организация трудовых или каких-либо иных социальных процессов, попытки магического воздействия на потусторонние силы или речевое управление домашними животными и механизмами.

Функции языка не следует смешивать ни с формами его существования, ни со сферами его применения, ни с условиями, в которых он функционирует. Еще меньше оснований ставить в один ряд социальные функции языка и чисто лингвистические функции элементов его структуры. Это, казалось бы, элементарно, и, тем не менее, с подобным смешением совершенно разноплановых понятий в специальной литературе приходится встречаться.

Формами существования языка принято считать разговорно-бытовой язык с его обычным членением на территориальные и социальные диалекты, литературный язык в устной и письменной разновидностях, наддиалектное койнэ, язык межнационального общения, особый культовый язык,

вспомогательный искусственный язык, единый общечеловеческий язык будущего.

Среди бесчисленных сфер использования языка можно отметить такие, как семейное общение, общение внутри производственного коллектива, в пределах населенного пункта, на разного рода собраниях, в школьном обучении всех ступеней, различные виды массовой информации, удовлетворение эстетических потребностей, использование языка в сфере науки, религии, делопроизводства, личной переписки, общение внутри одноязычного коллектива и между разноязычными людьми или коллективами.

К социальным условиям, определяющим собой пути функционального развития языка (т. е. совершенствования форм его существования, расширения частных функций и сфер использования), относятся в первую очередь характерные для данного народа уровень социально-экономического развития, форма этнической общности и степень ее консолидации, уровень суверенитета, форма государственности, уровень культуры, численность и компактность, этническое окружение, экономические, политические и культурные связи, соотношение уровня развития данного народа и его соседей, а также длительность и диапазон литературных традиций, степень диалектной расчлененности языка, наличие или отсутствие массового многоязычия и т. п.

Приведенный перечень функций, сфер применения, форм и условий существования языка ни в коей мере не претендует на исчерпывающую полноту. Цель его — показать принципиальные различия между четырьмя относительно самостоятельными рядами социальных явлений, которые в определенном взаимодействии между собой составляют содержание общих понятий функционального типа языка и функциональной линии его развития.

Структурное развитие языка вызывается и регулируется, как известно, двоякого рода стимулами: а) внутренними законами, порождаемыми потребностями упорядочения структуры языка, и б) различными внеязыковыми, точнее — внеструктурными, факторами социального характера. Если первые из них действуют на структуру языка непосредственно и целиком в ней локализуются, то действие вторых осуществляется в той или иной мере через посредство функциональной стороны языка. Совершенно справедливое указание Ф. Энгельса о независимости фонетических изменений от социально-экономических факторов следует понимать в том смысле, что здесь нет и не может быть непосредственного воздействия. Для современного языкознания это можно уже считать азбучной истиной. Но, вместе с тем, никто не станет отрицать того очевидного факта, что возникшие под действием социально-экономических факторов контакты между народами и их естественное следствие — взаимодействие языков между собой — могут привести к перестройке фонетических систем, порою даже весьма существенной. Такого рода перестройки стимулируются чисто функциональными условиями — перекрещиванием социальных функций двух языков в пределах одного коллектива людей. В данном случае, как и в других подобных, можно отметить прямое воздействие функциональной стороны языка на структурную и более отдаленное воздействие на нее социально-экономических условий, оказываемое через посредство функциональной стороны языка. Таким образом, к числу непосредственных стимулов развития структуры языка, наряду с имманентными для нее внутрискруктурными факторами, должны быть отнесены также факторы функционального порядка.

Это свидетельствует о наличии тесных связей между структурной и функциональной сторонами действия и развития языка. Однако связи

эти обладают весьма существенными особенностями, которые далеко не всегда в нужной мере учитываются специалистами.

Во-первых, подобные связи не имеют характера автоматической зависимости. В этом нетрудно убедиться, сравнивая между собой языки с различными чисто функциональными характеристиками. Литературный язык в принципе совершеннее по своей структуре, по уровню нормативности, чем язык бесписьменный, язык нации совершеннее языка народности, язык феодального общества совершеннее языка первобытно-общинного коллектива, общенародный язык богаче любого своего диалекта. Тем не менее, нельзя назвать ни одного структурного элемента, ни одной структурной особенности, которые были бы обязательными в литературном языке, в языке нации, в языке феодального общества, в общенародном языке и абсолютно невозможными в языке бесписьменном, в языке народности, в языке первобытно-общинного коллектива или в диалекте.

Во-вторых, связи эти не обладают характером тотальности. Если зависимость многих структурных изменений в любом конкретном языке от развития его функциональной стороны не подлежит сомнению, то небольшое число изменений в том же языке оказывается связанным не с функциональной стороной, а только с внутриструктурными факторами.

В-третьих, эти связи однонаправлены: структурная сторона языка обнаруживает зависимость от функциональной, тогда как обратной зависимости не существует. Если можно считать, что тот или иной язык усовершенствовал свою структуру в результате перехода к более высокой ступени функционального развития, например, в результате рождения литературной формы его существования или расширения сферы его использования, то невозможно себе представить такой случай, когда бы язык становился литературным или проникал в такие сферы, как скажем, наука и искусство, только потому, что достиг какого-то определенного уровня структурного развития.

Две стороны языка — структурная и функциональная, — как можно видеть, связаны друг с другом, но в то же время обладают известной самостоятельностью, автономностью. Поэтому в исследовательских целях их нужно четко разграничивать, не допуская смешения или подмены одной другою, что практически нередко делается.

Существенное различие между этими двумя сторонами языка проявляется также в неодинаковом их отношении к возможности сознательного регулирования. В известной мере воздействие воли человеческих коллективов и даже отдельных людей сказывается на структуре языка. Известно, что истоки изменений в этой стороне языка часто обнаруживаются в индивидуальных речевых отклонениях от сложившейся языковой нормы. Обычно такое воздействие осуществляется через школу, литературу, театр, устную пропаганду и другие каналы массовой коммуникации, т. е. в конечном счете через те факторы и условия, которые непосредственно связаны с функциональной стороной действия и развития языка. Иными словами, сознательная воля влияет на структуру языка только через посредство его функциональной стороны, и это влияние, хотя и нарастает со временем, все же по сравнению со стихийным развитием имеет весьма ограниченные пределы, которые в естественном языке едва ли могут быть когда бы то ни было полностью преодолены.

В отличие от этого, функциональное развитие языка, особенно с возникновением классового общества, государства, школьного образования, противоположности между умственным и физическим трудом, с развитием науки, профессионального искусства слова, завоевательных войн и межнациональной торговли, характеризуется тенденцией ко все большему

подчинению регулирующей воле общества, составляющих его классов, политических партий и государственного аппарата. Удельный вес стихийных процессов в этой области постепенно сводится к минимуму. Не исключено, что со временем он опустится до нуля.

Система мер сознательного регулирующего воздействия на функциональную сторону языка, а через ее посредство — в известной мере также и на его структуру, представляет собой языковую политику определенного общественного класса, партии, государства. При таком понимании языковая политика на определенных этапах общественного развития не только возможна, но и необходима. Ее успехи, как о том свидетельствует опыт нашего социалистического государства, целиком зависят от того, насколько последовательно она опирается на подлинно научное познание характера и перспектив общественного прогресса, социальной роли языка, особенностей и возможностей его развития.

В условиях многонационального государства, каким является Советский Союз, языковая политика, регулирующая функционирование многих конкретных языков, служит одной из важнейших составных частей национальной политики. Именно такое место отводится ей в бессмертных трудах В. И. Ленина и в программных документах Коммунистической партии.

В. И. Ленин вслед за К. Марксом неоднократно подчеркивал, что национальный вопрос подчинен интересам классовой борьбы пролетариата и что эти интересы требуют не закрепления национальных перегородок, а, наоборот, объединения трудящихся всех наций для единой цели — строительства коммунизма, а затем ислияния наций. «Не разграничивать нации наше дело, — писал он еще в 1913 г., — а сплачивать рабочих всех наций. Не „национальная культура“ написана на нашем знамени, а *интернациональная* (международная), сливающая все нации в высшем социалистическом единстве...»¹. О тенденции к исчезновению противоположностей между нациями и об усилении этой тенденции после победы пролетарской революции К. Маркс и Ф. Энгельс говорили еще в «Манифесте Коммунистической партии»². Но в стратегической линии, направленной на достижение коммунистического единства всего человечества, не должно быть и тени несправедливости, принуждения, а тем более насилия, ибо в противном случае объединение не может быть прочным и долговечным. «Пролетарская партия, — читаем мы у В. И. Ленина, — стремится к созданию возможно более крупного государства, ибо это выгодно для трудящихся, она стремится к *сближению и дальнейшему слиянию* наций, но этой цели она хочет достигнуть не насилием, а исключительно свободным, братским союзом рабочих и трудящихся масс всех наций»³. Единственным путем разрешения национального вопроса, единственно приемлемой тактикой в этой области В. И. Ленин считал последовательный демократизм⁴.

Диалектичность ленинского подхода к национальному вопросу особенно ярко проявилась в требовании свободы самоопределения наций вплоть до отделения. Вот как формулировал это требование сам В. И. Ленин: «Мы требуем свободы самоопределения, *т. е. независимости, т. е. свободы отделения* угнетенных наций не потому, чтобы мы мечтали о хозяйственном раздроблении или об идеале мелких государств, а, наобо-

¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 24, стр. 237. См. также: стр. 122, 127, 131—133, 138; т. 7, стр. 233; т. 25, стр. 274—275, 301; т. 27, стр. 255—256.

² К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 444—445.

³ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 31, стр. 167. См. также: т. 27, стр. 64.

⁴ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 425; т. 24, стр. 9, 57—58; т. 30, стр. 22.

рот, потому, что мы хотим крупных государств и сближения, даже слияния, наций, но на истинно демократической, истинно интернационалистской базе, *немыслимой без свободы отделения*»⁵. Необычайно гибко и дальновидно ставился вопрос о двух, казалось бы, диаметрально противоположных, но направленных к одной цели, требованиях марксистов из среды господствующих и подчиненных наций. Имея в виду право наций на самоопределение, В. И. Ленин писал: «Во имя этого права, отстаивая его нелицемерное признание, с.-д. угнетающих наций должны требовать свободы отделения наций угнетенных, — ибо в противном случае признание равноправия наций и интернациональной солидарности рабочих было бы на деле лишь пустым словом, лишь лицемерием. А с.-д. угнетенных наций во главу угла должны ставить единство и слияние рабочих угнетенных наций с рабочими угнетающих наций, — ибо в противном случае эти с.-д. окажутся невольно союзниками той или иной национальной *буржуазии, всегда предающей интересы народа и демократии, всегда готовой, в свою очередь, к аннексиям и к угнетению других наций*»⁶. Иного пути к слиянию наций нет и быть не может⁷.

Исходя из принципов последовательного демократизма и интернационализма, В. И. Ленин всегда горячо отстаивал полное равноправие всех наций, народностей и национальных меньшинств, не делая в этом отношении между ними никакого различия. Ни одна из наций не должна пользоваться никакими привилегиями, а национальные меньшинства не должны испытывать ни малейшего притеснения, говорил он⁸. Кто не борется против национального гнета или неравноправия, тот не только не марксист, но и не демократ⁹. Нужно законодательно, под страхом наказания, пресекать всякие попытки со стороны национального большинства создать для себя какие бы то ни было привилегии и умалить права национального меньшинства¹⁰.

В резолюции X съезда РКП(б) по национальному вопросу дана точная оценка политики русского царизма, русских помещиков и буржуазии по отношению к невеликорусским народам. Она «... состояла в том, чтобы убить среди них зачатки всякой государственности, калечить их культуру, стеснять язык, держать их в невежестве и, наконец, по возможности, русифицировать их. Результаты такой политики — неразвитость и политическая отсталость этих народов»¹¹. Естественным следствием были недоверие угнетенных народов по отношению к господствующей нации, стремление замкнуться в свою национальную скорлупу, укоренение национальных предрассудков, т. е. в конечном счете обострение национальных различий и противоречий. Уже после Октябрьской революции В. И. Ленин писал, что в Советской России недоверие к русским стало быстро исчезать, но полностью еще не исчезло. Поэтому необходима особая осторожность в отношении к национальному чувству, необходимы равенство и свобода самоопределения на деле, чтобы отнять почву у этого недоверия и добиться добровольного теснейшего союза всех наций¹². Теперь у нас уже не осталось социаль-

⁵ См.: В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 27, стр. 68, 256; т. 30, стр. 33—34; т. 34, стр. 379.

⁶ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 27, стр. 63—64.

⁷ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 30, стр. 45.

⁸ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 150, 425, 316—317; т. 24, стр. 124—125.

⁹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 24, стр. 125.

¹⁰ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 317; т. 24, стр. 57—58; т. 31, стр. 440; т. 48, стр. 291.

¹¹ «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I. 7-е изд., 1954, стр. 559.

¹² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 38, стр. 94—95, 111, 161.

ной почвы для антагонизма, вражды и недоверия между нациями. Эта задача была решена кардинально и быстро. Медленнее будет происходить отмирание национальных предрассудков, а тем более национальных различий. Они будут держаться еще долго даже после победы коммунизма в мировом масштабе, и, пока они существуют, требуется не устранение национальных различий, а гибкая тактика применения к ним основных принципов коммунизма¹³.

Вместе с тем, В. И. Ленин неоднократно повторял, что любое национальное требование должно соответствовать интересам пролетариата, служить целям социального прогресса. Он писал: «Скинуть всякий феодальный гнет, всякое угнетение наций, всякие привилегии одной из наций или одному из языков — безусловная обязанность пролетариата, как демократической силы, безусловный интерес пролетарской классовой борьбы, которая затемняется и задерживается национальной грязью. Но содействовать буржуазному национализму за этими, строго ограниченными, в определенные исторические рамки поставленными пределами — значит изменять пролетариату и становиться на сторону буржуазии»¹⁴.

Принцип последовательного демократизма распространялся В. И. Лениным и на языковой аспект национальной политики. Говоря о равноправии наций, об их самоопределении, о необходимости строгого учета национальных особенностей, он обычно тут же упоминал и национальные языки. Это свидетельствует о том, что языковой политике он придавал весьма важное значение.

В. И. Ленин провозглашал полную свободу и равноправие всех национальных языков, необходимость создать условия для их беспрепятственного развития, безусловное право каждого гражданина государства пользоваться родным языком. Он писал: «Демократическое государство безусловно должно признать *полную свободу* родных языков и отвергнуть *всякие* привилегии одного из языков»¹⁵. Обязанность каждого демократа, а тем более марксиста — признавать и отстаивать равноправие языков¹⁶. Особенно большое значение В. И. Ленин и выпестованная им партия большевиков придавали развитию родных языков и литератур наиболее слабых, угнетенных и отсталых в прошлом народов. В проекте партийной программы, составленном в феврале 1919 г., В. И. Ленин писал о необходимости содействовать развитию языка и литературы ранее угнетенных или неравноправных наций¹⁷. Об осуществлении этого требования говорил он и в беседе с американским журналистом пятью месяцами позже¹⁸. В резолюции X съезда партии по национальному вопросу сказано, что задача партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед центральную Россию, помочь им создать соответствующую их национальным особенностям советскую государственность, действующие на родном языке судебные, хозяйственные и административные органы, развить прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные органы на родном языке, развить широкую сеть общеобразовательных и профессионально-технических курсов и школ на родном языке для ускоренной подготовки местных кадров¹⁹. В этом неоднократно подчеркивании необходимости ис-

¹³ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 41, стр. 77, 168.

¹⁴ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 24, стр. 132; см. также стр. 124; т. 7, стр. 233; т. 25, стр. 274—275.

¹⁵ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 25, стр. 71—72. См. также: т. 23, стр. 150, 317, 425; т. 24, стр. 57—58, 124; т. 31, стр. 439; т. 48, стр. 291.

¹⁶ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 24, стр. 121, 125.

¹⁷ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 38, стр. 95.

¹⁸ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 39, стр. 114.

¹⁹ См.: «КПСС в резолюциях...», ч. I, стр. 559.

пользования и развития родных языков проявляется глубокое понимание того, что язык как «важнейшее средство человеческого общения»²⁰ может быть достаточно эффективным лишь в том случае, когда он близок и понятен для масс во всех своих тонкостях. Особенно велика роль родного языка в обучении грамоте, чему В. И. Ленин придавал первоочередное значение. Он говорил в 1921 г.: «Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого не может быть политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика»²¹.

В связи с идеей «культурно-национальной автономии», выдвинутой Реннером, Бауэром и другими австрийскими социал-демократами и особенно активно поддержанной в России бундовцами, возник спор по поводу разделения школьного дела по национальностям в пределах одной страны и языка преподавания в школе. В. И. Ленин, неуклонно отстаивавший интересы единства классовой борьбы пролетариата, со всей страстностью, со всей неотразимо логичной аргументацией выступил в защиту единственно правильной, марксистской тактики. Он указывал, что уже при капитализме экономическое развитие естественным путем ведет к сплочению наций, тогда как попытки разделить по национальному признаку культуру вообще и школьное дело в частности направлены на углубление пропасти между нациями. В капиталистическом обществе пролетариат разных наций ведет непримиримую классовую борьбу прежде всего в области экономики и политики, разделение же школьного дела, которое невозможно оторвать от экономики и политики, служило бы лишь тормозом для интернационального сплочения трудящихся. Национальная культура вообще, в том числе и школьное дело, в буржуазном обществе находится под преобладающим влиянием клерикалов и буржуазных шовинистов и потому разделение школьного дела только усилило бы позиции клерикализма и шовинизма. Различные нации неравноправны, уровень их развития неодинаков; при этих условиях разделение школьного дела неминуемо поставит отсталые нации в еще более тяжелое положение. Поэтому проповедь отдельных, обособленных национальных школ, разграниченных по принципу «национальной культуры», вредна и реакционна. Она направлена против интересов демократии и тем более пролетариата²². В то же время, с точки зрения В. И. Ленина, неприемлемо и метафизически прямолинейное решение вопроса о языках школьного преподавания: разные школы — разные языки, единая школа — единый язык. Он писал: «Смешивать обучение на родном языке с „разделением по национальностям школьного дела в пределах одного государства“, „с культурно-национальной автономией“, „с изъятием школьного дела из ведения государства“ есть самое вопиющее невежество. Нигде в мире марксисты (и даже демократы) не отрицают обучения на родном языке»²³. По мнению В. И. Ленина, «школьная политика у рабочих всех наций одина: свобода родного языка, демократическая и светская школа»²⁴. Обеспечить преподавание на родном языке, в необходимости чего В. И. Ленин никогда не выражал сомнения, вполне можно и без разделения школ по национальностям²⁵. Весьма поучителен ответ, который он дает на предполагаемый вопрос о том, как быть с единственным грузинским ребенком среди 48 076 школьников Петербурга. Он пишет, что создать для него

²⁰ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 25, стр. 258—259.

²¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 44, стр. 174.

²² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 24, стр. 133, 175; т. 25, стр. 72.

²³ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 25, стр. 146.

²⁴ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 25, стр. 72.

²⁵ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 24, стр. 224.

особую грузинскую школу невозможно и не нужно. Но вполне допустимо требовать для этого единственного ученика-грузина преподавания за счет государства грузинского языка, грузинской истории и т. п.²⁶ Совершенно естественно, что В. И. Ленин не изменил своего взгляда на положительную роль родного языка в школьном преподавании и после Октябрьской революции. На VIII съезде партии он говорил: «У нас есть, например, в Комиссариате просвещения или около него коммунисты, которые говорят: единая школа, поэтому не смейте учить на другом языке, кроме русского! По-моему, такой коммунист это — великорусский шовинист. Он сидит во многих из нас и с ним надо бороться»²⁷.

В. И. Ленин, верный идеям последовательного демократизма, всегда категорически возражал против введения обязательного государственного языка, на роль которого в России естественно выдвигался русский язык. Связанные с этим упреки в утрате чувства национальной гордости он решительно отводил, говоря, что сознательным русским пролетариям вовсе не чуждо чувство национальной гордости, если оно понимается не по-холоцки и совпадает с социалистическими интересами русских и всех иных пролетариев, что они любят свой язык и свою родину, что прежде всего они стараются поднять ее трудящиеся массы до сознательной жизни демократов и социалистов²⁸.

Особенно назойливо требовали единого государственного языка буржуазные либералы. В резкой полемике с ними В. И. Ленин писал: «Мы лучше вас знаем, что язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч. Мы больше вас хотим, чтобы между угнетенными классами всех без различия наций, населяющих Россию, установилось возможно более тесное общение и братское единство. И мы, разумеется, стоим за то, чтобы каждый житель России имел возможность научиться великому русскому языку.

Мы не хотим только одного: элемента *принудительности*. Мы не хотим загонять в рай дубиной. Ибо, сколько красивых фраз о „культуре“ вы ни сказали бы, *обязательный* государственный язык сопряжен с принуждением, вколачиванием. Мы думаем, что великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни было должен был изучать его *из-под палки*»²⁹.

Не только до Октября, но и после него, В. И. Ленин не устал повторять, что обязательный государственный язык не только не нужен, но и вреден, поскольку обязательный язык дает привилегии одной из наций. Не об этом нужно заботиться, считал он, а о полном признании прав родных языков всех народов, об обеспечении населению страны школ с преподаванием на всех местных языках³⁰. В качестве положительного примера разрешения национального вопроса в области языка он приводил Швейцарию, где равными правами пользуются три государственных языка: немецкий, французский и итальянский, а некоторые юридические документы публикуются, кроме того, еще на двух романских диалектах, на которых говорит всего лишь чуть больше одного процента населения. И Швейцария, говорил он, ничего не теряет от этого, а, наоборот, выигрывает³¹.

²⁶ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 24, стр. 221.

²⁷ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 38, стр. 183—184.

²⁸ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 26, стр. 107, 110.

²⁹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 24, стр. 294—295.

³⁰ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 316—317; т. 25, стр. 146; т. 31, стр. 440; т. 32, стр. 154.

³¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 424; т. 24, стр. 139.

Перед первой мировой войной с требованием объявить русский язык обязательным государственным языком в России выступили и некоторые большевики; среди них был С. Г. Шаумян, который считал, что общегосударственный русский язык необходим, что он имел и будет иметь крупное прогрессивное значение. В. И. Ленин в письме С. Г. Шаумяну признает, что русский язык, действительно, сыграл прогрессивную роль в жизни мелких и остальных наций, но с тем, чтобы наделять русский язык функциями обязательного языка, он решительно не согласился. «Но неужели Вы не видите,— пишет В. И. Ленин дальше,— что он *имел бы* прогрессивное значение еще в большем размере, если бы не было принуждения? Что же, разве „государственный язык“ не означает палки, *отбивающей* от русского языка?»³².

В выделении государственного языка В. И. Ленин не видел ничего прогрессивного. Ссылаясь на пример той же Швейцарии, он спрашивал: зачем же такой еще более обширной, пестрой и отсталой в то время стране, как Россия, нужно тормозить свое развитие сохранением привилегии для одного из языков? Для России, чтобы догнать Европу, лучше было бы покончить со всяческими привилегиями как можно скорее³³.

Вместе с тем, В. И. Ленин считал весьма прогрессивным естественно, без какого бы то ни было насилия возникающее стремление народов одной страны овладеть языком большинства населения для установления более глубоких и прочных связей между всеми населяющими эту страну народами. Такое стремление как естественно возникающая тенденция рождается еще в условиях капиталистического способа производства. Он указывал, что «... потребности экономического оборота всегда заставят живущие в одном государстве национальности (пока они захотят жить вместе) изучать язык большинства. Чем демократичнее будет строй России, тем сильнее, быстрее и шире разовьется капитализм, тем настоятельнее потребности экономического оборота будут толкать разные национальности к изучению языка, наиболее удобного для общих торговых сношений»³⁴. При этом выбор такого языка не потребует никакого административного вмешательства, ибо «... потребности экономического оборота сами собой *определят* тот язык данной страны, знать который большинству *выгодно* в интересах торговых сношений. И это определение будет тем тверже, что его примет добровольно население разных наций, тем быстрее и шире, чем последовательнее будет демократизм, чем быстрее будет в силу этого развитие капитализма»³⁵.

В. И. Ленин отчетливо представлял себе языковую ситуацию дореволюционной России во всех ее тонкостях и прекрасно понимал, что миссия межнационального средства общения самим ходом истории уготована русскому языку. Видя естественную неотвратимость такого выбора, он с тем большей убежденностью восставал против малейших элементов давления на избирающих, так как для него были очевидны пагубные последствия такого насилия. Он писал: «Те, кто по условиям своей жизни и работы нуждаются в знании русского языка, научатся ему и без палки. А принудительность (палка) приведет только к одному: она затруднит великому и могучему русскому языку доступ в другие национальные группы, а главное — обострит вражду, создаст миллион новых трений, усилит раздражение, взаимонепонимание и т. д.»³⁶.

³² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., г. 48, стр. 233—234.

³³ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 423—424.

³⁴ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 423.

³⁵ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 424—425.

³⁶ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 24, стр. 295.

В. И. Ленин как гениальный диалектик не находил неразрешимого противоречия между всесторонним развитием всех национальных языков и выдвиганием на роль языка межнационального общения одного из них. Как раз свобода для всех языков понималась им как наиболее благоприятная почва для беспрепятственного функционирования одного из них в наиболее ответственной и почетной роли.

Жизнь подтвердила безусловную правильность разработанных В. И. Лениным принципов языковой политики. Об этом убедительно свидетельствует все более крепнущая братская дружба народов Советского Союза и всего могучего лагеря социалистических государств. Ленинским курсом шла и будет идти наша Коммунистическая партия, которая в своей Программе отмечает как положительное явление все расширяющийся процесс добровольного изучения, наряду с родным, также и русского языка, что «содействует взаимному обмену опытом и приобщению каждой нации и народности к культурным достижениям всех других народов СССР и к мировой культуре»³⁷. Вместе с тем партия вовсе не призывает нас к тому, чтобы начать свертывать работу по усовершенствованию отдельных национальных языков, искусственно ограничивать их применение и оказывать предпочтение одним языкам за счет других. Отдавая должное русскому языку и отмечая его выдающуюся роль, Программа говорит, что партия будет «обеспечивать и в дальнейшем свободное развитие языков народов СССР, полную свободу для каждого гражданина СССР говорить, воспитывать и обучать своих детей на любом языке, не допуская никаких привилегий, ограничений или принуждений в употреблении тех или иных языков»³⁸.

Отсюда для советских языковедов, как мне представляется, вытекают две в высшей степени ответственные и почетные задачи: во-первых, всеми доступными им средствами содействовать дальнейшему развитию всех языков народов Советского Союза; во-вторых, совместно с деятелями педагогической науки оказать действенную и квалифицированную помощь всем желающим овладеть в совершенстве русским языком, создавая для этого методические руководства и учебники, где в необходимой мере учитывались бы структурные сходства и различия между русским языком и родным языком обучающихся. Многое в этом направлении уже сделано, но для полного осуществления упомянутых задач, особенно в отношении малых народов, предстоит еще немало потрудиться.

Сказанное, конечно, не означает, что может быть ослаблена работа по остальным направлениям советской лингвистики. Напротив, чем интенсивнее будут развиваться эти направления, тем успешнее могут быть решены и указанные выше задачи, тем выше будет теоретический уровень взаимодействия лингвистической науки с языковой практикой.

³⁷ «Программа Коммунистической партии Советского Союза», М., 1961, стр. 115.

³⁸ Там же.

Ю. А. БЕЛЬЧИКОВ

ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВ В. И. ЛЕНИНА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА XIX—XX вв.

Современная наука развивается под плодотворным идейно-теоретическим и организующим влиянием ленинизма. Учение В. И. Ленина является философской базой разработки фундаментальных мировоззренческих проблем современного естествознания и обществоведения, теоретической основой исследований в области гуманитарных наук. Будучи верным, надежным ориентиром и базой в решении общетеоретических вопросов современной языковедческой науки, ленинские труды служат фундаментом и для разработки тех отраслей языкознания, которые связаны с экстралингвистическим аспектом, с функциональной стороной развития языка, а также таких языковедческих проблем, которые требуют рассмотрения в историческом аспекте.

В трудах В. И. Ленина содержится ясная, строго аргументированная, принципиальная программа исторического исследования фактов и явлений из социальной сферы жизни и классические образцы их диалектико-материалистического анализа и истолкования.

Принцип историзма предполагает анализ явлений в их развитии и взаимодействии друг с другом, максимальный учет всех фактов, относящихся к разбираемой проблеме. При этом имеется в виду — как постоянное условие всякого исследования фактов общественной жизни — конкретно-историческое освещение фактов и явлений, существующих и развивающихся в определенных условиях, в определенной ситуации. «Весь дух марксизма, вся его система требует, чтобы каждое положение рассматривать лишь (α) исторически; (β) лишь в связи с другими; (γ) лишь в связи с конкретным опытом истории»¹.

В. И. Ленин много внимания уделяет важнейшим методологическим вопросам изучения общественной жизни. «Но как собрать факты? как установить их связь и взаимозависимость?» (т. 30, стр. 350), — спрашивает В. И. Ленин в «Статистике и социологии», направленной против политических спекуляций на произвольно надерганных фактах. И отвечает: «В области явлений общественных нет приема более распространенного и более несостоятельного, как выхватывание отдельных фактиков, игра в примеры. Подобрать примеры вообще — не стоит никакого труда, но и значения это не имеет никакого, или чисто отрицательное, ибо все дело в исторической конкретной обстановке отдельных случаев. Факты, если взять их в их *целом*, в их *связи*, не только „упрямая“, но и безусловно доказательная вещь. Фактики, если они берутся вне целого, вне связи, если они отрывочны и произвольны, являются именно только игрушкой или кое-чем еще похуже...

Вывод отсюда ясен: надо попытаться установить такой фундамент из точных и бесспорных фактов, на который можно было бы опираться... Чтобы это был действительно фундамент, необходимо брать не отдельные

¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 49, стр. 329. Впредь при цитировании сочинений В. И. Ленина в тексте в скобках указывается том и страница.

факты, а всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, без единого исключения, ибо иначе неизбежно возникает подозрение, и вполне законное подозрение, в том, что факты выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и взаимозависимости исторических явлений в их целом преподносится „субъективная“ страшица для оправдания, может быть, грязного дела» (т. 30, стр. 350, 351). «... марксист должен учитывать... точные факты действительности» (т. 31, стр. 134), — настаивает В. И. Ленин в «Письмах о тактике».

В. И. Ленин утверждает диалектико-материалистический принцип конкретно-исторического и всестороннего анализа социальных явлений.

Он неоднократно подчеркивает, что объект исследования необходимо рассматривать в развитии («марксизм учит нас рассматривать всякое явление в его развитии» — т. 12, стр. 293²), всегда ставить его в контекст связанных с ним фактов и явлений. «Диалектика Маркса, будучи последним словом научно-эволюционного метода, запрещает именно изолированное, то есть одностороннее и уродливо искаженное, рассмотрение предмета» (т. 26, стр. 241). При этом В. И. Ленин ориентирует исследования на глубокое, вдумчивое изучение фактов и явлений действительности, учит «не довольствоваться одним поверхностным очертанием» (т. 12, стр. 293), настаивает на трезвой, реальной оценке наблюдений общественной жизни³. «Откуда возьмете вы понятие об обществе и прогрессе вообще, — пишет В. И. Ленин, полемизируя с либеральными народниками, — когда вы не изучили еще ни одной общественной формации в частности, не сумели даже установить этого понятия, не сумели даже подойти к серьезному фактическому изучению, к объективному анализу каких бы то ни было общественных отношений?» (т. 1, стр. 144).

Диалектико-материалистический принцип историзма имеет главенствующее значение для изучения исторического развития литературных языков (как и всякого исторического исследования). Не случайно, что при всех положительных результатах изучения истории русского литературного языка XIX — начала XX в.⁴ подлинно научные методологичес-

² Ср. сформулированное В. И. Лениным в работе «Крах II Интернационала» требование к научному исследованию рассматривать современное состояние явления в связи с его предшествующим развитием: «Самое первое и основное правило научного исследования вообще, марксовской диалектики в особенности, требует от писателя рассмотрения связи теперешней борьбы направлений в социализме... с той борьбой, которая шла перед этим целые десятилетия» (т. 26, стр. 243—244).

³ При исследовании общественных явлений В. И. Ленин требует называть «вещи своими именами» (т. 1, стр. 258), «точно и прямо охарактеризовать действительность» (т. 1, стр. 210).

⁴ Об этом см.: В. В. Виноградов, Русская наука о русском литературном языке, «Уч. зап. [МГУ]», 106, III, 1, 1946; его же, Основные проблемы изучения и развития древнерусского литературного языка, в кн.: «Исследования по славянскому языкознанию», М., 1961; С. П. Обнорский, Разработка русского языка за 25 лет, ИАН ОЛЯ, 1944, 1. Ср.: С. И. Бернштейн, А. А. Шахматов как исследователь русского литературного языка, в кн.: «Академик А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка», М., 1944; В. В. Виноградов, История русского литературного языка в изображении акад. А. А. Шахматова, «Филологич. преглед», Beograd, 1964, 3—4; З. С. Медведова, К вопросу о происхождении и основе русского литературного языка (О взглядах акад. А. А. Шахматова), «Уч. зап. [МГИИ им. В. И. Ленина]», 148. Русский язык, 10; С. Г. Бархударов, О «Мыслях об истории русского языка» И. И. Срезневского, в кн.: И. И. Срезневский, Мысли об истории русского языка, М., 1959; В. И. Боровский, Е. Ф. Карский как историк русского языка и палеограф (1861—1931), «Изв. АН БССР», 1951, 4; М. В. Каникава, Взгляды В. И. Даля на развитие русского литературного языка первой половины XIX века, «Труды Тбилисского пед. ин-та», 10, 1955; П. Я. Черныш, Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период, М., 1956, стр. 3—18. См. также: С. К. Булич, Очерк истории языкознания в России, I, СПб., 1904; И. В. Ягич, История славянской филологии, СПб., 1910.

кие принципы и теоретические основы эта отрасль языкознания приобретает лишь в советское время на путях освоения и применения к конкретному материалу марксистско-ленинской теории. Как отмечает В. В. Виноградов, «в связи с обострением интереса к образованию национальных культур и формированию новых наций, национальных письменностей и национальных языков в пределах Советского Союза осуществляется новый синтез на основе философии марксизма-ленинизма таких областей общественных наук, как история, языкознание и литературоведение».

Именно на почве такого взаимодействия и объединения быстро вырастает и плодотворно развивается такая отрасль лингвистики, как история литературных языков. Прежде всего научное движение в новом направлении начинается с истории русского литературного языка⁵. В исследовательской практике не все понятия литературного языка раскрыты и уточнены, не во всех работах последовательно осуществляется исторический подход как к процессам развития литературных языков, в частности русского литературного языка, так и к категориям литературного языка и соотношениям между ними⁶.

В соответствии с началами марксистско-ленинской методологии история русского литературного языка, как и всякого литературного языка, а также теория его изучения строится на основе конкретно-исторического подхода к вопросам закономерностей его эволюционного развития с учетом всех экстралингвистических факторов его существования. Изложение и разработка основных принципов исторического изучения литературных языков представлена в книге В. В. Виноградова «Проблемы литературных языков и закономерности их образования и развития»⁷.

*

Труды В. И. Ленина, его учение о развитии народности и нации, разработка В. И. Лениным кардинальных вопросов проблемы «язык и нация», учение о культуре, глубокое проникновение в своеобразие исторического развития России, учение о печати и публицистике являются основой лингвистического исследования центральных вопросов истории литературных языков, в том числе и русского литературного языка, таких, как периодизация их эволюционного развития, роль народно-разговорной речи и диалектов, художественной литературы и публицистики, отдельных писателей и публицистов в истории конкретного литературного язы-

⁵ В. В. Виноградов, Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития, М., 1967, стр. 130. Ср.: «В советское время, можно сказать, заново создана такая дисциплина, как история литературного языка, а также лингвистика (прежде всего благодаря работам В. В. Виноградова, у которого появилось много последователей)» (Ф. П. Филин, Пятьдесят лет советского языкознания, ИАН ОЛЯ, 1967, 5, стр. 449).

⁶ См. об этом, например: В. Иванов, Обсуждение вопросов формирования русской народности и нации, ВЯ, 1954, 3; В. Д. Левин, Новые книги по истории русского и украинского литературного языков, ВЯ, 1959, 3; А. В. Исаченко, К вопросу о периодизации истории русского языка, «Вопросы теории и истории языка. Сб. в честь проф. Б. А. Ларина», Л., 1963; Н. А. Катагощина, Исторические предпосылки развития французского письменно-литературного языка; сб. «Язык и общество», М., 1968; В. В. Виноградов, Проблемы литературных языков... (глава вторая); его же, О новых исследованиях по истории русского литературного языка, ВЯ, 1969, 2.

⁷ Ср.: «Вопросы советской науки. Проблема образования и развития литературных языков», М., 1957; Р. А. Будагов, Литературные языки и языковые стили, «Высшая школа», М., 1967.

ка, проблема национального языка и его становления, а также некоторых частных вопросов истории русского литературного языка.

Одна из центральных проблем истории литературных языков, в частности русского языка — периодизация.

Мысли В. И. Ленина относительно исторического развития России в поздние средневековые и о консолидирующей роли языка в ходе развития рыночных отношений, его оценка места Пушкина и Горького в истории русского литературного языка служат основными методологическими ве-хами в разработке ее периодизации.

В работе «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» содержится ценнейшее указание о времени и условиях начального периода становления русского языка как языка русской нации: «Только новый период русской истории (примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое... оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок» (т. 1, стр. 153—154). В статье «О праве наций на самоопределение» В. И. Ленин говорит о связи процессов формирования национального языка с развитием капиталистических отношений в стране: «Во всем мире эпоха окончательной победы капитализма над феодализмом была связана с национальными движениями. Экономическая основа этих движений состоит в том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе. Язык есть важнейшее средство человеческого общения; единство языка и беспрепятственное развитие есть одно из важнейших условий действительно свободного и широкого, соответствующего современному капитализму, торгового оборота, свободной и широкой группировки населения по всем отдельным классам, наконец — условие тесной связи рынка со всяким и каждым хозяином или хозяйчиком, продавцом и покупателем» (т. 25, стр. 258—259). Эти положения В. И. Ленина имеют общетеоретическое значение. Здесь определены условия формирования наций и национальных языков в досоциалистический период, в условиях зарождения и развития капиталистических отношений.

Указания В. И. Ленина своим сотрудникам относительно организации работы над словарем современного русского языка и о хронологических рамках материала для этого словаря определяют важнейший период в истории русского литературного языка и одно из центральных ее понятий «современный русский язык».

«Не пора ли создать словарь *настоящего* русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых *теперь* и *классиками*, от Пушкина до Горького» (т. 51, стр. 122), — пишет В. И. Ленин А. В. Луначарскому 18 января 1920 г. 5 мая того же года в записке М. Н. Покровскому: «... словарь, так сказать, классического, современного русского языка (от Пушкина до Горького, что ли, примерно)» (т. 51, стр. 192). Ср. в записках Е. А. Литкенсу: «Забыл при свидании просить Вас проверить, как стоит дело с комиссией ученых, составляющих словарь (краткий) *современного* (от Пушкина до Горького) русского языка» (т. 52, стр. 178). «2) Задание — краткий (*малый* «Лярусс» образец) словарь русского языка (от Пушкина до Горького). Образцового, современного. По новому правописанию» (т. 52, стр. 199).

Нужно сказать, что в начале нашего столетия, когда разработка вопросов истории русского литературного языка была в «хаотическом со-

стоянии» (по определению В. В. Виноградова⁸), эпохальное значение языка Пушкина для развития русского литературного языка осознано не было, хотя и признавалась его выдающаяся роль в этом развитии, наряду с Петром I, Ломоносовым, Карамзиным. Е. Будде посвящает Пушкину специальную работу — «Опыт грамматики языка А. С. Пушкина» (Спб., 1901—1904). В своем «Очерке истории современного литературного русского языка (XVII—XIX век)»⁹ он отводит большое место влиянию Пушкина на общее направление развития литературного языка, наряду с влиянием Ломоносова, Карамзина и Тургенева. А. А. Шахматов в 1916 г. писал: «Ломоносов сознательно вступает на путь, который приведет к перевесу в ней (в литературной речи — Ю. Б.) народной стихии. Во второй половине XVIII в. русский литературный язык получает тот вид, который он сохраняет до сих пор. Карамзин и позже Пушкин своим высоким авторитетом завершили великую реформу, обеспечившую нашему книжному языку национальное значение»¹⁰.

Замечание В. И. Ленина о роли Пушкина в истории русского литературного языка легло в основу исследований о языке великого русского национального писателя в историко-языковом аспекте. Эта точка зрения В. И. Ленина была доведена до сведения ученых в 1921 г. и позже (в 1932 г.) опубликована¹¹. Мнение В. И. Ленина, предвосхищая изучение языка Пушкина в аспекте исторического развития русского литературного языка, стало важным методологическим ориентиром для исследовательских усилий в выяснении этой центральной для истории русского литературного языка проблемы. Углубленная разработка вопросов истории русского литературного языка, начатая с конца 1920-х годов и развернувшаяся в 30-е годы, приводит исследователей к выводу об основополагающей роли Пушкина, который обобщил и преобразовал в своей писательской практике основные тенденции языкового развития предшествующего периода, в формировании общенациональной литературной нормы, в создании современного русского литературного языка¹². Ср. утверждение Л. В. Щербы: «Только с Пушкина приобретает наш язык свою полную гибкость и способность выражать все, что нужно»¹³.

Взгляд на Пушкина как основоположника современного русского литературного языка становится широко распространенным к середине 30-х годов. См. «Правда» 17 XII 1935 г.: «Правительство великой страны чтит память Пушкина как создателя русского литературного языка». В 1955 г. В. В. Виноградов отмечал: «Считается более или менее общепризнанным, что норма русского литературного национально-языкового

⁸ См.: В. В. Виноградов, Проблема исторического взаимодействия литературного языка и языка художественной литературы, ВЯ, 1955, 4, стр. 10, Ср.: В. В. Виноградов, О художественной прозе, М.—Л., 1930, стр. 16.

⁹ «Энциклопедия славянской филологии», 12, Спб., 1908.

¹⁰ А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, М., 1941, стр. 244.

¹¹ «Ленинский сборник», XX, М., 1932.

¹² В этой связи следует назвать труды, написанные в 30—40-е годы, прежде всего работы В. В. Виноградова: «Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка», М.—Л., 1935; «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.», М., 1934; 2-е изд.—М., 1938; «Стиль Пушкина», М., 1941; «Пушкин и русский литературный язык XIX века», в кн.: «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», М.—Л., 1941; «А. С. Пушкин — основоположник современного русского литературного языка», М., 1949 и др., а также Г. О. Винокура: «Пушкин и русский язык», сб. «А. С. Пушкин. 1837—1937», М., 1937; «Русский язык. Исторический очерк», М., 1945 и др.; Л. В. Щербы: «Современный русский литературный язык», «Р. яз. в шк.», 1939, 4, «Литературный язык и пути его развития (применительно к русскому языку)», «Советская педагогика», 1942, 3—4.

¹³ Л. В. Щерба, Современный русский литературный язык, «Р. яз. в шк.», 1939, 4, стр. 25.

выражения нашла свое широкое и полное воплощение в творчестве А. С. Пушкина»¹⁴.

Важно отметить, что, называя хронологические рамки периода, объединяемого под понятием «современный русский язык» — «от Пушкина до Горького», В. И. Ленин тем самым вкладывал в этот термин определенное содержание. Ленинское понимание современного русского языка сосредоточило внимание лингвистов на изучении основных черт русского литературного языка, представленного в литературных текстах примерно от первой трети XIX в. до наших дней. Оно сыграло конструктивную роль в выработке самого понятия «современный русский язык».

Показательно, что содержание этого понятия изменилось на протяжении каких-нибудь двух-трех десятилетий. Л. В. Щерба в «Опыте общей теории лексикографии» пишет: «... Второе отделение императорской Академии наук в 1895 г. выпускает под редакцией акад. Я. К. Грота первый том Словаря русского языка „в том виде, как он образовался со времен Ломоносова“ (стр. VI предисловия)...

Наконец, в 1938 г. Академия наук СССР предполагает издавать Словарь современного русского литературного языка, „начиная от пушкинской поры до наших дней“ (стр. II проекта Словаря современного русского литературного языка, 1938). И это совершенно правильно, ибо едва ли наша молодежь читает и перечитывает каких-либо писателей допушкинского периода»¹⁵.

*

Существен для истории русского литературного языка XIX—XX вв. круг проблем, относящихся к роли писателей, их индивидуального творческого вклада в развитие литературного языка, к роли художественной литературы в этом развитии; ставится вопрос об историческом взаимодействии литературного языка и языка художественной литературы¹⁶. Эти проблемы, поднятые в 30-х годах в работах В. В. Виноградова, Л. В. Щербы, Г. О. Винокура, Л. А. Булаховского, нуждаются в дальнейшем углубленном изучении¹⁷.

Исходя из своеобразия развития русского литературного языка примерно со второй трети XIX в., целесообразно поставить вопрос и о влиянии на литературный язык, наряду с крупными писателями, выдающихся русских публицистов, о роли в истории русского литературного языка публицистического стиля¹⁸. Эта мысль находит подтверждение в известной ленинской характеристике нашего языка. Полемизируя с либералами, В. И. Ленин в 1913 г. писал: «Мы лучше вас знаем, что язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч» (т. 24

¹⁴ В. В. Виноградов, Изучение русского литературного языка за последнее десятилетие в СССР, М., 1955, стр. 47.

¹⁵ Л. В. Щерба, Избр. работы по языкознанию и фонетике, I, Л., 1958, стр. 59, 60.

¹⁶ См.: «Очерки истории русского литературного языка XIX века. Проспект», М., 1956; В. В. Виноградов, Проблема исторического взаимодействия литературного языка и языка художественной литературы; В. Д. Левин, Краткий очерк истории русского литературного языка, М., 1958 (2-е изд.—1964); А. И. Ефимов, История русского литературного языка, М., 1957; е го ж е, О роли национальной художественной литературы в развитии русского литературного языка, ВЯ, 1960, 2; ср.: Г. О. Винокур, Русский язык. Исторический очерк; В. Д. Левин, Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII—начала XIX вв. Лексика, М., 1964.

¹⁷ Ср.: В. В. Виноградов, Проблемы литературных языков... стр. 91.

¹⁸ Ценные сведения и обобщения относительно роли публицистического стиля в истории русского литературного языка середины и 2-й половины XIX в. находим в кн.: Ю. С. Сорокин, Развитие словарного состава русского литературного языка XIX в. 30—90-е годы, М.—Л., 1964.

стр. 294). См. также его оценку стиля Герцена, данную в беседах с В. Д. Бонч-Бруевичем: «Какая у него оригинальная манера построения фраз... Какой богатый и действительно могучий русский язык!»¹⁹.

В литературной практике выдающихся художников слова и мастеров публицистики В. И. Ленин видел воплощение основных качеств и главных достоинств «современного», «классического» русского языка. Для него крупные писатели и публицисты были носителями и лучшими выразителями русской национальной речевой культуры. Этим определяется исключительная важность проблематики «языка писателя» в аспекте исследования истории русского литературного языка, истории литературных языков, а также в разработке теоретических вопросов литературного языка.

В связи со сказанным приобретают особую значимость и непреходящую ценность для языковедческой науки, для науки о литературном языке и его истории ленинские характеристики идейной и художественной стороны творчества выдающихся русских писателей и публицистов XIX в., замечания, касающиеся общей оценки стиля (или его отдельных сторон) крупных мастеров слова. То обстоятельство, что такие замечания даются В. И. Лениным в контексте общей характеристики творчества того или иного автора, указывает исследователю путь лингвистического анализа «языка писателя». «Ленинские труды, — пишет В. В. Виноградов, — раскрывают не только закономерности развития общества в разных его пластах и идеологических надстройках, но и всю грандиозную панораму общественной жизни, прежде всего русской общественной жизни, во всей ее сложности и многогранности. Это глубокое проникновение в тайники и движущие силы общественного развития дает нам верный компас и точное мерило для исторической оценки форм и способов художественного воссоздания явлений и характеров русской общественной жизни в сочинениях русских классиков-писателей XIX и начала XX в.»²⁰.

Для исследовательской практики важен выбор ракурса при анализе конкретного материала, извлеченного из сочинений какого-либо автора: анализировать ли язык и стиль автора, лишь намечая линии координации с языковой действительностью современной ему эпохи, или изучать известные тексты в аспекте исторического развития литературного языка соответствующей эпохи, определяя основные и частные процессы и тенденции языковой эволюции в данный временной отрезок, учитывая индивидуально-авторские особенности языковой «ткани» сочинений писателя лишь с целью отграничить их от «общенародных», «общелитературных» речевых явлений.

Обращаясь к трудам В. И. Ленина, к его оценкам деятелей литературы и публицистики, ученый обретает методологическую ориентировку в анализе фактического материала, извлеченного из сочинений того или иного автора.

Высказывания В. И. Ленина о русских писателях и публицистах XIX — начала XX в. воспринимаются в свете его учения о двух культурах в каждой нации: «В каждой национальной культуре, — пишет В. И. Ленин в „Критических заметках по национальному вопросу“, — есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в каждой нации есть также культура

¹⁹ Цит. по кн.: «Ленин и книга», М., 1964, стр. 360.

²⁰ В. В. Виноградов, В. И. Ленин и развитие советской филологии, сб. «Ленин и наука», М., 1960, стр. 285—286.

буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная) — притом не в виде только „элементов“, а в виде *господствующей культуры*» (т. 24, стр. 120—121); «Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струве, — но есть также великорусская культура, характеризующаяся именами Чернышевского и Плеханова» (т. 24, стр. 129).

Анализируя список тех писателей и публицистов, язык которых дает, по В. И. Ленину, полное представление о «великом и могучем русском языке» (Пушкин, Тургенев, Толстой, Добролюбов, Чернышевский, Герцен, Горький), можно сделать определенный вывод, что формирование и развитие русского литературного языка XIX — начала XX в. совершается под решающим воздействием передовой, демократической культуры. Этот вывод находит полное подтверждение в действительном историческом пути нашего литературного языка.

*

В. И. Ленин помогает правильно осмыслить процессы и тенденции развития русского языка советской эпохи в исторически верной перспективе. Мысли В. И. Ленина о русском языке и путях его нормирования, замечания относительно отдельных явлений речевой практики и газетного языка, о «Толковом словаре» В. И. Даля, о необходимости создать словарь «современного», «настоящего» русского языка, высказывания В. И. Ленина о языке политической пропаганды определяют, с одной стороны, одно из важнейших методологических направлений лингвистических разысканий при анализе новых явлений в сфере развития русского литературного языка советской эпохи, с другой стороны — пути конкретно-исторического изучения русской языковой действительности в условиях социалистической революции, в советское время.

Высказанная в записках А. В. Луначарскому, М. Н. Покровскому и Е. А. Литкенсу точка зрения В. И. Ленина на современный русский язык, объединяемый такими именами, как Пушкин и Горький, подчеркивала мысль о преемственности развития русского литературного языка в советское время с предшествующим периодом. Это имеет существенное методологическое значение для общих и частных работ в области истории русского литературного языка XX в., тем более что данная мысль не всегда учитывалась в лингвистических трудах о русском языке новейшего времени²¹. Анализируя новые явления и процессы, совершающиеся в литературном языке советской эпохи, новые условия его социального существования, принципиально важно видеть преемственность языкового развития с предшествующим периодом. Это важно и в общетеоретическом плане (социальная революция не влечет за собой перерыва непрерывности в языковом развитии), и в плане исследовательском, поскольку определяет исторически верную ориентацию в наблюдениях над живыми языковыми фактами и процессами и в их научной интерпретации. Так, например, изучение словарных эволюций в советскую эпоху, в сопоставлении с развитием русского языка в начале XX в. приводит С. И. Ожегова к интересному заключению о том, что «в недрах передовой и прежде всего партийно-коммунистической общественности дореволюционного времени зарождалось то словоупотребление, та терминология, те продуктивные

²¹ См. об этом: Р. Ш о р, О неологизмах революционной эпохи (заметки на полях), «Русский язык в советской школе», 1929; 1; А. Н. К о ж и н, Из истории изучения развития словарного состава русского языка в советском обществе, «Уч. зап. [МОПИ]», 138, 8, 1963.

словообразовательные способы, которые послужили одной из основ многочисленных изменений в словарном составе русского языка после революции»²².

Необходимо обратить внимание на то, что мнение В. И. Ленина о современном русском языке было высказано в те годы, когда муслировался вопрос о «революции в языке» и «революции языка», когда пролеткультовцы заявляли о непригодности русского литературного языка дореволюционного периода для выражения новых революционных отношений и форм общественной жизни, новых идей. Так, один из видных деятелей Пролеткульта В. Плетнев писал в 1922 г.: «Бешеная стремительность революции уже сейчас вносит в наш язык новое содержание, ломая его „благородные“ классические формы. Наш лексикон, подчиняясь темпу жизни, становится телеграфно-четким, отрывистым, ступающим содержания слова до колоссальных размеров. Переведите-ка на старый „благородный“ русский язык Обломова пару слов: „электрификация“ и „радиоактивность“, а мы в них легко ассоциируем несоизмеримый масштаб явлений экономического, технического, научного порядка. Это вносит в содержание, в форму литературного творчества и его назначение огромные видоизменения»²³. Ср. утверждение Н. Я. Марра о том, что литературный язык, сложившийся до 1917 г., «по содержанию своему не отвечает потребностям строящегося социализма, а по форме находится в противоречии с мышлением пролетарских трудящихся масс»²⁴. Были даже предложения так реформировать русский язык, чтобы выбросить из всех слов корень *раб* как «напоминающий нам о недавнем позоре». В случае принятия такой реформы слово *работа* произносилось бы «ота», *рабана* (музыкальный инструмент) — «ана»²⁵.

В. И. Ленин, осудивший выступление В. Плетнева как фальсификацию исторического материализма (см. т. 54, стр. 291), отрицательно отнесся и к вульгарно-социологическому неприятию «старого» литературного языка²⁶. Понимание В. И. Лениным современного русского языка согласуется с его учением о социалистической культуре, в строительстве которой необходимо всемерно учесть и воспринять достижения прогрессивной, демократической культуры прошлого.

В трудах В. И. Ленина находим пути решения не только центральных, крупных проблем, но и некоторых частных вопросов исторической эволюции русского литературного языка.

С середины XIX в. в русском литературном языке отмечается довольно сильный напор разговорной, особенно народно-разговорной речи. Наряду с этим очень активным процессом, наблюдаются и явления «противоположного» направления. Русская литературная лексика пополняется естественно-научной терминологией (преимущественно в переосмысленном виде).

Эти процессы трудно до конца осмыслить в историко-языковом аспекте, если не учитывать такой важный экстралингвистический фактор, как изменения в социальном составе носителей (важно подчеркнуть — активных носителей) литературного языка, совершающиеся с середины прошлого столетия. Ленинская концепция русского освободительного движения дает определенные и точные ориентиры, побуждая изучающих

²² С. И. О ж е г о в, К вопросу об изменениях словарного состава русского языка в советскую эпоху, ВЯ, 1953, 2, стр. 75.

²³ Цит. по кн.: «В. И. Ленин о литературе и искусстве», М., 1969, стр. 464—465.

²⁴ Н. Я. М а р р, Избр. работы, II, Л., 1936, стр. 379.

²⁵ Об этом см.: К. Г о р б у н о в, Работа издательств с начинающими писателями, Доклад на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, [М.], 1934, стр. 9.

²⁶ См. заметки на полях упомянутой статьи В. Плетнева («В. И. Ленин о литературе и искусстве», стр. 465).

историю русского литературного языка пристальнее вглядываться в условия его социального существования²⁷. В частности, для второй половины прошлого столетия очевидна необходимость учитывать приход на общественную арену разночинцев, их роль в общественной и культурной жизни страны, характер их интересов, убеждений и деятельности.

В 1914 г. в статье «Из прошлого рабочей печати в России» В. И. Ленин писал: «Освободительное движение в России прошло три главные этапа, соответственно трем главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1891 год; 2) разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время...

Падение крепостного права вызвало появление разночинца, как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности» (т. 25, стр. 93—94).

Анализируя статистические данные за 1884—1890 гг., В. И. Ленин называл этот период «народническим», «разночинским». Он отмечает, что «интеллигенция дает подавляющее большинство (73,2%) участников демократического движения» (т. 25, стр. 95). В. И. Ленин характеризует разночинцев как «образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству» (т. 25, стр. 93—94).

Авторы проспекта «Очерков истории русского литературного языка XIX века» справедливо отмечают, что «для истории словарного состава литературного языка этого времени важно учесть также существенные изменения в социальном составе говорящих и пишущих на литературном языке. С середины XIX в. в их среде растет число лиц, вышедших из круга разночинцев. Писатели-разночинцы несли в литературный язык речевые навыки воспитавшей их среды, слова и выражения, укоренившиеся в разговорной речи народа, различных „низовых“ социальных слоев, города и деревни.

Все это не могло не отразиться на современном составе литературного языка, во многом обогатив и отчасти видоизменив его»²⁸.

Прогрессивно настроенные писатели и публицисты 50—80-х годов, которые, по словам ленинской «Правды», стояли «на страже интересов самых обездоленных слоев населения, — и, главным образом, на страже интересов крестьянства»²⁹, знали превосходно, во всех деталях жизнь народа, внимательно прислушивались к речи крестьян, простолюдинов-горожан, отбирая наиболее меткие и выразительные народные обороты речи для своих произведений. Как свидетельствовал Г. Успенский в письме в редакцию «Нечелы» (1878), в поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» должны были войти все сведения о народе, «накопленные, по собственным словам Некрасова, „по словечку в течение 20 лет“»³⁰. Н. Успенский при встрече с крестьянками начинал говорить таким мужицким языком, что сразу располагал в свою пользу³¹.

В. И. Ленин неоднократно отмечает, как положительное качество произведений этих писателей, превосходное знание крестьянства³²,

²⁷ О значении этого экстралингвистического фактора в истории языка см.: В. М. Жирмунский, Проблемы социальной диалектологии ИАН ОЛЯ, 1964, 2.

²⁸ «Очерки истории русского литературного языка XIX века. Проспект», стр. 11.

²⁹ Цит. по кн.: А. Прямоков, Доктябрьская «Правда» о литературе (1912—1914), М., 1955, стр. 58.

³⁰ См.: «Русские писатели о литературном труде», 2, Л., 1955, стр. 196.

³¹ См.: «Русская мысль», 1902, кн. XI, стр. 104.

³² Ср. В. И. Ленин о Г. Успенском: один из «лучших писателей, описывавших крестьянскую жизнь» (т. 38, стр. 10).

простую и прямую характеристику действительности³³ (см. т. 2, стр. 522), замечательную наблюдательность (см. т. 2, стр. 522).

Однако это лишь одна сторона воздействия разночинцев на литературную речь. С усилением их влияния в печати, в публицистике связаны и процессы проникновения и закрепления в словарном составе русского литературного языка естественно-научной лексики и фразеологии³⁴. Увлеченные в массе своей материалистическим естествознанием, разночинцы активно пользуются естественно-научной терминологией как пропагандируя прогрессивные идеи естествознания, так и при изложении вопросов, не связанных с естественными науками. Вот как характеризует К. А. Тимирязев восприятие естествознания, его общественную роль в первые десятилетия второй половины XIX в.: «... понимаешь, какие глубокие корни пустило в общество того времени сознание не узко утилитарного, а общеобразовательного, философского значения того самого естествознания, занятие которым еще так недавно обыкновенному русскому обывателю представлялось каким-то непонятным барским чудачеством»³⁵.

Популярность естествознания в 60-е годы отмечает «Современник» (1863, кн. 10) в рецензии на «Настольный словарь...» Ф. Толля. О распространенности среди разночинной молодежи 60-х годов естественно-научных знаний и занятий естественными науками свидетельствует И. С. Тургенев («Отцы и дети»). В. В. Виноградов говорит о «естественно-научной окраске публицистического языка нигилистов»³⁶.

В вопросе о роли разночинцев в распространении и утверждении в литературном языке естественнонаучной терминологии и способов изложения, свойственных научной речи, следует учитывать и то, что передовые разночинцы в пропаганде знаний видели средство пробуждения народных масс. Цель такой пропаганды В. Г. Белинский видел в том, чтобы «поставить не занимающегося наукою человека в возможность обратиться для себя вопросы науки в вопросы жизни»³⁷. Определяя задачи «книг для народа», М. Е. Салтыков-Щедрин в полемике с авторами псевдонародных сочинений, видевшими «в народе или низшую породу людей, или какое-то полудурье», для которого они «измышляют» «низшего сорта речи и форменно простонародные речи», утверждал, что «народ и не дурак, и не низшая порода: он страдает только недостатком знаний, а потому и требует знаний, и только знаний»³⁸.

Отметив общий «просветительный» характер «наследства» 60-х годов, В. И. Ленин в работе «От какого наследства мы отказываемся?» анализирует «просветительство» большинства «литературных представителей» этой эпохи: они были одушевлены «горячей враждой к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта „просветителя“. Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям, — горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта

³³ Ср. В. И. Ленин об А. Н. Энгельгардте: картина «действительности деревни, которую он нарисовал с такой талантливостью» (т. 2, стр. 522).

³⁴ См.: Ю. С. С о р о к и н, Развитие словарного состава... Богатый фактический материал к изучению этого вопроса представлен в обширной литературе. См.: И. М. П о д г а е ц к а я, Язык и стиль писателя. Библиография 1951—1958 гг., Казань, 1960; Р. Р. Г е л ь г а р д т, Некоторые вопросы теории и практики изучения языка и стиля писателей, ВЯ, 1958, 3.

³⁵ К. А. Т и м и р я з е в, Соч., VIII, 1939, стр. 175.

³⁶ В. В. В и н о г р а д о в, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1938, стр. 400.

³⁷ В. Г. Б е л и н с к и й, Полн. собр. соч., XII, М., 1956, стр. 419.

³⁸ Н. Щ е д р и н (М. Е. С а л т ы к о в), Полн. собр. соч., V, М., 1937, стр. 334.

„просветителя“ это — отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние и искреннее желание содействовать этому» (т. 2, стр. 519).

Эта развернутая характеристика наследства 60-х годов, в соединении с оценками деятельности и сочинений Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Герцена, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Г. Успенского, стиля большинства из перечисленных литераторов — программа изучения не только общественной и литературной деятельности революционеров-демократов, но и нового публицистического стиля, сыгравшего выдающуюся роль в истории русского литературного языка.

*

В трудах В. И. Ленина историк литературного языка находит методологическую, теоретическую, социально-историческую базу для своих наблюдений, обобщений и выводов. Целые комплексы проблем исторического развития литературных языков, в особенности русского литературного языка, получают в ленинском наследии глубокое, аргументированное диалектико-материалистическое освещение и обоснование.

В журнальной статье нет возможности хотя бы прокомментировать все эти проблемы. Перечислим наиболее существенные и очевидные, имея в виду, что наука об истории литературных языков, как и все советское языкознание, строится на принципах марксизма-ленинизма.

Вопросы общего характера: периодизация исторического развития литературных языков; социально-исторические предпосылки и условия формирования национальных языков; роль народно-разговорной речи и диалектов в формировании и истории национальных языков; понятие «литературный язык»; учение о функциональных стилях, нормализация литературной речи и культура речи; разработка и обоснование языковой политики коммунистической партии в условиях социалистического общества, социалистического многонационального государства. Многие из названных вопросов решаются В. И. Лениным на материале русского языка, поэтому ленинские суждения и мнения имеют особую ценность для историков русского литературного языка.

Вопросы истории русского литературного языка: периодизация; социально-исторические предпосылки и условия формирования русского национального языка; проблемы развития русского литературного языка середины XIX в. и второй половины XIX — начала XX в. (характеристика стиля революционно-демократической публицистики, стилей либеральной и казенно-консервативной публицистики, их место в истории русского литературного языка; формирование и функционирование в публицистическом стиле особых лексиконов, состав и семантические особенности которых обусловлены идеологически; развитие общественно-политической терминологии, ее историческая типология; исследование стиля крупных мастеров слова и их роли в формировании и развитии литературного языка; историческое взаимодействие языка художественной литературы и публицистического стиля с литературным языком; роль различий в истории русского литературного языка середины XIX в.

Приведенный перечень проблем со всей очевидностью свидетельствует о насущнейшей задаче науки об истории литературных языков — как можно полнее освоить богатейшее ленинское наследие, осмыслить глубокие ленинские положения в аспекте исторического развития литературных языков с целью выяснить общие закономерности и черты своеобразия этого развития в национальных вариантах, в частности — русского литературного языка.

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ

К ПРОБЛЕМЕ ОТРАЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКА *

I. Способность человека мыслить и отражать окружающий мир относится к числу исторически изменяющихся и развивающихся явлений. Мышление, как известно, тесно связано с языком. По этой причине проблема соответствия особенностей языка уровню развития мышления давно интересовала исследователей. В изучении этой проблемы можно выделить два периода.

1. П е р в ы й п е р и о д характеризуется представлением о первобытном мышлении как явлении крайне неопределенном, которое можно лишь частично воссоздать, исследуя структуру языков современных народов, находящихся на низком уровне культурного развития. Предполагалось, что жизнь этих народов в известной мере напоминает жизнь наших далеких предков и, следовательно, языки этих народов должны содержать типические черты, свойственные языкам первобытных людей. Многие исследователи указывали, что языкам примитивных народов несвойственны отвлеченные понятия, например, в языке тасманийцев имеются отдельные названия для любого особенного вида растений или животных, но нет слова, которое бы обозначало животное или дерево вообще ¹.

В то же время в языках примитивных народов необычайно развита лексика, связанная с выражением различных деталей, объектов действительности.

Австралийцы имеют отдельные названия почти для каждой мельчайшей части человеческого тела: так, например, вместо слова «рука» у них существует много отдельных слов, обозначающих верхнюю часть руки, ее переднюю часть, правую руку, левую руку и т. д. ².

Описывая один из туземных языков на архипелаге Бисмарка, Р. Паркинсон замечает: «Черное обозначается по различным предметам, имеющим черный цвет. Так, например, слово *kotkot* „ворона“ служит для обозначения понятия „черный“: все, что является черным, в особенности предметы блестящего черного цвета, называется именно так. *Likutan* или *lukutan* тоже обозначает «черный», но скорее в смысле «темный»; *tuwaro* обозначает черный цвет обугленного ореха мушкетного дерева; *luluba* — это черная грязь болот в зарослях манговых деревьев, *dep* — это черная краска, получаемая от сжигания смолы канареечного дерева; *utur* — это цвет обугленных листьев бетеля, смешанных с маслом. Все эти слова употребляются соответственно случаю для обозначения черного цвета»; столько

* Статья представляет собой вариант той, которая публикуется в юбилейном сборнике «Ленин и языкознание». — *Ред.*

¹ См.: А. Л. П о г о д и н, Язык как творчество. Происхождение языка, «Вопросы теории и психологии творчества», IV, Харьков, 1913, стр. 10—13.

² Л. С. В ы г о т с к и й, А. Р. Л у р и я, Этюды по истории поведения, М—Л., 1930, стр. 88.

же разных слов имеется для других цветов: для белого, зеленого, красного, синего, и т. д.³.

В языке папуасов с острова Киваи обнаруживается «большое количество глагольных приставок, простых и сложных, назначением которых является выражать и указывать, сколько в данный момент действует субъектов и на какое количество»⁴. В кламатском языке (один из языков североамериканских индейцев) в указательных местоимениях с необычайной тщательностью выражаются самые различные пространственные отношения⁵.

В бушменском множественное число отличается от единственного с помощью целого ряда суффиксов, что указывает на отсутствие достаточно определенно выработанного различения грамматических чисел⁶.

Склонность к звукоимитике также часто приводится как одна из особенностей языков примитивных народов. В языке эве, по свидетельству Д. Вестермана, есть весьма своеобразный вид наречий со специализированным назначением. Многие глаголы, в первую очередь те, которые описывают впечатления, воспринимаемые органами чувств, могут иметь при себе целый ряд таких наречий, которые наиболее точно подчеркивают действие, состояние, или свойство, выражаемое глаголом. Эти наречия являются как бы «звуковыми картинками», «вокальными имитациями чувственных впечатлений». Так, глагол *зо* «ходить» может быть сопровождаем следующими наречиями, которые употребляются только с этим глаголом и описывают разного рода походку: *зо бехе бехе* «ходить, волоча ноги (как это делают слабые люди)», *зо биа биа* — для описания походки долговязого человека, выбрасывающего ноги вперед, *зо була була* «опрометчиво двигаться вперед, ничего не видя перед собой», *зо кака*, «ступать важно, прямо, не шевеля корпусом», *зо пиа пиа* «ходить маленькими шажками» и т. д.⁷.

Существует убеждение, что языки первобытных людей обладают довольно простой грамматической структурой. Наличие подобной структуры в некоторых современных языках рассматривается как реликт первобытного архаического состояния. А. Фитерман утверждал, что тагальский язык сохранил некоторые архаические особенности, которые выражаются в следующем: там имеется всего 17 звуков, причем состав гласных ограничивается звуками *a, e, i, u*; склонение выражается положением слова во фразе, а также частицами и приставками; мн. числа нет, его заменяет числительное или слово *шаида* (много), глагол и имя не различаются⁸.

В языке южноамериканского племени короадос глагол употребляется обычно в неопределенном наклонении, а признаки времени и лица, как и другие отношения, связанные с действием, обозначаются ударением, медленностью или живостью произношения, особыми знаками и характерными жестами, восполняющими недостаток грамматического построения.

Характеризуя языки банту, А. Л. Погодин отмечает их своеобразное строение, связанное с законом проведения одного типа местоимения через все предложение: «Эта необходимость приставлять к каждому слову фразы слоги *ta, ba, le* и т. п., чтобы отметить логическую связь этих слов,

³ R. Parkinson, *Dreißig Jahre in der Südsee*, Stuttgart, 1907, стр. 144, см. также стр. 145.

⁴ П. Левин-Брюль, *Первобытное мышление*, Л., 1930, стр. 98.

⁵ Там же, стр. 102.

⁶ А. Л. Погодин, указ. соч., стр. 239.

⁷ D. Westermann, *Grammatik der Ewesprache*, Berlin, 1907, стр. 83.

⁸ A. Featherman, *Social history of the races of mankind*, IV — *Papuo and Malayo-Melanesians*, London, 1877, стр. 487.

иначе говоря, принадлежность их к одной и той же фразе, указывает на неспособность мысли оторваться от конкретных представлений»⁹. По свидетельству К. Штейнена, основа глагола в южноамериканском языке бахаири необычайно осложнена присоединяющимися к ней различными элементами. «Органическое расчленение слов прекращается, и предложение превращается в грубейшую мозаику из одних обломков»; у бахаири предложения сливаются в одно слово¹⁰.

Аналогичную структуру имеют языки североамериканских индейцев. «Основная особенность их заключается в стремлении... связывать все элементы предложения в одно целое так, чтобы в результате получилось одно слово»¹¹. По мнению некоторых исследователей, эти черты представляют реликты того периода в развитии языков, когда люди говорили не словами, а словами-предложениями, означавшими целый комплекс слов¹².

Этнографы и отчасти языковеды, исследовавшие быт, культуру и языки народов, отсталых в культурном и экономическом отношении, положили начало изучению сложной проблемы взаимоотношения языка и мышления. Были собраны интересные материалы, касающиеся особенностей языков этих народов.

Положительным в исканиях подобного рода следует считать материалистически понятое положение о том, что типологически сходные условия быта могут быть причиной возникновения некоторых типологически сходных норм сознания.

Так, например, неразвитость отвлеченных понятий оказывается типичной для всех языков народов, стоящих на низкой ступени культурного развития. Необычайная детализация и конкретность понятий, типичная для этих языков, также связана с особенностями быта и хозяйственного уклада их носителей.

Вместе с тем методика исследования проблемы взаимоотношения языка и мышления, обнаруживаемая в описании языков народов, стоящих на низкой ступени развития, часто оказывается порочной. Исследователи в этот период часто отождествляли язык с мышлением. Народу — носителю языка, отличающегося простотой грамматической структуры, обычно приписывалось примитивное мышление. Проблема возможности пересмысления форм, кажущихся архаичными, даже не ставилась. Характерным для всех этих работ был антиисторический подход к языку, который обычно выражался в том, что наличное в данный момент выдавалось за первоначальное. Изучение истории различных языков с достаточной убедительностью показывает, что простота грамматической структуры может быть вторичной (ср. такие языки, как английский, армянский, некоторые новоиндийские и т. д.). Скудость консонантизма или вокализма также может быть вторичным явлением; например, в финском языке очень невелика система согласных, что отнюдь не является первоначальным. Кроме того, совершенно забывался закон неравномерности изменения различных уровней языка. Язык может быть «прост» в одном отношении, но сложен в другом. Кроме того, проведение аналогий между мышлением современных людей, стоящих на низкой ступени культурного развития, и мышлением первобытных людей может быть только сугубо относительным, поскольку мышление всех современных людей имеет длительную историю развития. На это в свое время обращал внимание И. Колер, который отмечал, что языки австралийских дикарей, первобытные в пси-

⁹ А. Л. Погодин, указ соч., стр. 251.

¹⁰ Там же, стр. 260.

¹¹ Там же, стр. 275.

¹² Там же, стр. 281.

хологическом отношении, представляют продукты долгого употребления, если даже нет данных, позволяющих судить об их развитии¹³.

2. В т о р о й п е р и о д в изучении проблемы взаимоотношения языка и мышления характеризуется стремлением представить первобытное мышление как особую стадию в развитии человеческого мышления, для которой свойственны специфические, только ей присущие черты. Наиболее колоритной фигурой этого периода является французский этнограф и философ Л. Леви-Брюль, оказавший большое влияние на многих исследователей, в особенности на Н. Я. Марра и И. И. Мещанинова.

Взгляды Л. Леви-Брюля изложены в трех основных работах — «Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures» (Paris, 1910), «La mentalité primitive» (Paris, 1912) и «L'âme primitive» (Paris, 1927). В русском переводе его книги «La mentalité primitive» («Первобытное мышление», 1930) были использованы также некоторые материалы, содержащиеся в первой работе.

В этой книге Леви-Брюль резко полемизирует со сторонниками так называемого анимистического направления, провозглашающего тождество человеческого духа, с логической точки зрения совершенно одинакового всегда и повсюду¹⁴.

Следуя взглядам О. Конта, Леви-Брюль утверждал, что в умственной жизни человека все, что не сводится к простой реакции организма на получаемые раздражения, имеет социальную природу. «Следовательно, определенный тип общества, имеющий собственные учреждения и нравы, неизбежно будет иметь и свое собственное мышление»¹⁵.

Первобытные люди, по утверждению Леви-Брюля, ничего не воспринимают так, как мы. Точно также, как социальная среда, в которой они живут, отличается от нашей, и именно потому, что она отлична от нашей, восприятие внешнего мира первобытными людьми отлично от нашего восприятия¹⁶. В первобытном мире господствуют коллективные представления. Коллективные представления первобытных людей глубоко отличны от наших идей или понятий; они также и не равносильны им. Они не имеют логических черт и свойств. «Каков бы ни был предмет, появляющийся в их представлении, он обязательно содержит в себе мистические свойства, которые от него неотделимы, и познание первобытного человека действительно не отделяет их, когда оно воспринимает тот или иной предмет»¹⁷.

Особое значение Леви-Брюль придает характерному якобы для мышления первобытных людей закону партиципации. «Когда член низшего общества, австралиец, например, или гуичол, думают об „олене“ или „пере“ или „облаке“, то родовой образ, который ему представляется, предполагает и содержит в себе нечто иное, чем аналогичный образ, появляющийся при тех же обстоятельствах в сознании европейца»¹⁸. Первобытный человек «живет и действует среди существ и предметов, которые все, кроме свойств, которые за ними признаем и мы, обладают еще и мистическими способностями; к их чувственной реальности примешивается еще и некая иная»¹⁹. Отсюда Леви-Брюль делал вывод о мистическом характере психической деятельности первобытных людей: «Мышление первобытных людей является в основе своей мистическим...», «они с полным без-

¹³ J. K o h l e r, Über das Recht der Australneger, «Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft», VII, 1887, стр. 332.

¹⁴ Л. Л е в и - Б р ю л ь, указ. соч., стр. 8.

¹⁵ Там же, стр. 15.

¹⁶ Там же, стр. 25.

¹⁷ Там же, стр. 21, 25.

¹⁸ Там же, стр. 86.

¹⁹ Там же, стр. 40.

различием относятся к противопоказаниям опыта»²⁰. Формулируя общий принцип: «различным типам мышления должны были бы соответствовать и различные по своей структуре языки», Леви-Брюль указывает, однако, на целый ряд осложняющих обстоятельств, которые затрудняют исследование языков в этом плане; к числу их следует отнести прежде всего миграции и возможность поглощения одних групп людей другими, что вызывает смешение языков²¹.

Однако соответствие между пралогическим мышлением и структурой языка Леви-Брюлю обосновать не удалось. Он просто отмечает некоторые особенности первобытных языков, их склонность выражать различные частные детали, их неспособность выражать такие грамматические категории, как наклонение и время и т. п.

Неприемлемость теорий Леви-Брюля является вполне очевидной. Можно допустить существование у первобытного человека магических приемов и всякого рода фантастических представлений. Однако не они имели решающее значение в его жизненной борьбе за существование. Для того чтобы добыть огонь, убить зверя или наловить рыбы, построить жилище, изготовить орудия и т. п., человек должен был знать и использовать объективные законы окружающего мира. Без правильного, пусть даже научно не осознанного понимания этих законов первобытный человек вообще не мог бы существовать. «Главная ошибка Леви-Брюля, — справедливо замечают Л. С. Выготский и А. Р. Лурия, — заключается в недооценке технической деятельности, практического интеллекта примитивного человека, того бесконечно подынявшегося над операциями шимпанзе, но генетически связанного с ним употребления орудий, которое в корнях своих не имеет ничего общего с магией»²².

Б. И. Шаревская считает, что «в отношении первобытного человека вообще нельзя говорить о системе воззрений, материалистической или идеалистической»: «в воззрениях первобытного человека было слишком много „посторонних прибавлений“ (хотя они и представлялись материально), чтобы его можно было назвать материалистом. Не был он материалистом, как не был и идеалистом или мистиком». И далее: «В отношении первобытного человека неправомерно говорить ни о науке, ни о философии, ни о религии — вообще ни о какой системе идей. У него, очевидно, вообще возникало мало „идей“, хотя он необходимо должен был мыслить логически, ибо без этого он не мог бы существовать»²³. Картина мира у первобытного человека, как и его практика, по-видимому, представляла собой конгломерат разрозненных знаний, магических приемов и смутных супернатуралистических представлений²⁴.

Наконец, сами магические действия не являются первичными. «Исследования показывают, ... что магия вовсе не наиболее распространена среди наиболее примитивных народов. Лишь у средних примитивов она приобретает почву для своего развития, и расцвет ее приходится на высшие примитивные народы и древние культурные народы. Необходимо значительное развитие культуры, для того чтобы возникли необходимые предпосылки для магии»²⁵.

Заметим также, что теория Леви-Брюля не до конца последовательна и обнаруживает противоречия. Так, например, Леви-Брюль признавал,

²⁰ Там же, стр. 26, 39.

²¹ Там же, стр. 95.

²² Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, указ. соч., стр. 119.

²³ Б. Шаревская, О методологической и терминологической путанице в вопросах первобытного мышления, «Советская этнография», 1958, 6, стр. 70, 73

²⁴ Там же, стр. 74.

²⁵ Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, указ. соч., стр. 117.

что «весь психофизиологический процесс восприятия происходит у них [у первобытных людей. — Б. С.] так же, как и у нас. Однако продукт этого восприятия у первобытного человека немедленно обволакивается определенным сложным состоянием сознания, в котором господствуют коллективные представления»²⁶. «Рассматриваемый индивидуально, в той мере, в какой он мыслит и действует назависимо, если это возможно, от коллективных представлений, первобытный человек будет чувствовать, рассуждать и вести себя чаще всего так, как мы это от него ожидаем»; мышление первобытных людей может быть названо пралогическим: «оно не антилогично, оно также и не алогично»²⁷. Однако Леви-Брюль неправоммерно преувеличивал роли мистического элемента в сознании первобытного человека.

Н. Я. Марр попытался очистить теорию Леви-Брюля от заложенных в ней противоречий. Он пользовался термином «пралогическое мышление» уже без всяких оговорок. Леви-Брюль был совершенно индифферентен к проблемам развития экономического базиса. Н. Я. Марр, наоборот, стремился найти соответствие между состоянием развития производительных сил общества, мышлением и языком, считая язык надстроечной категорией: «Язык создавался в течение многочисленных тысячелетий массовым инстинктом общественности, слагавшейся на предпосылках хозяйственных потребностей и экономической организации»²⁸.

По Марру, «сама смена форм языкового мышления обусловлена сменой социально-экономических формаций»²⁹.

Н. Я. Марру не удалось создать цельного и стройного учения о стадиях языкового развития, хотя он пытался развивать этот тезис в самых различных направлениях. Одно время Н. Я. Марр пытался установить стадиальность в смене морфологических типов языка. «Первичный аморфный синтетический строй языка, присущий ныне так называемым моносиллабическим языкам, например китайскому, второй, агглютинативный строй, отличающий, например, турецкий язык, и третий, флективный строй, с каким является, например, русский, это не три параллельных, а три хронологически последующих друг за другом типа»³⁰. Кстати, эта мысль еще до Марра была высказана А. Шлейхером. В отличие от А. Шлейхера Марр связывал процесс стадиального движения морфологических типов языка со сменой различных систем хозяйства и со сменой системы мышления. «Смены мышления — это три системы построения звуковой речи, по совокупности вытекающие из различных систем хозяйства и им отвечающих социальных культур: 1) первобытного коммунизма, со строем речи синтетическим..., 2) общественной структуры, основанной на выделении различных видов хозяйства с общественным разделением труда,... им сопутствует строй речи, выделяющий части речи, а во фразе — различные предложения, в предложениях — различные его части и т. п....; 3) сословного или классового общества, с техническим разделением труда, с морфологиєю флективного порядка»³¹.

Особыми стадиями языкового развития Н. Я. Марр считал также языковые семьи: «индоевропейские языки составляют особую семью, но не расовую, а как порождение особой степени, более сложной, скрещения, вызванной переворотом в общественности, в зависимости от новых форм

²⁶ Л. Леви-Брюль, указ. соч., стр. 25.

²⁷ Там же, стр. 50, 49.

²⁸ Н. Я. Марр, Избранные работы, I, Л., 1933, стр. 218.

²⁹ Там же, II, Л., 1936, стр. 116.

³⁰ Там же, I, стр. 89.

³¹ Там же, III, М.—Л., 1934, стр. 71.

производства, связанных, по-видимому, с открытием металлов и широким их использованием в хозяйстве»³².

В некоторых работах Н. Я. Марр под сильным влиянием Леви-Брюля стремился выявить стадии развития мышления: зрительное мышление (до появления звукового языка), тотемическое, космическое и микрокосмическое и, наконец, формально-логическое мышление³³.

В отдельных случаях характеристика стадияльного развития мышления выражалась в характеристике языкового состояния. Палеонтология речи, по утверждению Н. Я. Марра, «вскрывает состояние языка, а, следовательно, мышление, когда не было еще полноты выражения мысли, не выражало действие, т. е. не было глагола, сказуемого, более того — не было субъекта, по схоластической грамматике так называемого подлежащего. ... действие было, но не в высказывании, во фразе, а в производстве, и субъект был, но не во фразе, а в обществе..., в речении, тогда лишь в ручном, ...[выражался... — Б. С.] объект, но не по четкому представлению нашего мышления, как „дополнение“, а как комплекс цели, задачи и продукции (предмета потребления)»³⁴. Когда действующее лицо (субъект) «выделилось в сознании из действия, то действие продолжало обозначаться ручным символом, а действующее лицо было уже надстроечное, это — тотем: он-то и нуждался в сигнализации звуковым знаком... Уже нарождалось представление о коллективной собственности. Появилось местоимение. Однако эта категория слов, впоследствии — часть речи, первая по времени появления часть речи, замещала не имя существительное, ... а имя-тотем... синтаксис-строй в звуковой речи получался одной расставленной слов, сохранявших общественную природу, а потому не нуждавшихся ни в каком оформлении...»³⁵. Образование новых производств умножило число звуковых тотемов. Осложненное производство и потребление привело к возникновению мировоззрения более широкого охвата с более четкой техникой мышления³⁶. Эти изменения, по мнению Н. Я. Марра, вызывали изменения и в строе языка.

Критики стадияльной теории Н. Я. Марра справедливо указывали, что Н. Я. Марр пользовался термином «стадия» сбивчиво и противоречиво, вкладывая в него очень разнообразное, пестрое, внутренне несогласованное содержание: он говорил о разных стадиях мышления, в то же время стадиями оказывались разные системы языков; понятие стадии языка отождествлялось также с понятием строя языка³⁷.

Последователи Н. Я. Марра, замечая несовершенство его стадияльных схем, пытались придать стадиям более очерченный характер в плане более четкого выявления и определения их различительных признаков. Известный интерес в этом отношении представляет стадияльная схема, предложенная И. И. Мещаниновым в 1931 г. И. И. Мещанинов пытался установить более определенные корреляции между общественным строем, соответствующим ему археологическим периодом и с тем или иным типом или строем речи. Так, например, «коллективу собирателя и охотника с искусственным орудием» и «коллективу мелкого охотника» (нижний и средний палеолит) якобы был присущ аморфный строй речи; «коллектив крупного охотника (начало скотоводства и мотыжного земледелия)» характеризуется «переходом к аморфно-синтетическому» строю язы-

³² Там же, I, стр. 185.

³³ Там же, III, стр. 120.

³⁴ Там же, стр. 115.

³⁵ Там же, стр. 116.

³⁶ Там же, стр. 116, 117.

³⁷ В. В. Виноградов, Критика антимарксистских теорий стадияльности в развитии языка и мышления (1923—1940), сб. «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании», 1, М., 1951, стр. 73.

ка; «общественным группировкам, характеризующимся переходом на скотоводство и земледелие» (эпоха неолита) приписывается аморфно-синтетический строй языка и агглютинативный — родовым общинам; типичным для эпохи феодализма оказывается флективный строй языка³⁸. Фактически эта стадияльная схема была попыткой уточнить известную стадияльную схему Н. Я. Марра, связывавшего особенности морфологического типа языков с общественно-экономическими формациями.

Причинные связи между характером производства населения и соответствующим ему типом языка устанавливались И. И. Мещаниновым крайне умозрительно и в самом общем плане. Предполагалось, что первобытный человек мог довольствоваться «условными сигналами жестов и мимики, иногда сопровождаемых диффузными, еще не расчлененными, выкриками»; к тому же и само мышление охотника периода древнего каменного века было в известной степени образным — «поэтому жестом передавалось не отдельное слово, а целый образ»³⁹. В коллективе охотников на крупного зверя прежнее диффузное состояние стало окончательно распадаться. По мере перехода на специализированный труд самого пользующегося речью коллектива, строй речи начал переходить в аморфно-синтетический, т. е. прежний знак, передававший когда-то образ-фразу, уже обратился в слово, требующее для построения фразы соблюдения вырабатывающихся правил синтаксиса. Это должно было повести к построению фразы из нескольких знаков. При переходе от охотничьего образа жизни к оседлому значительно усилилось расчленение труда. Увеличивающиеся потребности в общении соприкасавшихся родовых объединений, необходимость обмена продуктами между ними в условиях специализации труда, вели к упрощению способов общения, делая их все более доступными массам в их устной речи.

Набор неоформленных слов заменился новым способом конструкции речи, при котором для характеристики данного слова использовались другие слова своей же речи, могущие придать требуемый оттенок, иначе самый смысл фразы остался бы непонятным. Выделились так называемые вспомогательные слова, присоединение которых к другим выявляло функцию последних во фразе. Языковая структура становилась агглютинативной⁴⁰. «Флективная стадия оказывается по существу дальнейшим видоизменением агглютинативной»⁴¹.

Нетрудно понять, что все эти объяснения не решают в целом проблему взаимоотношения особенностей мышления и языкового строя, поскольку они фактически сводятся к попытке объяснить причины смены различных морфологических типов языков. Между тем, новейшие исследования показывают, например, что довольно значительное распространение на земном шаре языков агглютинативного строя обусловлено вовсе не особенностями развития мышления, а совершенно иными причинами. В настоящее время все более выясняется, что процесс порождения речи происходит, по всей вероятности, путем последовательной перекодировки фонем в морфемы, морфем в слова и слов в предложения; на том или ином из этих уровней перекодировка осуществляется не в долговременной, а в оперативной памяти человека, объем которой ограничен⁴². Емкость оперативной памяти человека накладывает ограничения на глубину и на длину слова.

³⁸ И. И. Мещанинов, К вопросу о стадияльности в письме и языке, «Изв. ГАИМК», VII, 5—6, Л., 1931, стр. 92.

³⁹ Там же, стр. 17, 23.

⁴⁰ Там же, стр. 64, 65.

⁴¹ Там же, стр. 81.

⁴² См.: В. А. Москович, Глубина и длина слов в естественных языках, ВЯ, 1967, 6, стр. 17.

Под глубиной слова в данном случае понимается количество морфем в слове, а длина слова обычно выражается количеством слогов ⁴³. «Данные лингвopsихологических опытов определенно указывают на то, что объем восприятия длины и глубины слов равен объему оперативной памяти человека. Это означает, что в тех стилях естественных языков, которые ориентированы на устную форму общения, максимальная длина слов не может превышать 9 слогов, а их максимальная глубина 9 морфем; наиболее благоприятными для восприятия речи являлись слова, имеющие глубину и длину от 1 до 4 морфем и слогов, а менее благоприятными — от 4 морфем и слогов и выше ⁴⁴.

В агглютинирующих языках морфемы, почти как правило, однозначны, границы их в слове определены. Это создает четкий внутрисловный контекст, позволяющий безошибочно идентифицировать морфемы в самых длинных последовательностях. При способе соединения морфем, называемом внутренней флексией, чрезмерное увеличение количества морфем в слове нежелательно, так как это может повлечь за собой затруднения в идентификации элементов слова. В. А. Москович признает поэтому естественным, «что в языках мира более всего распространена агглютинация и менее всего — внутренняя флексия. Фузия же по распространенности несколько уступает агглютинации» ⁴⁵.

Многочисленные факты свидетельствуют также о том, что языки, в которых господствующими являются внутренняя флексия и фузия, с течением времени становятся агглютинативными языками или же такими языками, в которых агглютинация занимает ведущее положение; ср., например, историческую эволюцию армянского, древнеиранских, санскрита и т. д. Кроме того, разрушение флективного строя происходит часто по причинам необходимости устранения различных неудобств, как-то: наличие морфемной омонимии, полисемантичности морфем, отсутствия четких границ между корневыми и суффиксальными морфемами, наличие параллельных способов выражения и т. п. ⁴⁶.

Все это лишний раз свидетельствует о том, что основными причинами смены морфологического типа языков являются требования техники речевого общения, а не сдвиги в развитии человеческого мышления.

Следует отметить, что взгляды И. И. Мещанинова, касающиеся проблемы стадиальности языка и речи, неоднократно менялись. В его более поздних трудах встречаются другие стадиальные схемы. Эти работы характеризуются стремлением перенести проблему стадиальности в область синтаксиса и связать стадиальность развития мышления с особенностями синтаксического строя различных языков. Основной движущей силой изменения синтаксических структур объявляется процесс осознания субъекта действия и самого действия в связи с развитием мышления, которое последовательно проходит две стадии развития — дологическую и логическую. Показательна в этом отношении стадиальная схема, излагаемая в его книге «Новое учение о языке».

Опираясь на некоторые высказывания Н. Я. Марра, И. И. Мещанинов утверждает, что палеонтология речи вскрывает то состояние языка (а следовательно — мышления), когда в предложении субъект и действие не были выражены. Так, например, пережитком той архаической стадии развития мышления, когда субъект и предикат не были выражены, является прием инкорпорирования, встречающийся в некоторых языках

⁴³ Там же, стр. 18.

⁴⁴ Там же, стр. 19, 33.

⁴⁵ Там же, стр. 24, 25.

⁴⁶ Подробнее см.: Б. А. Серебряников, Об относительной самостоятельности развития системы языков, М., 1968, стр. 40 и сл.

Северной Азии и в целом ряде американских. «Это — цельная форма с показанием действия и характеристикой как его свойств, так и направления на объект», например: юкагирск. *köde-d-ilen-bunıl* «человеко-олениное-убийство». «... в самом построении данных юкагирских слов мы имеем одно комплексное выражение действия, не передающего действующего лица в его специфическом выражении субъекта: имя еще не дифференцировано от глагола; имеется лишь действие в его характеристике без выделения категорий речи, обычных для индоевропейских языков — «здесь мы имеем слитное выражение слитного же восприятия действия „тотема“»⁴⁷.

«По нормам действующего сознания строй речи этого периода оказывается все же активным, но с активно действующим „мифологическим субъектом“, или „тотемом“... Этот „мифологический субъект“, наличный в представлении говорящего в том или ином виде, но всегда в его мифическом восприятии, выявляет свои действия через фактически действующее лицо, осознаваемое при таких условиях как пассивный исполнитель, как посредник деяния»⁴⁸.

Главным стимулом, ведущим к разложению этого строя, является неуклонно идущий процесс осознания активно действующего субъекта и самого действия. При выделении индивида происходит столкновение активно-пассивных отношений как в самом мышлении, так и в языковом строе. Это выражается в том, что возникает два глагольных строя: так называемый местоименный строй, когда личные местоимения используются в роли личных глагольных окончаний, и именной-притяжательный строй, например, алеутск. *su-ku-ŋ* «мое теперешнее взятие» (= «я беру»). Формальный именной-притяжательный строй оказывается пассивным⁴⁹.

С развитием мышления ослабляется, по И. И. Мещанинову, влияние неконтролируемых сил и вместе с тем усиливается проникновение активизации в структуру речи. Действующее лицо всецело переносится осознанием на реального исполнителя действия (логический субъект), и прежний «мифологический субъект» сохраняется только в снятом виде⁵⁰. Такое состояние характеризует эргативную стадию, однако пережитки прежних стадий и здесь еще оказываются заметными. В этой стадии возникают новые падежные формы. Вырабатывается специальный орудийный или эргативный падеж, двусмысленный в зависимости от хода коренной ломки мышления. С одной стороны, он как падеж посредника действия (исполнителя данного акта) означает орудие действия. С другой, при снятии «мифологического субъекта», обращавшего действующее лицо в своего посредника, этот падеж становится активным, сохраняя все же свою пассивную форму и косвенное значение орудийного падежа: «... формальная пассивность субъекта переходных форм связана с их именным притяжательным построением более отдаленного стадийного состояния»⁵¹. «Взамен притяжательного построения выдвигается личное; другими словами, притяжательный форматив глагола заменяется личным или становится личным»⁵².

Последующая ломка эргативного строя и выход языков из соответствующего стадийного состояния обусловлены развитием логического мышления в его внешнем выявлении в языковой структуре. В активной стадии, субъект, будучи активным, получает активное оформление. К активной или активно-логической стадии относится большинство наиболее

⁴⁷ И. И. Мещанинов, Новое учение о языке, [Л.], 1936, стр. 294, 295.

⁴⁸ Там же, стр. 294.

⁴⁹ Там же, стр. 306.

⁵⁰ Там же, стр. 316.

⁵¹ Там же, стр. 320.

⁵² Там же, стр. 321.

изученных языков — индоевропейские, семитические, тюркские, финские и др.⁵³ И. И. Мещанинов допускает в различных языках смешение разных стадийальных признаков.

В сущности та же стадийальная схема, но с некоторыми уточнениями, приводится в более поздней работе И. И. Мещанинова «Общее языкознание» (Л., 1940). Развитие синтаксического строя всех языков мира согласно этой схеме проходит следующие этапы: слово-предложение; инкорпорирующие комплексы, передающие одним словом целое предложение; лексико-синтаксические комплексы (тесное слияние отдельных частей речи); становление вербального предложения в связи с образованием глагола; посессивный (притяжательный) строй предложения; эргативный строй предложения; номинативный строй предложения.

Основное отличие этой схемы от предыдущей состоит в том, что И. И. Мещанинов, по-видимому, освободился от увлечения теориями Л. Леви-Брюля и Н. Я. Марра о дологическом мышлении и о роли различных тотемических и мифологических представлений, якобы способствовавших оформлению специфического строя предложения на древних этапах развития человеческой речи. Тем не менее, основная причина смены различных синтаксических типов, по И. И. Мещанинову, — постепенное осознание субъекта действия и самого действия — прямо исходила из учения Леви-Брюля о двух стадиях развития мышления, дологической и логической. Поэтому вся критика в этом плане, направленная на теории Леви-Брюля и Н. Я. Марра, в одинаковой степени может быть отнесена и к воззрениям И. И. Мещанинова. Что же касается последовательной смены различных синтаксических типов языков, то здесь также много неясного, например, истинная причина образования инкорпорированных комплексов, эргативного строя предложения и т. д. до сих пор окончательно не выяснена. Н. Я. Марр и И. И. Мещанинов часто забывали о том, что образование синтаксических типов языков в большинстве случаев обусловлено причинами не менталистического порядка. Характерным для И. И. Мещанинова, как и для Н. Я. Марра, является невнимание к конкретной истории языков.

Проблема стадийности мышления и речи интересовала также известного финно-угроведа Д. В. Бубриха, хотя он не был последователем учения Н. Я. Марра. Д. В. Бубрих устанавливал три стадии развития мышления: 1) наглядно-действенное мышление, которое вращается в рамках переживаемой действительной ситуации и опирается на наглядное содержание последней; 2) наглядно-образное мышление, которое уже широко выходит за рамки переживаемой действительной ситуации и опирается на наглядные образы; 3) собственно-мышление, которое также широко выходит за рамки переживаемой действительной ситуации и опирается уже на понятия⁵⁴.

Эта схема более реалистична, поскольку все три типа мышления действительно существуют. Неясно только, были ли между ними достаточно четкие стадийальные границы в процессе их развития. В плане связи с развитием языка эта схема выглядит следующим образом: 1) „эра“ наглядно-действенного мышления и сигнальной речи; 2) „эра“ наглядно-образного мышления и изобразительной речи; 3) „эра“ собственно-мышления и собственно-речи; далее „эра“ наглядно-действенного мышления и сигнальной речи“ связывается с допалеолитическим временем и нижним палеолитом; средний палеолит связывается с „эрой“ наглядно-образного мышле-

⁵³ Там же, стр. 334.

⁵⁴ Д. В. Б у б р и х, Происхождение мышления и речи, «Научный бюллетень ЛГУ», 7, 1946, стр. 37.

ния и изобразительной речи», а «верхний палеолит составил начало „эры“ собственно-мышления и собственно-речи»⁵⁵.

II. Этот далеко не полный перечень различных стадияльных схем и показ методики исследования проблемы взаимоотношения мышления и языка в их историческом развитии свидетельствует о необычайной сложности этой проблемы. Ее исследование затрудняется целым рядом осложняющих обстоятельств, сущность которых сводится к следующему: 1) одно и то же мыслительное содержание в разных языках мира может быть выражено различными языковыми способами; 2) значение языковой формы может неоднократно меняться и переосмысливаться при сохранении самой формы; 3) общее количество морфологических и синтаксических типов, а также способов грамматического выражения в языках мира ограничено. На протяжении истории языков может наблюдаться неоднократно чередование и повторение одинаковых типов. Поэтому очень трудно определить, является ли данный морфологический или синтаксический тип языка первичным или вторичным; 4) система одного языка может подвергаться влиянию другого языка в различных условиях контактирования языков. Например, эргативная конструкция в некоторых кавказских языках могла возникнуть под влиянием языков-субстратов; под влиянием индоевропейских языков в некоторых финно-угорских появились новые синтаксические особенности и т. д. Все это также во многих случаях затрудняет выявление первичных особенностей; 5) изменение языкового строя не всегда связано с требованиями развивающегося мышления. В каких-то своих частях оно нередко связано с чисто психологическими особенностями, например, с тенденцией выражать одинаковые значения одинаковой формой (или наоборот — разные значения разными формами), с тенденцией к устранению слишком длинных слов или суффиксов, к устранению плеоназма и т. д. Поэтому не каждое языковое изменение непосредственно связано с изменением мышления; 6) изменение строя языка может быть результатом появления новых ассоциаций, которые сплошь и рядом имеют случайный характер; 7) выбор средств языкового выражения в различных языках мира также часто случаен. Это обстоятельство необычайно затрудняет установление достаточно четких языковых стадияльных признаков; 8) не все то, что имеется в человеческом сознании, может непосредственно выражаться в языке. Поэтому отсутствие того или иного слова или формы в языке вовсе не обозначает отсутствие соответствующего понятия в сознании людей; 9) при исследовании проблемы отражения развития мышления в грамматическом строе языка следует учитывать также то важное обстоятельство, что процесс речевого общения обслуживается довольно узким и ограниченным кругом грамматических категорий, в той или иной мере повторяющихся в различных языках мира. Обычно в этот круг входят такие категории, как число, лицо, падеж, вид, время, залог, модальность и т. п. С технической точки зрения процесс речевого общения представляет выражение довольно элементарных отношений, как, например, выражение числа предметов, пространственных и субъектно-объектных отношений, соотнесение действия с его субъектом, отнесение глагольного действия к определенной временной плоскости или временному плану, указание на качественные особенности действия и т. д. Эти отношения и выражающие их грамматические категории являются довольно простыми по своему содержанию, которое на протяжении тысячелетий меняется очень медленно. Они возникли в сознании человечества очень давно, и подчас бывает невозможно определить качественные сдвиги в их значении в современных языках;

⁵⁵ Там же, стр. 38, 39.

10) огромную роль в образовании грамматического строя языка играет перенос одних моделей на другие по аналогии, что необычайно затрудняет исследование первичной мотивированности таких моделей; 11) многие особенности грамматического строя архаических языков являются совершенно недоступными для изучения по причине их полного исчезновения. Реконструируемые нами праязыки (или языки-основы) современных групп родственных языков являются языками относительно неглубокого залегания. Их предполагаемый возраст в среднем не превышает восьми, десяти тысяч лет.

Следует отметить, что ни в одной из существующих работ, посвященных проблеме стадиальности развития языков, эти осложняющие обстоятельства не преодолены, что естественно лишает их доказательной силы.

При наличии осложняющих обстоятельств особое значение приобретает проблема выбора правильного метода для того, чтобы исследовать, как развивающееся мышление отражается в структуре языка.

Прежде всего необходимо отказаться от попыток выявления четко разграниченных стадий в развитии мышления и языка — ибо никаких четких границ между стадиями развития мышления и языка установить никогда не удастся. О мышлении первобытного человека можно говорить только в самых общих чертах как о некоем типическом состоянии. Такое мышление было, конечно, менее развито, в известной степени примитивно, менее абстрактно. Тем не менее, во все эпохи своего развития человеческое мышление было всегда логическим. Никаких «дологических» и «мифологических» стадий никогда не было. Поэтому совершенно беспочвенным является рассуждение о том, будто бы первоначально субъект действия не сознавал самого себя, ассоциировал себя с «тотемом» или даже с определенным человеческим коллективом в целом.

Кроме того, развитие человеческого мышления имеет свою специфику. Более архаический тип мышления, например, мышление практическое или производственное, по мере развития мышления не исчезает, а дополняется различными новыми, более сложными типами мышления. Смена различных языковых типов и языковых структур также представляет собой довольно сложное явление. Архаические особенности языковой структуры со временем утрачиваются, но многое здесь и циклически повторяется. В связи с высказанными замечаниями нам хотелось бы рассмотреть в данной статье два вопроса: 1) критерии определения в языке архаических языковых явлений и 2) типичные черты мышления древнего человека. Разумеется, речь будет идти только о структуре языка, так как рассмотрение этих вопросов применительно к лексике языка представляет совершенно особую задачу исследования.

1. К р и т е р и и о п р е д е л е н и я а р х а и ч н о с т и я з ы к о в ы х я в л е н и й. Наиболее надежным признаком архаичности языкового явления может служить его необратимость или неповторяемость в истории развития языков. Поясним это общее положение на некоторых конкретных примерах.

В пермских, как и во многих других уральских языках, существуют так называемые притяжательные суффиксы, например, коми-перм. *вон* «брат», *вон-ыт* «твой брат», *вон-ыс* «его брат». Исторически эти притяжательные суффиксы восходят к указательным местоимениям. Притяжательный суффикс 2-го лица ед. числа *-ыт* содержит тот же самый элемент *т*, что и коми-зыр. местоимение *тайӧ* «этот» (т. е. «находящийся на некотором отдалении от говорящего»). Элемент *-с*, содержащийся в составе притяжательного суффикса *-ыс*, одновременно содержится и в указательном местоимении *сиа* «тот» (т. е. «находящийся на известном расстоянии от говорящего»). Отсюда можно сделать вывод, что так называемые отношения

принадлежности, выражаемые в современных языках притяжательными местоимениями или притяжательными суффиксами, в своем генезисе являются продуктом переосмысления первоначальных пространственных отношений. «Мое» развилось из понятия «то, что находится в моей непосредственной досягаемости», «твое» — «то, что пространственно более от меня удалено», и «его» — «то, что от меня дальше всего». Как бы ни развивалось человеческое мышление и языки, их развитие никогда не дойдет до такого состояния, когда притяжательные отношения будут вновь представляться как отношения пространственные. Для развития человеческого мышления это уже пройденный этап. Поэтому языковые следы этого пройденного этапа должны рассматриваться как архаизмы.

Изучение истории грамматического строя уральских языков показывает, что в протоуральском языке существовало довольно большое количество суффиксов, выражающих различные оттенки многократного и мгновенного действия. Выясняется, что по мере развития уральских языков общее количество суффиксов многократного и мгновенного действия не увеличивается. Это явление скорее деградирует, чем прогрессирует в своем развитии. Прежние значения этих суффиксов во многих случаях уже утратились, различные по своей форме суффиксы приобретают одинаковое значение. Генетически эти суффиксы восходят к суффиксам собирательной множественности предметов, количество которых также сильно сократилось, поскольку некоторые суффиксы собирательной множественности в настоящее время превратились в ряде языков в показатели абстрактной множественности. В мышлении современного человека уже нет достаточной опоры для появления в языке большого количества суффиксов многократного или мгновенного действия, или суффиксов собирательной множественности. Можно предполагать, что в развитии современных языков подобные явления больше не будут повторяться.

В некоторых языках существуют так называемые именны́е классы. Например, в языке суахили класс, характеризующийся префиксом *-m*, означает названия людей, класс с префиксом *-ki* — названия вещей, класс с префиксом *-n* характеризует названия животных, класс с префиксом *-ji* — названия плодов и т. д. Неким подобием классов языка суахили являются роды в индоевропейских языках. Любопытно отметить, что ни классы имен в африканских языках, ни роды в индоевропейских языках не представляют собой развивающиеся категории. В ряде современных языков роды совершенно исчезли. Это свидетельствует о том, что классные деления имен существительных были порождены древними особенностями человеческого мышления, когда большое внимание обращалось на специфические свойства предметов. Можно также предполагать, что в условиях жизни первобытного охотника классное деление имело определенную практическую значимость. Современное, более абстрактное мышление людей, по-видимому, в нем уже не нуждается, так как иными стали принципы классификации предметов, классы перестали быть значимыми в жизненной практике людей.

В глубокой древности от основ личных местоимений в уральских языках формы местных падежей не образовывались, потому что древние люди не могли абстрагировать пространственные отношения от атрибутов человеческого тела. Выражение «во мне», «в тебе» передавалось как «в моей внутренности», «в твоей внутренности» и т. д. В языке эта особенность нашла выражение в виде так называемых послелогов с притяжательными суффиксами, которые иногда неправильно называют послеложно-личными местоимениями. Например: коми-зыр. *вылам* «на мне», *вылад* «на тебе», *вылас* «на нем», венг. *nekem* «мне», *veled* «с тобой», *hozzám* «ко мне», *tőlem* «от меня», *nekünk* «нам», эрзя-морд. *ваксон* «рядом со

мной», *вакссот* «рядом с тобой», луг.-марийск. *воктенем* «рядом со мной».

В связи с развитием абстрактного мышления древний способ заменялся новым. Сначала были созданы гибридные образования. Например, в немецком языке послелоги с притяжательными суффиксами могут сочетаться с личными местоимениями: *мань нядан(и)* «от меня», *пыдар няданд* «от тебя», *пыда нянда* «ему» и т. д.; ср. аналогичное явление в марийском языке: луг.-марийск. *мый денем* «со мной», *мый денет* «с тобой» и т. д. В мордовских языках тоже происходила своеобразная гибридизация старого и нового способов. Здесь возможно образование форм местных падежей от личных местоимений, и к этим формам дополнительно присоединяется притяжательный суффикс: эрзя-морд. *тонь-сэ-ть* «в тебе», *сонь-сэ-нэ* «в нем», *тонь-стэ-ть* «от тебя», *сонь-стэ-нэ* «от него»; мокша-морд. *тонь-цо-т* «в тебе», *сонь-цо-нэ* «в нем», *тонь-цто-т* «от тебя», *тонь-цто-нэ* «от него». В прибалтийско-финских языках этот процесс зашел еще дальше. Например: эст. *minus* или *mis* «во мне», *temas* или *tas* «в нем», ижор. *hänéz* «в нем»; ср. паритив от личного местоимения фин. *minä* «я», *minua* «меня» (первоначально — «от меня» и т. д.).

Вряд ли можно сомневаться в том, что сам факт невозможности образования местных падежей от основ личных местоимений отражает некий древний этап развития мышления, когда оно было менее абстрактным, было связано с большей наглядностью и конкретностью. По мере дальнейшего развития уральских языков это явление не повторяется, а видоизменяется, что, по нашему мнению, свидетельствует о его архаичности.

Характерным для некоторых финно-угорских и тюркских языков является наличие так называемых мимем, или особых наречий, звуко-символически передающих различные особенности глагольного действия. Например, в марийском: *вуж-вуж* — о шуме ветра, *вур-вур* — о шуме колес, *вий-й-й* — о пiske комара, *гож* — о звуках при погрузке песка, *кочыр-р* — о скрипе саней, *лики-луки* — о чем-то, имеющем изгибы, *пуч-* — о движениях неуклюжего человека и т. д.; в удмуртском: *дымбыр-дымбыр* — выражение шума и стука падающего твердого предмета, *жынгыр-жынгыр* — подражание колокольчику; в чувашском: *йал* — о неожиданном и энергичном воспламенении, *йарр* — о падении звезды, *танкар-танкар* — подражание журчанию воды, татар. *шатыр-шотор* — подражание звуку хрустящей травы, *ташырр* — подражание шуму мелких камней, высыпаемых на землю, *лопор-лопор* — подражание шелесту сухих листьев и т. д. Это явление также нельзя назвать перспективным в своем развитии, поскольку новые мимемы не возникают.

Указательные и вопросительные местоимения в различных языках, как правило, возникли раньше относительных. Процесс также необратимый, так как никогда не наблюдалось случаев, чтобы относительные местоимения снова превращались в указательные или вопросительные, совершенно утратив присущее им значение.

Древняя человеческая речь, по-видимому, состояла из простых предложений. Ей был чужд выраженный формальными языковыми средствами гипотаксис, хотя отдельные случаи так называемого логического гипотаксиса в ней, вероятно, были. Склонность к преимущественному употреблению простых предложений и сейчас наблюдается в некоторых речевых стилях, например, в разговорной речи. Все современные более развитые языки выработали довольно сложную систему гипотаксиса. Невозможно предположить, что человечество вновь вернется к эпохе простого предложения. Этот этап пройден. Союзы во всех языках мира являются наиболее поздно возникшей частью речи. Исторически они возникли из указательных или эмфатических частиц, наречий, местоимений и т. п. Процесс этот также необратимый, поскольку союзы не возвращаются.

своему исходному состоянию (т. е. не превращаются вновь в эмфатические частицы, местоимения, наречия и т. п.).

2. Некоторые типичные черты мышления древнего человека. Если стоять на реалистической почве, то при изучении структуры различных языков о характере мышления людей древних эпох можно сказать очень немногое. С совершенной очевидностью выявляется только одно его свойство — оно было менее абстрактным по сравнению с мышлением современных людей. В этом плане само понятие абстрактности требует некоторого пояснения. Способность к абстрагированию была, конечно, свойственна и людям древних эпох. Без этой способности вообще не могло бы быть языка, поскольку каждое слово и каждая грамматическая форма могли возникнуть только на базе абстракции. Можно, однако, предполагать, что людям древних эпох не были свойственны более сложные типы абстрагирования, основанные на отвлечении от

Таблица 1

Ряд объекта	Показатель	
	ед. ч.	мн. ч.
«меня»	<i>m</i>	<i>m</i>
«тебя»	<i>t</i>	<i>t</i>
«его»	<i>s</i>	<i>s</i>

многих и притом разнородных предметов и явлений (ср., например, такие понятия, как «справедливость», «унижение», «неполнота», «неприспособленность», «множество» и т. д.). В сознании первобытного человека наиболее устойчивыми были те типы абстракции, которые базировались на постоянной повторяемости непосредственно ощущаемых предметов и явлений. Изучение истории различных языков с достаточ-

ной убедительностью подтверждает тот факт, что чем дальше мы углубляемся в древность, тем меньше обнаруживается грамматических категорий, представляющих сложные типы абстракций. Так, в истории уральских языков был период, когда форма мн. числа полностью отсутствовала. Реконструкция архаических форм мордовского объектного спряжения позволяет выявить в структуре глагольных форм показатели объекта, которые по числам не различались (см. табл. 1).

Не употребляется показатель мн. числа в косвенных падежах мн. числа так называемого неопределенного склонения в мордовских языках. Например: эрзя-морд. *Весе менелесь вельтязь потмура нельсэ* «Все небо покрылось хмурыми облаками», где слово *нельсэ* «облаками» фактически имеет форму ед. числа.

Можно также предполагать, что и личные глагольные окончания первоначально не различались по числам. На основе диалектных данных коми языка можно предположить, что в пермских языках отрицательный глагол не имел особых форм мн. числа. В верхневычегодском, летском, лузском, среднесысольском, верхнесысольском, нижневычегодском, вымском, ижемском и удорском говорах отрицательный глагол по числам не изменяется: наст. вр. ед. и мн. ч. 1-е л. *-og*, 2-е л. *-on*, 3-е л. *-oz*; прош. вр. ед. и мн. ч. 1-е л. *-eg*, 2-е л. *-en*, 3-е л. *-ez*.

Отсутствие мн. числа в древних уральских языках отражает период менее абстрактного мышления. Такой вывод подтверждается данными языков некоторых народов, стоящих на низкой ступени культурного развития: Л. Леви-Брюль утверждает, что первобытное мышление обладает способом для выражения не просто мн. числа, а различных его видов⁵⁶.

Характеризуя особенности счета у некоторых народов, стоящих на низкой стадии культурного развития, Л. С. Выготский и А. Р. Лурия замечают: «Множество воспринимается первоначально как образ какой-нибудь картины. Образ и количество еще срослись в один комплекс.

⁵⁶ Л. Леви-Брюль, указ. соч., стр. 97.

... Числительное у примитивных народов поэтому всего есть имя, которое обозначает нечто конкретное, это — числовой образ или форма, употребляемая как символ для известного множества»⁵⁷.

Действительно, в уральских языках обнаруживается довольно большое количество реликтов суффиксов собирательной множественности. Можно выделить примерно десять суффиксов собирательной множественности: *-a(-ja)*, *-č*, *-i(-j)*, *-k(-kk)*, *-l*, *-m*, *-n*, *-r*, *-š*, *-t*. Каждый из этих суффиксов, по всей видимости, присоединялся к названию определенного класса предметов⁵⁸. В дальнейшем, когда необходимость в большом количестве суффиксов собирательной множественности исчезла, они были заменены суффиксами абстрактной множественности, которые стали присоединяться к любому имени существительному.

Двойств. число как менее абстрактное и более наглядное в целом ряде языков возникло, по-видимому, значительно раньше абстрактного мн. числа. Показательной в этом отношении является история личных глагольных окончаний 1 и 2-го лиц мн.ч. *-myz(-miz)*, *-syz(-siz)* в тюркских языках, где конечный элемент *-z* по происхождению является, как полагают некоторые исследователи, суффиксом двойств. числа; ср., например: турецк. *omuz* «плечо» (первоначально: «два плеча»), татар. *mөгез* «рог, рога» (первоначально: «два рога»), турецк. *göz* «глаз» (первоначально: «два глаза») и т. д.

Конечный элемент *k* в древних формах личных окончаний 1 и 2-го лиц мн. ч. *-mek* и *-tek* в уральских языках также по происхождению является суффиксом двойств. числа; ср. фин. *jal-k-a* «нога» (первоначально «две ноги») и манс. *яла-нт-ауке* «ходить много раз», где элемент *ял* не имеет форманта *-к-*; фин. *ol-k-a* «плечо» (первоначально «два плеча»), коми-зыр. *ко-к* «нога» (первоначально: «две ноги») и т. д.

Любопытно отметить, что во всех языках новой формации двойств. число уже не образуется, поскольку современное мышление не создает благоприятных условий для существования в языке различных частных вариантов категорий множественности предметов.

Можно с полной уверенностью утверждать, что древние языки не имели большого количества залогов. Возвратный залог, выражающий менее абстрактные отношения, в истории многих языков мира возникает раньше страдательного залога. Категория страдательного залога для языков древних эпох вообще не является типичной. В индоевропейских языках страдательный залог возникает значительно позже медиума.

Установлено, например, что в языке Гомера пассив находился еще в процессе становления. В противоположность более позднему древнегреческому языку, глагольные формы с отчетливым страдательным значением встречаются у Гомера сравнительно редко⁵⁹. Не было особых форм страдательного залога и в уральском языке-основе. К протоуральской эпохе можно отнести только суффиксы, выражающие значение возвратного и побудительного залогов (каузативные глаголы). Эти факты лишней раз подтверждают несостоятельность утверждений Н. Я. Марра и И. И. Мещанинова о первоначальной неосознанности субъектом своего собственного «я» и отождествлении своих действий с действием «тотема», коллектива и т. д.

То же самое следует сказать и в отношении количества наклонений. Наклонений в архаических языках, по-видимому, тоже было немного и

⁵⁷ Л. С. Выготский, А. Р. Лурья, указ. соч., стр. 105.

⁵⁸ См.: Б. А. Серебряников, Существовали ли в протоуральских языках именные классы?, ВЯ, 1969, 3, стр. 16.

⁵⁹ См.: И. А. Перельмутер. Наблюдения над интранзитивными аористами на *-ην*, *-θην* в языке Гомера, «IV конференция по классической филологии [Тбилисского гос. ун-та]. Тезисы докладов», Тбилиси, 1969, стр. 53.

раньше всего выделились наклонения, выражавшие менее абстрактные отношения. Отличительной особенностью протоуральского языка-основы была крайняя скудность наклонений: кроме повелительного и изъявительного существовало некоторое подобие желательного, или возможностного наклонения⁶⁰. Наиболее архаичный индоевропейский язык — хеттский, — не имеет никаких наклонений, кроме изъявительного и повелительного. Раньше всего возникает повелительное наклонение, затем чаще всего появляется оптатив, но ни одному историку языка не удалось пока реконструировать в плоскости праязыка условное наклонение.

По-видимому, слабо была развита в архаических языках категория времени. Видовые оттенки действия как наиболее наглядные имели в древних языках гораздо больший вес, чем в современных языках. Например, в уральских языках, показатели времени по форме совпадают с суффиксами многократного и длительного действия. Древнесемитские языки различали два времени — перфект и имперфект, которые первоначально обозначали законченное и незаконченное действие⁶¹. Глагольные времена в индоевропейских языках сначала выражали не столько время, сколько способ протекания действия⁶². Так называемый имперфект обозначал длительное действие в прошлом, а аорист служил для обозначения действия, протекание которого достигало определенного периода. В индоевропейских языках в системе презенса обнаруживается довольно значительное количество прибавляемых к основе словообразовательных суффиксов, которые первоначально, по-видимому, обозначали различные оттенки протекания действия, ср. лат. *venio*, греч. *βαίω* «иду» (из *g^{um}-jō*), др.-инд. *mṛ-nā-ti* «мелет», греч. *δάρ-υι-μι* «укрошаю», др.-инд. *str-nō-mi* «распространяю», греч. *σφό-υι-μι* и лат. *ster-nō* то же, греч. *κάρ-ω* «утомляюсь», лат. *sper-nō* «отделяю», греч. *γίγ-ω-σκω* «узнаю», др.-инд. *gaččhati* «идет» (из *g^{um}-ske-ti*) и т. д. Уральские языки отличаются наличием довольно большого количества глагольных суффиксов, обозначающих различные оттенки многократного и мгновенного действия. Все эти факты дают основание предполагать, что в мышлении людей древних эпох действие, выражаемое глаголом, оценивалось прежде всего с точки зрения его качества (Actions-art). Подтверждением такого предположения может служить и другой факт: в древних уральских и тюркских языках причастия не имели определенной временной соотнесенности. В зависимости от контекста причастие, характеризуемое определенным суффиксом, могло относиться то к плоскости настоящего, то к плоскости прошедшего времени. Таковы, например, причастия на *-кан(-ган)* или *-ан* в некоторых тюркских языках. Интересны также в этом отношении некоторые образования в тюркских языках, содержащие древний суффикс отглагольного имени *-к*, способные выступать в разных значениях, например: *кесек* «кусочек» от *кес-* «резать» (т. е. первоначально «нечто отрезанное») и *қорқақ* «трусливый» от *қорқ-* «бояться»⁶³ (т. е. «тот, кто постоянно чего-нибудь боится»). Суффикс отглагольных имен *-к* был первоначально суффиксом причастия. Отражением стремления рассматривать глагольное действие со стороны его качества может служить структура глагола в абхазско-адыгских языках. Глагольные формы в языках этого типа представляют собой полисинтетические комплексы. Глагольный корень осложнен довольно большим ко-

⁶⁰ B. Collinder, *Comparative grammar of the Uralic languages*, Uppsala, 1960, стр. 246.

⁶¹ C. Brockelmann, *Semitische Sprachwissenschaft*, Leipzig, 1906, стр. 123.

⁶² H. Krahe, *Indogermanische Sprachwissenschaft*, II—Formenlehre, Berlin, 1959, стр. 51.

⁶³ Э. В. Севортян, Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке, М., 1966, стр. 201, 202.

личеством суффиксов, обозначающих различные частные характеристики глагольного действия. Таков, например, кабард. *y-a-kъы-ды-д-е-з-гъэ-шы-жы-ф-а-тэ-къым* «Я тогда не мог заставить его обратно вывести тебя оттуда вместе с ними»⁶⁴.

Будущее время как более отвлеченное и абстрактное часто возникает значительно позднее по сравнению с настоящим и прошедшим временем. По утверждению индоевропейцев, индоевропейский праязык не имел специальной формы будущего времени; в финно-угорских языках настоящее время может выражать будущее время совершенного вида; в тюркских языках время с показателем *-г* в одних языках имеет значение настоящего, в других значение будущего.

В истории различных языков отмечены случаи, когда формы будущего времени возникают в результате переосмысления форм наклонения, например, в латинском формы будущего времени глаголов III склонения (типа *legam* «я буду читать», *leges* «ты будешь читать») в прошлом были формами конъюнктива. Существует предположение, что формы так называемого *с*-ового будущего времени в древнегреческом языке типа *δειξω* «я покажу», *παιδεύσω* «я буду воспитывать» и т. д. по происхождению являются формами конъюнктива *с*-ового аориста⁶⁵. В алтайском языке существует будущее время с показателем *-гай* (*алгаймын* «я возьму»). Эта же форма представлена в ранних памятниках письменности тюркских языков, где она имеет модальные значения. В то же время в большинстве тюркских языков кыпчакской группы форма на *-гай* имеет значение желательного наклонения, например; кара-калп. *алгайман* «да возьму я, возьму-ка я» или «взять бы мне» и т. д. Последнее значение является, очевидно, более ранним, тогда как значение будущего времени в некоторых тюркских языках возникло на базе первоначального значения желательного наклонения⁶⁶. Древнегрузинский язык не знал того футурума, который в новогрузинском образуется прибавлением преверба (*cers* «пишет», *daçers* «напишет»). В древнегрузинском для выражения футурума используется *conjunctivus praesentis* и *conjunctivus aoristi* *cerdes* «писал бы, напишет», *ceros* «написал бы; напишет»⁶⁷.

Объяснить более позднее происхождение форм будущего времени также трудно, если учесть, что мышление древних людей было более конкретным. Действие, выражаемое формами настоящего времени, может быть непосредственно наблюдаемо, действие плана прошлого может быть лично пережито говорящим, составлять содержание его опыта и т. д., тогда как будущее время предполагает действие планируемое, фактически еще неосуществившееся и нереальное, которое необходимо представить абстрактно. Так называемые релятивные времена типа плюсквамперфекта и времена типа перфекта в основном возникают позднее, чем формы настоящего или простого прошедшего времени.

Ярким примером большей конкретности мышления людей древних эпох является относительно позднее возникновение форм инфинитива в языках самых различных семей. Древний человек мог представить себе действие в его конкретном осуществлении. Гораздо труднее представить

⁶⁴ М. А. К у м а х о в, Типологическая характеристика слова в полисинтетических языках западного Кавказа, сб. «Лингвистическая типология и восточные языки», М., 1965, стр. 161.

⁶⁵ Н. К г а ъ е, указ. соч., стр. 85.

⁶⁶ См. об этом: Н. З. Г а д ж и е в а, Соотношение категорий времени и наклонения в тюркских языках, «Кр. сообщения Ин-та народов Азии [АН СССР]», 83, М., 1964, стр. 78.

⁶⁷ См.: С. Г. К а у х ч и ш в и л и, Греческо-грузинские и латино-грузинские грамматические параллели, «IV конференция по классической филологии. Тезисы докладов», стр. 33.

действие вообще вне времени и пространства — в этом не было практической необходимости. Чаще всего инфинитивы — это застывшие формы местных падежей, образованные от отглагольных имен существительных.

Широко известны факты развития временных отношений на базе первоначальных локативных отношений. Ряд фактов свидетельствует о том, что некоторые субъектно-объектные падежи, например, род., дат. и вин., развились на базе первоначальных локативных падежей. Есть основания предполагать, что род. падеж в уральских языках первоначально имел значение комитатива или совместного падежа (так, «дочь брата» первоначально имело значение «брат с дочерью»). Суффикс род. падежа ед. числа в индоевропейских языках по форме совпадал с суффиксом отложительного падежа или аблатива. Дат. падеж в тюркских языках имеет одновременно значение направительного падежа; индоевропейский вин. падеж, характеризующийся суффиксом *-m*, также, по-видимому, имел значение направительного падежа, ср. также реликты употребления его в старом значении, как лат. *Romam ire* «идти в Рим» или др.-инд. *gramam gaśchati* «идет в деревню».

На основании всего изложенного, конечно, нельзя сделать вывод, будто бы развитие мышления сопровождается превращением всего конкретного в абстрактное. Конкретность в одинаковой степени присуща как архаическому, так и современному мышлению. Мало того, современное мышление во многих отношениях даже более конкретно в своей детализованности, поскольку развитие науки и техники дает возможность людям знать гораздо больше о предметах и явлениях природы, чем знали их предки. Когда мы говорим о большей конкретности мышления первобытного человека, речь может идти только об отсутствии у него абстракций более высокого типа.

Если видовые различия в языках в основном предшествуют временным, то это еще не означает, что в системе глагола каждого языка должны обязательно обнаруживаться многочисленные суффиксы, имеющие значение вида (Actionsart). Тюркские языки, например, отличаются необычайной скудностью видовых суффиксов. Если уральские языки имели в прошлом большое количество суффиксов собирательной множественности, что отражает особенности более конкретного мышления древнего человека, то в индоевропейских языках суффиксов подобного рода было очень мало. Классное деление имен существительных является наиболее типичным примером, характеризующим мышление людей древних эпох. Однако в таких языках, как тюркские и монгольские, классного деления имен существительных, по-видимому, никогда не было. Инфинитивы возникли в языках относительно поздно, однако развитие романских и новогреческого языков свидетельствует о резком сокращении числа инфинитивов. В румынском и новогреческом языках инфинитив исчез полностью. Предлоги и послелоги первоначально возникли на базе знаменательных слов с конкретным значением, которое со временем частично, а в большинстве случаев полностью, утратилось. Однако превращение конкретных слов в послелоги может происходить и в более поздние эпохи, ср. бенг. *nagar madhye* «в городе» (буквально: «в середине города») и т. д. Если притяжательные отношения возникли в ряде языков на базе переосмысления пространственных отношений, то это вовсе не значит, что этот путь развития является единственным. Притяжательные отношения могли развиваться и другими путями.

О соответствиях языковых структур особенностям человеческого мышления можно говорить лишь как о результатах проявления известных тенденций, осуществление которых отнюдь не носит характера непреложных законов. Типическое состояние, которое мы называем состоянием ме-

нее абстрактного мышления, сменяется состоянием более абстрактного мышления, которое, естественно, находит отражение и в структуре языков. Ни о каких точных границах, отделяющих одно состояние развития мышления от другого, говорить не приходится. Их вообще установить невозможно.

Конкретный характер мышления человека древних эпох объясняется прежде всего тем, что оно возникло и развивалось в конкретных ситуациях: человек научился мыслить, ориентируясь в конкретной ситуации. Сначала он ориентировался в ней, повинаясь слепым силам биологических инстинктов, потом он начал ориентироваться в ней при помощи мышления. Не удивительно поэтому, что в его мышлении на первых порах главную роль играло конкретное, непосредственно наблюдаемое и ощущаемое.

Отрыв мышления от ориентировки в конкретной ситуации имел своим следствием возрастающую его абстрактность, что не могло не отразиться и на языке.

Развитие мышления — это медленный и сложный процесс превращения более простого в сложное, движение от конкретного к более абстрактному. Отражение этого процесса в структуре языка прокладывает путь через массу препятствий, вызываемых действием множества перекрывающихся и нередко противоречивых тенденций, которыми обычно характеризуется развитие структуры языка. Осложняющим моментом в данном случае является действие различных внешняязыковых факторов.

Вместе с развитием мышления развивается и его содержательная сторона, а также основные формы — понятие, суждение и умозаключение. Развитие понятий отражается главным образом в лексике языка. Что же касается развития таких форм, как суждение и умозаключение, то его отражение можно наблюдать в синтаксисе: для языков древних эпох, по-видимому, был характерен известный атомизм в выражении суждения. Древней человеческой речи, по-видимому, было совершенно чуждо такое явление, которое носит название гипотаксиса. Речь в древности состояла главным образом из простых, формально ничем не связанных предложений. Если между такими предложениями наличествовала смысловая связь, то она выражалась чисто логически при сохранении способа простого примыкания. Этим можно объяснить относительно позднее возникновение в языках союзов и относительных местоимений. Развитие мышления потребовало более четкого языкового выражения логических связей между отдельными суждениями, благодаря чему создается целая система связующих средств, появляются системы сложных предложений и их аналогов, усложняется выражение второстепенных членов предложения за счет развития систем различных определений и т. д. Эти процессы имеют характер более выдержанных линий и проявляются во всех языках без исключения, в особенности в языках, имеющих письменность.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

АРН. ЧИКОБАВА

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ КАРТВЕЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ
К ИНДОЕВРОПЕЙСКИМ И СЕВЕРОКАВКАЗСКИМ ЯЗЫКАМ

В докладе Научного совета по теории советского языкознания за 1966 г. между прочим, сказано: «... в трудной области сравнительного изучения кавказских языков — как горских северокавказских, так и картвельских — следует отметить интенсивную и плодотворную работу, ведущуюся в Тбилиси и в Москве. В особенности исследования Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани о системе сонантов и аблаута в картвельских языках увенчались научным открытием большого масштаба, имеющим важное значение как для лингвистической теории вообще, так и для истории других (в частности, индоевропейских) языков»¹.

К сожалению, — возможно, из-за недостатка места, — ничего не сказано, в чем, собственно, состоит важное значение данного труда для лингвистической теории, вообще, и, в частности, для индоевропейских языков.

Что же касается значения данного исследования для «истории других языков», конкретно, для истории картвельских и горских иберийско-кавказских (северокавказских) языков, это заслуживает рассмотрения, несмотря на то, что уже опубликованы три рецензии²: в этих рецензиях основной вопрос остался вне поля зрения их авторов.

Монографическое исследование Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани «Система сонантов и аблаут в картвельских языках» (Тбилиси, 1965; на груз. яз.; сокращенное изложение основного текста на русск. яз. стр. 384—474) — работа исключительно интересная и по выводам, и по принципиальным установкам и опорным общелингвистическим понятиям, далее — с точки зрения толкования таких понятий, как общекартвельский язык, историческое взаимоотношение картвельских языков, задачи реконструкции.

Однако всесторонняя оценка этой монографии требует подробного анализа как содержащихся в ней конкретных положений, касающихся истории картвельских языков, так и опорных общелингвистических понятий; затем, общих выводов, которые даны в труде, а также направления, в котором мыслится дальнейшее исследование картвельских языков. Такой подробный анализ может быть дан лишь в специальном кавказоведческом органе. Здесь остановимся на основном выводе работы и лишь кратко коснемся конкретных положений.

Основной вывод монографии «Система сонантов и аблаут в картвельских языках» сформулирован в следующих двух положениях: «Можно

¹ В. М. Жирмунский, О теории советского языкознания, ИАН ОЛЯ, 1967, 1, стр. 19.

² Рецензии Г. А. Климова (ВЯ, 1966, 4), В. М. Иллича-Свитыча (ВЯ, 1966, 4), Х. Фухта (ВЯ, 1966, 6).

утверждать, что общекартвельская морфонологическая система изоморфна индоевропейской морфонологической системе (в интерпретации Бенвениста)» (разрядка наша. — А. Ч.)³. «Изоморфизм, выявленный между индоевропейской и картвельской морфонологическими системами, ставит целый ряд новых вопросов об отношении картвельских языков к языкам индоевропейским. Отнесение картвельского и индоевропейского языков к общему типологическому классу дает основание рассматривать эти языки, как члены некоего общего языкового союза в рамках евразийской группы языков (в смысле Р. Якобсона)» (разрядка наша. — А. Ч.)⁴.

*

Прежде всего несколько слов для уяснения характера понятий: «индоевропейские языки», «союз языков».

«Индоевропейские языки» («картвельские языки») — понятие историко-генетического характера: под ним подразумеваются родственные языки. Однако существует и иное понимание: индоевропейские языки рассматриваются, как языки, объединяемые комплексом структурных признаков (Н. Трубецкой)⁵. Их всего шесть (два положительных, четыре — в негативной формулировке); шесть этих структурных признаков, по мнению Н. Трубецкого, достаточны для того, чтобы язык — независимо от его происхождения — был признан индоевропейским.

Какое из этих двух пониманий имеется в виду в рассматриваемой монографии? Естественно было бы предполагать, что именно структурная интерпретация индоевропейских языков (Н. Трубецкого): она соответствует принципиальным установкам монографии. Оказывается, что нет: родственные языки, — пишут авторы, — это языки «рассматриваемые, как продукт преобразования общего языкового состояния»⁶. Несмотря на неясность выражения («общее языковое состояние») генетический момент признается исходным.

Если это так, было бы последовательным применять понятие «союза языков» не в интерпретации Р. Якобсона, а в начальном понимании данного термина у раннего Н. Трубецкого (1930) и некоторых авторов: именно это понимание может связываться с пониманием родства языков по происхождению (в «союз языков» объединяли языки, родство которых, несмотря на наличие общих черт, не доказано, стоит под вопросом)⁷. Иное дело, когда «союз языков» включает языки, исходя из общности определенных черт независимо от того, каким путем эти общие черты образовались (в результате ли контактов или совершенно независимо, как порождение общих принципов развития).

При таком понимании «союза языков» связь с историей в принципе отпадает. Поиски универсалий оказываются логически неизбежными⁸.

³ Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани, Система сонантов..., стр. 474.

⁴ Там же.

⁵ Н. С. Трубецкой, Мысли об индоевропейской проблеме, ВЯ, 1958, 1. См.: А. р. Чикобава, История изучения иберийско-кавказских языков, Тбилиси, 1965, стр. 394—395 (на груз. яз.).

⁶ Т. В. Гамкрелидзе, Г. И. Мачавариани, указ. соч., стр. 474.

⁷ Объединять в «союз языков» языки, история общих черт которых не установлена, — значит историческое истолкование замещать статическим понятием. О «союзе языков» в понимании Деетерса см.: А. р. Чикобава, Общее языкознание. II. Основные проблемы, Тбилиси, 1945, § 102, стр. 228—230 (на груз. яз.).

⁸ Историческая лингвистика фиксировала внимание на отдельном, частном, пытаясь в дальнейшем индуктивным путем выявить общее. Философская (всеобщая) грам-

Трактовка таких понятий, как «индоевропейские языки» в плане историко-генетическом более естественно сочетается с понятием «союза языков» в первом понимании. Но это опять-таки вопрос последовательности.

*

Теперь об основном выводе исследования: картвельские языки и индоевропейские объединяются в один типологический класс. Раз нет языка, который не имел бы чего-то общего с другими языками, принципиальные возможности объединения языков (в общий типологический класс, в «союз языков») оказываются неограниченными.

Весь вопрос в том, какие признаки будут использованы как основание (для объединения языков в общий типологический класс) и насколько эти признаки являются существенными для систем соответствующих языков.

В нашем конкретном случае картвельские языки включены в один типологический класс с индоевропейскими языками на основании изоморфизма («мономорфизма») по определенным явлениям (сонанты, их дистрибутивные свойства, аблаут основ).

Допустим, что изоморфизм этот установлен бесспорно. Является ли это достаточным основанием для включения картвельских языков в один типологический класс с индоевропейскими языками? Каков удельный вес общих типологических черт и каков масштаб расхождений между картвельскими и индоевропейскими языками?

1. Выявленный изоморфизм, если даже считать его бесспорным, не дает оснований включать картвельские языки в один типологический класс с индоевропейскими языками: по ряду основных моментов между ними нет никакого изоморфизма, а, наоборот, выявляются коренные расхождения.

Имеются в виду следующие структурно-типологические черты картвельских языков: а) консонантизм, его состав (наличие троичной системы согласных), сочетание согласных; б) агглютинативный принцип строения слова: каждое грамматическое значение; выражается отдельным формантом; каждый формант имеет лишь одно значение; этим определяется весь строй морфологии картвельских языков (это давало иногда повод сближать картвельские и вообще кавказские языки с алтайскими языками); в) ведущая роль префиксации; д) использование одних и тех же аффиксов как в именных, так и глагольных основах; е) принципиальная невозможность аккумулятива («прямого объекта»); ф) наличие эргатива; г) полиперсонализм (субъектно-объектное спряжение) глагола; h) эргативная конструкция предложения (наличие двух падежей субъекта — именительного и эргативного).

Таков неполный перечень явлений на различных уровнях системы картвельских языков, по которым картвельские языки коренным образом расходятся с индоевропейскими. Закрывать глаза на эти расхождения —

матика (XVIII в.) начинала с общего, аргументируя его необходимость общими категориями мысли (логическими категориями): логика («искусство мыслить», «l'art de penser»), как основа грамматики («искусство говорить», «l'art de parler»). См.: *Grammaire générale et raisonnée, contenant Les fondemens de l'art de parler..., Les raisons de ce qui est commun à toutes les langues...*, IV-ème éd., Paris, 1780, 1 éd. — 1660). При этом, естественно, отдельное, отличное, порой очень важное, оставалось вне внимания. Современная синхронная лингвистика с поисками универсалий объективно представляет собой возврат к принципиальным установкам философской грамматики.

значит не считаться с существенными особенностями⁹ картвельских языков в плане именно структурно-типологическом.

2. Если бы в исследовании «Система сонантов и аблаут в картвельских языках» существенные структурно-типологические особенности картвельских языков были бы учтены, с внутренней необходимостью встал бы вопрос о схождениях картвельских языков не с индоевропейскими, а с северокавказскими языками (абхазско-адыгской, нахской и дагестанской группы).

Быть может, эти структурные взаимоотношения трудно было установить? Эти структурные схождения устанавливать не приходится: они установлены, по крайней мере главные, еще Фр. Мюллером (в 1885 г.)¹⁰; уточнены и дополнены позднее (в 1935 г.) И. Мещаниновым¹¹.

Кавказские языки были выделены вначале по негативному признаку: кавказские языки — это неиндоевропейские, неурало-алтайские, несемитские языки Кавказа (Фр. Мюллер, 1864 г.).

В дальнейшем были выделены их типологические черты: была дана позитивная типологическая характеристика (в 1885 г.).

Характеристика эта нуждается в дополнениях и уточнениях, но даже в данном виде она дает несравненно больше оснований для включения картвельских языков «в один типологический класс» с северокавказскими языками, чем те признаки, по которым картвельские языки оказались включенными «в один типологический класс» с языками индоевропейскими. Так почему же игнорируются взаимоотношения с северокавказскими языками и фиксируется внимание на связь с индоевропейскими?

Быть может, ставить вопрос о северокавказских языках было выше возможностей авторов монографии? Думаем, что нет. Обращает на себя внимание одно обстоятельство. Монография Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани «Система сонантов и аблаут в картвельских языках» вышла, как сказано, в 1965 г. Примерно через полгода в журнале «Вопросы языкознания» опубликована статья одного из авторов монографии Г. И. Мачавариани «К типологической характеристике общекартвельского языкоосновы»¹². «В настоящей работе, — пишет Г. И. Мачавариани, — делается попытка охарактеризовать в общих чертах фонологическую и грамматическую системы общекартвельского языка-основы и путем сопоставления этих систем с соответствующими системами индоев-

⁹ Н. Трубецкой, давая структурное определение индоевропейских языков, выделил два признака (из шести), по которым индоевропейские языки противопостоят кавказским: чередование согласных в роли формантов; подлежащее переходного и непереходного глагола не ставится в различных падежах. Оба признака отличают индоевропейские языки не только от северокавказских, но и от картвельских (Н. Трубецкой, Мысли об индоевропейской проблеме).

¹⁰ F. r. M ü l l e r, Grundriss der Sprachwissenschaft, III, II Abth., 1 Hälfte, стр. 48. Фр. Мюллер выделил 8 черт: 1) бедность гласными и богатство согласными; 2) стечение согласных; 3) принцип агглютинации; 4) богатство как именными, так и глагольными формами; 5) префиксация, наряду с суффиксацией: глагол и имя строго различаются; 6) различение категорий живого и неживого, разумного и неразумного, мужского и женского родов в северокавказских языках; 7) обозначение объекта в глаголе, подобно баскскому; 8) двадцатичетверная система счета (за исключением лакского, арчбаскского и даргинского) (стр. 48).

¹¹ И. И. Мещанинов, Проблема классификации языков в свете нового учения о языке, Л., 1934, стр. 38. У Мещанинова приводится 12 признаков; из них 11 типологических.

¹² Основной текст статьи Г. И. Мачавариани имелся еще в 1964 г.; статья эта, как говорит автор в начале статьи, является расширенным вариантом доклада «К вопросу об индоевропейско-картвельских (южнокавказских) типологических параллелях» на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук (см.: ВЯ, 1966, 1, стр. 3).

ропейских и горских иберийско-кавказских (северокавказских) языков, выявить структурно-типологические параллели и различия между картвельскими языками и языками двух указанных групп» (разрядка наша.— А. Ч.)¹³. Итак, горские иберийско-кавказские языки привлекаются к структурно-типологическому анализу. К каким же выводам приходит автор? В части, касающейся взаимоотношений с индоевропейскими языками, в основном к тем же, что и в монографии «Система сонантов.»; он пишет: «... бросаются в глаза разительные совпадения между общекартвельской структурной моделью и моделью индоевропейского языка — основы позднего периода» (разрядка наша.— А. Ч.)¹⁴ (наличны три основных класса фонем: гласные, сонанты, согласные); в основном одинаковые принципы строя корневых и суффиксальных морфем, причем правила сочетания корневой морфемы с суффиксальными, установленные Э. Бенвенистом для индоевропейского, почти полностью приложимы и к общекартвельскому; все виды общекартвельского аблаута (кроме чередования *e : i*) находят ближайшие параллели в индоевропейской системе чередования гласных. «Однако аблаут, — замечает Г. И. Мачавариани, — в общекартвельском несет относительно меньшую функциональную нагрузку, чем в индоевропейском»¹⁵.

Но схождениями с индоевропейскими языками вовсе не исключается структурно-типологическая близость общекартвельского языка к северокавказским языкам: «С другой стороны, — пишет Г. И. Мачавариани, — обнаруживаются многочисленные и глубокие структурно-типологические схождения между общекартвельским и северокавказскими языками» (разрядка наша.— А. Ч.)¹⁶. Автор называет ряд явлений, на которые и раньше обращалось внимание исследователей. Конкретно:

1. «Богатый и сложный общекартвельский консонантизм носит явно „кавказский“ характер, причем по составу фонем общекартвельская консонантная система тяготеет скорее к нахскому, а отчасти — к абхазско-адыгскому, чем к дагестанскому типу. Гармоничные группы согласных, столь характерные для общекартвельского, тоже находят параллели именно в нахских и абхазско-адыгских языках»¹⁷.

2. «Общекартвельское склонение, характеризующееся наличием эргативного падежа и отсутствием аккузатива, также относится к иберийско-кавказскому лингвистическому типу»¹⁸. «Для более раннего периода можно постулировать простейшую двухпадежную деклинационную модель адыгского типа, включающую прямой и косвенный падежи»¹⁹.

3. «Широкое применение префиксации является одной из наиболее ярких черт общекартвельского языка-основы, сближающих этот язык с северокавказскими языками, в первую очередь с абхазско-адыгскими. В этом отношении особенно примечательны глагольный полиперсонализм и наличие „версионных показателей“»²⁰.

4. «Картину картвельско-северокавказских языковых параллелей дополняет наличие эргативной конструкции в общекартвельском, как во всех северокавказских языках». При этом делается оговорка: «В презент-

¹³ Там же.

¹⁴ Там же, стр. 7.

¹⁵ Там же, стр. 8.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Следуют ссылки на работы Н. Холмера, Арн. Чиковава, А. Sommerfeldt, А. Койперса.

¹⁸ Ссылки автором не даны, возможно, потому, что это положение общеизвестно.

¹⁹ Г. Мачавариани, указ. соч., стр. 8.

²⁰ Там же. Делается ссылка на работы К. В. Ломтатидзе, Г. В. Рогава.

ной группе времен переходный глагол образует номинативную конструкцию, как в индоевропейских и многих других языках»²¹.

На наш взгляд, этим не исчерпываются структурно-типологические схождения между картвельскими и горскими иберийско-кавказскими языками. Категория грамматических классов, одна из основных морфологических категорий горских иберийско-кавказских языков, была налична и в картвельских языках, как то прослеживается в составе именных, и глагольных морфем; как семантическая категория она продуктивна и теперь; во всех картвельских языках вопрос «кто?» относится лишь к человеку, к личности; животные и все остальное — «что?». Налицо семантическая категория «личности» и «вещи». Соответственно, в спряжении грузинского глагола прослеживаются форманты грамматических классов: личное спряжение картвельских языков восходит к классному, что до сих пор представлено ясно в абхазском, нахском и дагестанских языках. Можно было отметить общие структурные моменты и в составе элементарных морфем. Но здесь не это важно; важно другое. Перечисленные в статье Г. И. Мачавариани структурно-типологические схождения картвельских языков с северокавказскими языками общеизвестны и не являются спорными.

Каковы же выводы автора статьи? Г. И. Мачавариани пишет: «...лингвистический тип общекартвельского языка-основы позднего периода можно определить как переходный от кавказского (преимущественно западнокавказского) к индоевропейскому» (разрядка наша. — А. Ч.)²². «Чем объяснить такой двойственный „кавказско-индоевропейский“ характер картвельского лингвистического типа?» — спрашивает автор статьи и отвечает: «Структурно-типологические черты, сближающие картвельские языки с северокавказскими, несомненно, восходят к глубокой древности, в то время как индоевропейские черты общекартвельского лингвистического типа относятся к более позднему хронологическому пласту»²³. В примечании к этому положению сказано: «Возникновение аблаута, по-видимому, явилось результатом фонологизации фонетически обусловленных альтернатив гласных. В свою очередь выделение сонантов в качестве особого, промежуточного между гласными и согласными класса фонем было связано с возникновением чередования гласных: слоговые аллофоны сонантов могли появиться только на нулевой степени огласовки морфем»²⁴.

Итак, аблаут вторичен: чередование гласных в картвельском языке поначалу представляло фонетический процесс; морфологизация — результат реинтерпретации фонетического процесса; сонанты же в свою очередь обусловлены наличием аблаута. Тем самым сказано, что на уровне

²¹ Там же. Номинативная конструкция при переходных глаголах, как выяснено в литературе, в истории грузинского языка явление вторичное: эргативная конструкция имела при переходных глаголах в обоих сериях конъюгационных основ (номинативная же — при непереходных глаголах). Таким образом, ареалы использования эргативной конструкции в картвельских и горских иберийско-кавказских языках совпадали; расхождение здесь вторично. См.: А р н. Ч и к о б а в а, Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках, I, «К вопросу об историческом взаимоотношении эргативной и номинативной конструкций по данным древне-грузинского языка», Тбилиси, 1948; см. также А р н. Ч и к о б а в а, Историческое взаимоотношение номинативной и эргативной конструкций по данным древнегрузинского языка», ИАН ОЛЯ, 3, 1948.

²² Г. М а ч а в а р и а н и, указ. соч., стр. 9.

²³ Там же.

²⁴ Там же, примеч. 29.

общекартвельского языка-основы ни аблаут, ни сонанты не могли быть характерными.

Отнеся структурно-типологические схождения между картвельскими и северокавказскими языками к глубокой древности, а черты, общие картвельским и индоевропейским языкам «к более позднему хронологическому пласту» (разрядка наша. — А. Ч.), Г. И. Мачавариани заключает:

«Исходя из этого, можно допустить, что существование кавказского структурно-типологического слоя в общекартвельском языке-основе есть проявление предполагаемого исконного генетического родства картвельских языков с северокавказскими языками. На этот древнейший кавказский структурно-типологический слой постепенно накладывались черты, сближающие общекартвельский лингвистический тип с индоевропейским» (разрядка наша. — А. Ч.)²⁵.

Для решения вопроса об «исконном генетическом родстве картвельских языков с северокавказскими» языками, на наш взгляд, недостаточно структурно-типологических схождений (необходима материальная общность морфем — корневых и формальных; кстати, такая общность прослеживается). Структурно-типологические схождения, когда они выявляются в ряде существенных моментов (т. е. когда они не носят случайного характера), дают основание лишь ставить вопрос о родстве.

В выводе, к которому приходит Г. И. Мачавариани, обращает на себя внимание положение, согласно которому структурно-типологические схождения между картвельскими и северокавказскими языками «всходят к глубокой древности» (т. е. не являются результатом контакта и взаимного влияния данных языков).

Этот вывод вполне согласуется с основным положением иберийско-кавказского языкознания: общее в картвельских и горских иберийско-кавказских языках первоначально, расхождения же вторичны; и, если, — говоря словами П. Услара, — кавказские языки «при изумительном разнообразии» обнаруживают «глубоко родственные черты», то именно эти родственные черты характеризуют древнее состояние²⁶.

Что же касается структурно-типологических схождений картвельских языков с индоевропейскими (с семитическими, угро-финскими, тюркскими языками), они, на наш взгляд, вообще не исключаются; более того, в прошлом делались попытки доказать даже родство картвельских языков с индоевропейскими, с семитическими (см. ниже); сближали их и с урало-алтайскими языками.

*

Как мы видели, Г. И. Мачавариани выделяет в картвельских языках структурно-типологические схождения как с индоевропейскими, так и с северокавказскими языками. Различны эти схождения как по удельному весу, так и по хронологической ступени: схождения с индоевропейскими языками незначительны, к тому же вторичны (аблаут, сонанты);

²⁵ Там же, стр. 9. Далее автор говорит, что общие с индоевропейскими языками черты могли возникнуть «...в условиях тесного и длительного контакта между племенами, говорившими на картвельских и древних индоевропейских диалектах еще до разделения общекартвельского языка-основы на самостоятельные языки» (там же).

²⁶ А. С. Чикобава, Иберийско-кавказское языкознание, его общелингвистические установки и основные достижения, ИАН ОЛЯ, 1958, 2, стр. 128—129; А. Г. Тсхикобава, Die ibero-kaukasische Gebirgssprachen und der heutige Stand ihrer Erforschung in Georgien, «Acta orientalia Hung.», IX, 2, 1959, стр. 166—161.

схождения же с северокавказскими языками несравненно более существенны, обнаруживаются на всех уровнях языка (фонологическом, морфологическом, синтаксическом), «восходят к глубокой древности», могут быть даже рассматриваемы как «проявление предполагаемого исконного генетического родства» картвельских языков с северокавказскими.

В монографии «Система сонантов и аблаут в картвельских языках» картвельские языки (на уровне общекартвельском!) включены вместе с индоевропейскими языками в общий типологический класс, а о северокавказских языках, их структурно-типологических схождениях с картвельскими языками, вопрос не ставится.

В том же 1966 г. (одновременно с опубликованием статьи Г. И. Мачавариани «К типологической характеристике общекартвельского языка-основы») в журнале Американского Лингвистического общества («Language») напечатана статья другого автора монографии Т. В. Гамкрелидзе «Типология общекартвельского»²⁷.

Как указывает автор, в статье представлены «существенные» выводы теории, изложенной в книге Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани «Система сонантов и аблаут в картвельских языках».

Статья дает краткое изложение положений, которые находим в русском тексте монографии. О северокавказских языках и здесь ничего не сказано.

В 1967 г. в сборнике «Проблемы языкознания», изданном Институтом языкознания АН СССР и посвященном X Лингвистическому конгрессу в Бухаресте, помещена статья Т. В. Гамкрелидзе на ту же тему²⁸. Проблема взаимоотношений с северокавказскими языками и здесь обойдена молчанием: рассматривается вопрос лишь о взаимоотношении картвельских языков с индоевропейскими.

По структурно-типологическим моментам картвельские языки ближе всего стоят к горским иберийско-кавказским (северокавказским) языкам: к абхазско-адыгским, нахским, дагестанским. Если объединять картвельские языки по структурно-типологическим признакам с какой-либо группой языков, то естественно объединять их прежде всего с северокавказскими языками²⁹ (далее — из живых языков — с семитическими, но не с индоевропейскими).

Слов нет, по структурно-типологическим признакам можно сравнивать любые языки; так, например, по такому структурному признаку, как система грамматических классов, чеченский язык сравнивали с языками банту (Кавказ — Африка), абхазский язык — с языком оregonской группы североамериканских индейцев, кавказские языки — с дравидскими и т. д. Для изучения истории сравниваемых языков такие сопоставления, разумеется, не имеют никакого значения; да и в плане структурно-типологическом сопоставление (и схождение) по отдельным, выхваченным из системы языка, признакам немногого стоит для характеристики взаимоотношения сопоставляемых языков.

*

Мы подробно остановились на вопросе о структурно-типологических схождениях между различными языками, чтобы элиминировать неясно-

²⁷ Т. В. Гамкрелидзе, A typology of Common Kartvelian, «Language», 42, 1, 1966.

²⁸ Т. В. Гамкрелидзе, Картвельский и индоевропейский: типология реконструированных систем, сб. «Проблемы языкознания», 1967.

²⁹ С учетом уже теперь имеющих данных истории картвельские языки связаны с северокавказскими и генетически.

сти, которыми так изобилует современная общая лингвистика, а из специальных отраслей — изучение иберийско-кавказских языков. Это — во-первых. Кроме того, попытка включить картвельские языки в один типологический класс с индоевропейскими дает повод для весьма своеобразных высказываний. Вот что пишет, например, Г. Ахвледiani:

«Наука идет вперед, зачастую опровергая самую себя. И мы не вправе „обижаться“ на прогресс. Достижения ждут нас только на этом пути. В свое время, например, у нас была выдвинута концепция родства грузинского языка с кавказскими. Этот, как можно понять, важный поворот в картвелологии привлек пристальное внимание научной общественности. Но нашлись новые методы исследования и ученые не побоялись подвергнуть имеющуюся концепцию пересмотру. Я имею в виду высокоталантливую работу Т. Гамкрелидзе и недавно скончавшегося Г. Мачавариани „Система сонантов и аблаут в картвельских языках“, в которой с помощью метода структурального языкознания полностью опровергается концепция родства грузинского языка с кавказскими и совершенно по-новому освещается проблема общекартвельского языка-основы. Авторы убедительно доказали близость [картвельского] языка-основы к семье индоевропейских языков. Книга Т. Гамкрелидзе и Г. Мачавариани обошла весь мир, вызвала единодушное одобрение видных зарубежных картвелологов и кавказологов»³⁰.

Если верить Г. Ахвледiani, «концепция родства грузинского языка с кавказскими» держалась до тех пор, пока «не нашлись новые методы исследования и ученые не побоялись подвергнуть имеющуюся концепцию пересмотру»; а вот «с помощью метода структурального языкознания полностью опровергается концепция родства грузинского языка с кавказскими и совершенно по-новому освещается проблема близости грузинского языка с индоевропейскими»: доказана близость общекартвельского языка-основы к семье индоевропейских языков.

Книга «Система сонантов...» вышла в 1965 г. Два года спустя, в 1967 г. в Москве опубликован сборник «Иберийско-кавказские языки», здесь во вводной статье Е. А. Бокарева и Г. А. Климова говорится: «Большинство кавказоведов предполагает исконное генетическое родство между всеми ветвями кавказских языков»³¹; родство предполагает, а не опровергает (как пишет Г. Ахвледiani).

Не только «большинство кавказоведов», но и один из авторов монографии, Г. И. Мачавариани вовсе не исключает родства картвельских языков с северокавказскими: «Структурно-типологические черты, сближающие картвельские языки с северокавказскими, несомненно, восходят к глубокой древности, в то время как индоевропейские черты общекартвельского лингвистического типа относятся к более позднему хронологическому пласту. Исходя из этого, можно допустить, что существование кавказского структурно-типологического слоя в общекартвельском языке-основе есть проявление предполагаемого исконного генетического родства картвельских языков с северокавказскими языками»³².

Вот как «опровергает» один из авторов монографии, на которую ссылается Г. Ахвледiani, «концепцию родства грузинского языка с северокавказскими!» Статья Г. И. Мачавариани появилась в 1966 г., т. е. после

³⁰ Г. Ахвледiani, Начало дороги в мир..., «Литературная Грузия», 1968, 11 (ноябрь), стр. 14.

³¹ «Языки народов СССР», IV — «Иберийско-кавказские языки», М., 1967, стр. 7.

³² Г. И. Мачавариани, К типологической характеристике общекартвельского языка-основы, стр. 9.

опубликования монографии «Система сонантов»..., которую будто бы полностью опровергается «концепция родства грузинского с северокавказскими».

Да и в самой монографии, где картвельский и индоевропейский включаются «в общий типологический класс», отмечается: «Типологическая классификация языков не предполагает необходимость каких-либо исторических связей между языками одного и того же класса. Структурное сходство (вплоть до изоморфизма) может быть обнаружено не только между родственными языками, ... но и между языками неродственными»³³.

Структурное сходство не может ни доказать родство языков, ни опровергнуть его. Наличие структурного сходства по основным звеньям системы языков может лишь возбудить вопрос о родстве их.

В том же духе, как и Г. С. Ахвледиани, высказывается и Г. А. Климов: «Традиционная картвелистика не допускала возможности исконного родства картвельских и индоевропейских языков»³⁴; а вот ностратическая гипотеза позволила «отдельным картвелистам более оптимистично смотреть на возможность генетических связей между картвельскими и во всяком случае индоевропейскими языками»³⁵. Г. А. Климов разделяет этот оптимизм. Нет этого оптимизма у него лишь в вопросе о родстве картвельских языков с северокавказскими («...гипотеза внутреннего родства кавказских языков существенно отстаёт... от некоторых других построений, имеющих дело со сравнением языков, отдаленное родство которых гипотетично»³⁶). Словом, для Г. А. Климова менее вероятно родство картвельских языков с северокавказскими, чем картвельских языков с индоевропейскими.

Следует отметить, что Г. А. Климов, ссылаясь на мнение Г. И. Мачавариани, обходит молчанием его тезис относительно глубоких структурно-типологических схождения картвельских языков с северо-кавказскими языками.

*

Теперь коротко о «сонантах и аблауте» в картвельских языках. Морфология картвельских языков основана на принципе агглютинации: отдельная функция — отдельный формант. Морфологические функции аблаута в картвельских языках не могут не быть вторичными (результат морфологизации фонетических процессов). Ограниченный ареал распространения аблаута также говорит о вторичном его характере (именно он чужд; наблюдается лишь в определенной группе глаголов). Возводить аблаут к общекартвельскому неправомерно. Сонанты *j*, *w* — связаны с безударностью: под ударением они замещаются полными гласными: *i*, *u*. Из наличия сонантов [*j*, *w*] не вытекает необходимость постулировать наличие (наряду с *l*, *r*, *n*) слогаобразующих *l̥*, *r̥*, *n̥*: показания картвельских языков не в состоянии поддержать такое допущение. Двухморфемные односложные основы типа [*zm-án* ← *zam-an* «брат»: *táp-l* ← *tap-al* «медь»] обусловлены действием интенсивного нефиксированного ударения³⁷.

³³ Т. ГамкRELИДЗЕ, Г. Мачавариани, Система сонантов и аблаут в картвельских языках, стр. 474.

³⁴ Г. А. Климов, ВЯ, 1967, 5, стр. 150.

³⁵ Г. А. Климов, О гипотезе внутреннего родства кавказских языков, ВЯ, 1968, 6, стр. 22.

³⁶ Там же.

³⁷ Существование такого ударения в древнегрузинском языке предполагал еще Г. Шухардт (H. Schuchardt, Über das Georgische, Wien, 1895, стр. 14), далее Г. Деетерс, Арн. Чикобава (об ударении и его роли в грузинском языке см.: G. Deeters, Armenisch und Südkaukasisch. Ein Beitrag zur Frage der Sprachmischung,

Дистрибуция сегментов, модели распределения фонем сами требуют объяснения, прежде чем они будут использованы для объяснения каких-либо фактов.

Против суждения по аналогии с явлениями в индоевропейских (или иных) языках в принципе возражать не приходится, если они не приводят к искусственным построениям, если они помогают объяснить то, что до того было непонятно.

При анализе морфонологических явлений значение принципа флективности (в индоевропейских, семитических языках) и принципа агглютинации (в картвельских и в горских иберийско-кавказских языках) необходимо в полной мере учитывать. Генеалогическая схема картвельских языков, из которой исходят авторы «Системы сонантов и аблаута в картвельских языках» — традиционная; она не отвечает действительности. Историческое взаимоотношение картвельских языков толкуется упрощенно. Результат — неубедительные реконструкции.

*

Монография «Система сонантов и аблаут в картвельских языках» Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани, написанная на высоком профессиональном уровне талантливыми авторами, прекрасно владеющими материалом, представляет собою поисковую работу. Поиски в науке необходимы. Поиски бывают удачные и неудачные. В данном случае неудача обусловлена направлением, в котором велся поиск; выбор направления был объективно неоправдан; решать существенные вопросы истории и структуры картвельских языков, ориентируя исследовательскую мысль на взаимоотношения с индоевропейскими языками, игнорируя при этом взаимоотношения картвельских языков (исторические, структурные) с горскими и иберийско-кавказскими языками, бесперспективно³⁸.

Тому учит история изучения иберийско-кавказских языков.

*

Упомянем вкратце о соответствующих фактах этой истории.

Место картвельских языков в кругу других языков пытались определять в прошлом по-разному. Франц Бопп, один из основателей сравнительного языкознания, автор первой сравнительной грамматики индоевропейских языков, считал картвельские («иберийские», как он называл) языки индоевропейскими, «кавказскими членами индоевропейской семьи языков»³⁹.

Бопп сравнивал имена числительные, местоимения, склонение имен, даже спряжение глаголов, где расхождения кардинальны, сравнивал, используя остроумнейшие доводы (в грузинском языке Бопп «установил» даже наличие аккузатива с формантом, идентичным флексии аккузатива в греческом языке). Горские кавказские языки не привлекались к сравнению: их описательных грамматик тогда не имелось.

Положение Боппа не нашло поддержки. Оно как бы убедило в обратном: к мысли о родстве картвельских («иберийских») языков с индоевропейскими впоследствии не возвращались.

«Caucasica», 3 (1926), стр. 47 и сл.; А р н. Ч и к о в а в а, К вопросу об ударении в грузинском языке, «Изв. АН ГрузССР», III (1942), 2, стр. 191—198; 3, стр. 297—303.

³⁸ Установка статьи Г. Мачавариани, опубликованной вслед за выходом монографии, в этом отношении характерна: на первое место он ставит взаимосвязи грузинского языка с горскими кавказскими языками, тем самым возвращаясь к принципиальным установкам иберийско-кавказского языкознания.

³⁹ F r. B o p p, Die kaukasischen Glieder des indoeuropäischen Sprachstammes, Berlin, 1847.

Марр выступил с категорическим утверждением, что грузинский язык «по плоти и по духу», т. е. по корнеслову и формантам родствен арабскому и другим семитическим языкам (1888 г.).

В 1908 г. Марр дал первое обоснование родства картвельских языков с семитическими. Картвельские языки как родственные семитическим Марр наименовал яфетическими.

Ключ к пониманию грамматического строя яфетических языков Марр находил в семитических языках: по о б р а з у и п о д о б и ю структуры с е м и т и ч е с к и х языков была истолкована структура корня, падежный состав, функции падежей, спряжение глагола в груз. языке.

Как и в семитических языках, в яфетических (картвельских) — по мнению Марра — корни слов состоят только из согласных: функция гласных — обозначать форманты. Корень состоит из трех согласных: если же в грузинском корне согласных оказывалось меньше или больше, это считалось вторичным явлением, результатом утери «слабых» согласных («спирантов» в понимании Марра) или же результатом наращенного согласного... Шесть падежей грузинского языка были возведены к трем (именительному, родительному, дательно-винительному); при этом родительный и творительный падежи — по гласному признаку флексии (-i-) объединялись; получалось т р и д а т е л ь н ы х падежа (с формантом -a-); эргативный объявляется дательным (архаическим), т. е. падежом объектным, хотя в грузинском языке этот падеж всегда выступает в роли субъекта и в глаголе обозначается субъектными формантами. Раз эргативный падеж «оказался» объектным (дательным), соответствующий переходный глагол грузинского языка был признан пассивным (соответственно эргативная конструкция — пассивной конструкцией). В переходном глаголе были «выявлены» показатели пассивности.

Таким образом, начав с общности с т р у к т у р н ы х принципов, Марр устанавливал и м а т е р и а л ь н у ю общность (идентичность) формантов.

Что же касается корнеслова, Марру, как он пишет, удалось выявить около тысячи общих корней; были установлены фонетические соответствия — согласно «семитически-яфетическим» нормам.

Сравнительная грамматика семитических и яфетических языков читалась Марром в Петербургском университете ⁴⁰.

Так было сделано «открытие», важное по своим последствиям не только для грузинского языка, грамматика которого выкраивалась на семитический лад, но и для семитических языков: яфетические и семитические языки были квалифицированы Марром как «ближайше родственные» и включены в одну п о е т и ч е с к у ю семью, как д в е в е т в и этой семьи (семитическая с е м ь я была квалифицирована как в е т в ь).

Объявив семитическую модель архетипом, Марр конструировал систему грузинской грамматики, неукоснительно возводя яфетический вариант к семитическому архетипу; и здесь Марр шел последовательно и до конца.

Так было на первом этапе эволюции яфетической теории (он падает на 1908—1915 гг.) ⁴¹.

Характерная деталь: Марр создавал сравнительную грамматику семитических и яфетических языков, не имея сравнительной грамматики самих яфетических языков — грузинского, чанского, мегрельского и сванского (последние три не были изучены даже в основных своих чертах).

⁴⁰ Поучительный пример того, что ни фонетические соответствия, ни сравнительная грамматика не гарантируют достоверность родства языков.

⁴¹ В 1908 г. в Петербурге вышла работа Марра «Основные таблицы к грамматике древнегрузинского языка в связи с предварительным сообщением о родстве грузинского языка с семитическими».

Марр горячо принялся за изучение чанского и затем сванского языков (изучить мегрельский было поручено И. Кипшидзе). «Грамматика чанского языка» Марра вышла в 1910 г., «Грамматика мегрельского языка» И. Кипшидзе — в 1914 г. Грамматика же сванского не была закончена разработкой: сванские материалы привели Марра к абхазскому языку, который он изучал на месте (как сванский и чанский).

С изучением абхазского языка связан новый этап эволюции яфетической теории: абхазский язык оказался также яфетическим; тем самым расширился круг яфетических языков: в него включились остальные северокавказские языки (адыгские, нахские, дагестанские).

В работе «Кавказоведение и абхазский язык» (1915 г.) Марр сделал выводы, соответствующие новому пониманию: яфетическая ветвь (включившая, кроме картвельских, абхазско-адыгскую, нахскую и дагестанские группы языков) квалифицируется уже как с е м ь я (яфетическая семья). Семитические языки также считаются не ветвью, как в 1908 г., а с е м ь е й. Родство двух ветвей одной семьи уступает место родству двух с е м е й — яфетической и семитической: проблема отношения к семитическим языкам не снимается, но теряет актуальность; в центре внимания Марра оказываются многочисленные языки яфетической семьи.

Вопрос об отношении картвельских языков к горским кавказским ставился задолго до появления яфетической теории (Усларом, Фр. Мюллером, Шухардтом).

Марру, конечно, все это было известно, но он игнорировал этот вопрос: трактуя основные вопросы грамматического строя грузинского языка в свете его отношений к семитическим, Марр (в 1908 г.) обходит молчанием проблему отношений грузинского языка с горскими кавказскими языками.

Эти последние находят место в яфетической теории с 1915 г. В 1920 г. Марр публикует работу «Яфетический Кавказ и третий этнический элемент в создании средиземноморской культуры». Яфетические языки здесь признаны более древними, чем индоевропейские и семитические языки. Стало быть, яфетический, более древний, нельзя возводить к менее древнему, семитическому; тем самым вопрос о родстве яфетических языков с семитическими снимается самим Марром: теория родства яфетических языков с семитическими, жившая искусственной жизнью, изживает самое себя, от теории остается лишь термин «яфетические языки», лишенный основания.

В картвелологии не так уж редки «открытия»: первое из них было сделано Фр. Боппом (иберийские, т. е. картвельские, языки родственны индоевропейским — 1847 г.); второе принадлежит Н. Марру⁴² (картвельские языки ближе всего родственны семитическим — 1888—1908 гг.); третье дано в исследовании «Система сонантов и аблаут в картвельских языках» (картвельские языки входят вместе с индоевропейскими языками в один типологический класс — евразийского союза языков).

Поиски, как видим, ведутся в различных направлениях и одинаково безуспешно; причина объективная: выбор направления, в котором ведется поиск, неправилен: основные вопросы древней истории и структуры картвельских языков не могут правильно решаться, если игнорируются показания горских иберийско-кавказских языков (абхазско-адыгских, нахских, дагестанских), если обходится проблема взаимоотношения картвельских и северокавказских языков.

⁴² «Н. Марр, профессор Петербургского университета, открыл историческое родство между грузинско-мингрельско-сванской группой кавказских языков и языками семитическими», — писал И. А. Бодуэн де Куртене («Избранные труды по общему языкознанию», II, М., 1963, стр. 113).

А. Л. ЖОВТИС

О КРИТЕРИЯХ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОБОДНОГО СТИХА

(Обзор проблемы)

Непризнание *vers libre*, *free verse* или оригинальных русских модификаций свободного стиха обычно аргументировалось невозможностью описать эту форму с помощью эталонов, вполне приемлемых, когда речь шла о произведениях традиционного построения, и в общем применимых в отношении поэтических текстов менее жесткой конструкции (французский *vers libéré* или русский дольник). Конкретно-исторический подход к материалу со своей стороны требовал, чтобы свободный стих — будь то испанский или турецкий — рассматривался в контексте национальной литературы и получал объяснение с непременным учетом особенностей языка.

Закономерность такого подхода бесспорна, как бесспорна языковая обусловленность любой системы стихосложения. Однако в случае с «верлибром» налицо признаки и наднациональные. Они всегда казались столь очевидными, что отрицание этой формы как стихотворной начиналось, как правило, с указания на ее заимствованность, чужеродность и враждебность канону. В этой связи совсем недавно у нас говорилось о непосредственном и притом непродуктивном влиянии Запада; некоторые немецкие теоретики видели истоки стиха Арно Хольца во французской поэзии (несмотря на факт существования оригинальных *freie Rhythmen* за столетие до Рембо и Вьеле-Гриффена), а англичане — обстоятельно прослеживали пути заимствования приемов верлибризма в литературах английского языка (хотя «Листья травы» У. Уитмена были опубликованы еще в 1855 г.); даже самобытность французского верлибра признавалась далеко не всегда. Так, М. Нордау в своей известной филиппике против декаданса, в книжке «Вырождение», следующим образом замыкал круг «заимствований и влияний»: «Другие цивилизованные народы (т. е. не французы. — А. Ж.) давно уже имеют то, чего добиваются символисты с таким треском и шумом. Свободный стих, свободное обращение с рифмой, свержение гнета классической метрики, полное разнообразие размера — все это составляет уже прочное приобретение английской, итальянской, русской поэзии»¹. В другом месте он говорит о «рабском подражании» Метерлинка Уолту Уитмену и т. п.²

¹ М. Н о р д а у, Вырождение, СПб., 1894, стр. 142.

² Там же, стр. 151. А вот совсем недавнее заключение (обвинительное) русского автора: «Свободный стих, несмотря на всю его соблазнительную повизну, оказался в русской поэзии мертворожденным детищем. Искусственно сконструированный по чужим образцам, стих этот имеет, в сущности, одну особенность — свободу от всех закономерностей, присущих структуре русского стиха» (А. С. К а р н о в, Стих и время, М., 1966, стр. 204). Удивительно, как точно повторяет здесь исследователь то, что говорилось по аналогичному поводу не только в странах Запада, но и Востока. См., например: А. И. М а м о н о в, Свободный стих в японской поэзии, Канд. диссерт., М., 1968, гл. II.

Конечно, не следует преувеличивать осведомленность М. Нордау в проблемах английской и тем более русской версификации. Тем не менее любопытно, что почти восемьдесят лет назад он заметил тенденцию, внутреннюю детерминированность которой и сейчас продолжают отрицать некоторые из русских и зарубежных литературоведов. Свободный стих не родился где-либо однажды — он рождался везде.

При всех различиях локальных форм верлибра и достаточно широкой вариативности его типов и конкретных воплощений, представляется возможным выявление межнационального инварианта этой системы.

Основным вопросом, требующим разрешения при такой попытке, является вопрос о критериях описания и методологических принципах характеристики верлибра в современной стихологии. Не претендуя на полноту охвата литературы, постараюсь суммировать главные тенденции литературоведения, преимущественно зарубежного, в объяснении свободного стиха.

1. К р и т е р и й м е т р а. Концепцию, из которой исходят в этом случае, можно изложить следующим образом. Если верлибр (*freie Rhythmen*, *free verse* и т. д.) — это стих, то измерять его надо с помощью эталона, приложимого и к другим формам русского, английского, французского и т. д. стихосложения. Метро-ритмическая урегулированность текста может быть вскрыта либо на протяжении всего произведения (если оно монометрично), либо на протяжении отдельных его частей (тогда исследователь имеет дело с полиметрической композицией). Если метр есть, значит, стих существует, если нет — значит, то, что представлено как стих, таковым не является. Когда же, наконец, метрический критерий приложим лишь частично — тогда перед нами одна из переходных форм (т. е. форм, лежащих на грани стих — проза).

Качество самого «эталона» при таком подходе принципиального значения не имеет. Это может быть в силлабо-тонике «стопа», в тонике — тактовая группа (доля, «стопа» с переменным, но ограниченным числом безударных), а в силлабическом стихе — полустипение или слоговое звено, строгий блок системы.

Силлабо-тоническую основу не раз, например, пытались вскрыть исследователи в *freie Rhythmen*. В некоторых случаях «свобода» этой формы действительно оказывалась мнимой.

В старой работе Г. Фитбогена «Языковая и метрическая форма гимнов Гете» показано, что отдельные произведения этого цикла строго размерны и лишь отсутствие рифмы и ничем не регламентированная разностопность создают иллюзию неметрического стиха³. («*Adler und Taube*», например, написано вольными белыми ямбами). Однако большая часть «Од и гимнов» лишена метрической постоянной. По подсчетам Г. Фитбогена на 483 строки с односложным интервалом приходится 453 строки «смешанной ритмичности» (междуударный интервал в них колеблется в пределах 0—4 слога). Автор старается учесть и акцентные корреляции, и ритмические особенности зачина строк, он отмечает, что при переиздании од и гимнов Гете «убирал» цезуры в метризованных строках, т. е. уходил все дальше от структуры силлабо-тонического стиха. В конечном счете Г. Фитбогену приходится отказываться от своего метрического измерителя. В его описании остаются лишь вторичные стиховые признаки, которые он кое-где перечисляет в качестве «примитивных средств связи строк» (формулировка, заслуживающая внимания)⁴.

³ G. Fittbogen, *Die sprachliche und metrische Form der Hymnen Goethes*, Halle, 1909, стр. 107. Констатируя метричность таких стихов, автор предлагает считать их не *freie Rhythmen*, а *vers libre*.

⁴ Там же, стр. 97.

Более сложным оказывается объяснение «метра» *freie Rhythmen* у современного западногерманского литературоведа Ф. Г. Юнгера. Колебание междуударного интервала (в преобладающих границах 1—2 слога) он склонен рассматривать как прямой результат генетической связи *freie Rhythmen* с гекзаметром Клопштока. Интерпретировать так весь материал или сколько-нибудь значительную его часть автору не удастся. Несравненно важнее не сама возможность измерить с помощью «такта» (Takte) поэтический текст, а осознание того факта, что структура его могла и может быть воспринята на фоне метрических форм и с ориентацией на них. Но такая характеристика уже выходит за пределы чисто метрического критерия⁵.

Стремление к «точному» описанию в европейском и американском стиховедении способствовало тому, что даже у Уолта Уитмена находили «варьирующую стопу», запрятанную в сложных регуляторах синтаксического и риторического построения⁶.

С позиций традиционного стихосложения рассматривали не раз свободный стих английские, французские, чешские и другие авторы, широко раздвигавшие типологические границы этой формы. Так, И. Левый, одна из последних работ которого является в других отношениях новаторской, намечает, однако, типы верлибра, опираясь на те же соображения о размере и отклонениях от него, которые были столь характерны для описательного стиховедения. Из трех классифицированных им групп первая — это просто «правильный стих с нарушением графики», вторая определяется как стих «ослабленный» (*uvolněný*), т. е. такой, к которому, как к русским дольникам, применим метрический эталон, третья именуется стихом неметрическим (термин, распространенный и в английском стиховедении — *non-metrical*)⁷.

Автор современного английского словаря поэтических терминов Б. Дойч также настаивает на том, что многие *free verses* можно «объяснить метрически», хотя и говорит о сугубо индивидуальных модуляциях ритма в них⁸. М. Гжендельская, которая подходит к верлибру в целом как к полиморфной, промежуточной между стихом и прозой структуре, все же использует и такие понятия, как «метрические цепи» и «метроиды», выделяя эти компоненты в качестве важнейших в своей характеристике⁹.

Подобное стремление сохранить термин, дав ему нетрадиционную интерпретацию, отмечается еще у французских авторов начала века. Ш. Вильдрак и Ж. Дюамель в их старой брошюре (1910) объясняли структуру вер-

⁵ F. G. J ü n g e r, *Rhythmus und Sprache im deutschen Gedicht*, Stuttgart, 1966, стр. 130—151. Об «отзвуках» и «осколках» классических метров в свободном стихе пишет и Э. Арндт в обобщающей работе «*Deutsche Verslehre*» Ein Abriss, Berlin, 1960, стр. 203—205.

⁶ W. C. W i l l i a m s, *Measure*, «Spectrum», 1953, 3, стр. 153. У нас подобная методология привела к тому, что вся поэзия Маяковского была объявлена силлабо-тонической (см. статью В. Н а з а р е н к о «Об одном распространенном заблуждении», «Звезда», 1952, 8).

⁷ J. L e v ý, *Umění překladu*, Praha, 1963, стр. 254—262. Далее указанная работа цитируется по расширенной авторской рукописи, в русском переводе подготовленной к печати В. М. Россельсом (две главы из нее уже опубликованы в сб. «Мастерство перевода», М., 1968). Во второй группе этой классификации И. Левый называет «свободный стих романтиков»: «Кристалль» Кольриджа, а также Гейне и Лермонтова. Речь идет о дольниковых фомах. Тонический (акцентный) стих представлен как следующий этап на пути к полному освобождению от метра.

⁸ B. D e u t s c h, *Poetry handbook*, London, 1965, стр. 54—57.

⁹ M. G r z e d e l s k a, *Les tendances à atténuer la distinction entre le vers et la prose*, в кн. «Poetics...», Warszawa, 1962, стр. 281—292.

либра как сложную мозаику определенных и неопределенных слоговых групп, подчиненных метрическим законам и принципу ритмического равновесия, которое порождается числовыми соотношениями слогов, но не ограничивается имп, а опирается также на симметрию и асимметрию разного вида, на созвучия и внутренние рифмы¹⁰.

В немецкой литературе А. Клосс считал основой *freie Rhythmen* все тот же «такт» (употребляемый как синоним «стопы») «при произвольном числе тактов и свободном их заполнении»¹¹. Разумеется, какая бы то ни была определенность характеристики в последнем случае пропадает (как и в случае с «варьирующей стопой»).

Другие исследователи, придя к выводу, что «размерная» организация в разноязычных формах верлибра отсутствует, делают этот негативный признак основой описаний и определений¹². Последнее обстоятельство, по нашему мнению, и дало повод говорить о том, что «свободный стих» (*vers libre*) не может быть объектом стиховедения, поскольку ничем не отличается от обычной речи¹³.

Автор наиболее значительного из новейших обзоров проблемы Б. Грушовский объясняет логические основания такого взгляда на явление свободного стиха. В традиционном понимании поэтической речи в ее противопоставлении прозе метр как организатор всеобъемлющ, на его базе создаются «все ритмические конфигурации» и «вся ритмическая экспрессия». Но, резонно указывает Б. Грушовский, это верно не всегда, а «лишь в большинстве случаев». «Слога и ударения, — сочувственно цитирует он англичанина Р. Блекмура, — недостаточно, чтобы превратить метрику в стиль (*to make a metric into a style*), хотя их вполне достаточно, чтобы делать вирши (*doggerel*)»¹⁴. В то же время «мы должны подчеркнуть позитивную ценность многоуровневого экспрессивного разнообразия ритма, которое может быть достигнуто в поэзии» (разрядка наша. — А. Ж.). Метрические теории неприемлемы, ибо «есть поэтические ритмы без метра, как есть стихи без метафор»¹⁵. Структура верлибра должна изучаться как стиховая, но неметрическая. Образование ритмического движения на базе метра классифицируется, таким образом, как одна из возможностей, а не как универсальный закон поэзии.

«Свободнейший из свободных стихов» воплощается в эстетически определенном ритмическом построении¹⁶. Метр же, который в классический период «связывал» ритмику стиха, сам становится теперь «текучей формой»¹⁷.

¹⁰ Ш. Вильдрак, Ж. Дюамель, В. Шершеневич, Теория свободного стиха, М., 1920, стр. 27, 29, 30, 33.

¹¹ A. Closs, *Die freie Rhythmen in der deutschen Lyrik*, Bern, 1947, стр. 152, 154 и др.

¹² В русском стиховедении с таких позиций подходил к верлибру А. П. Квятковский. См.: А. П. Квятковский, Русский свободный стих, «Вопросы литературы», 1963, 12.

¹³ М. Янакьев, Българско стихознание, София, 1960, стр. 10.

¹⁴ B. Hrushovski, *On Free rhythms in modern poetry, Preliminary remarks toward a critical theory of their structures and functions*, в сб.: «Style in Language», ed. by Th. Sebeok, New York — London, 1960, стр. 179.

Сравните с этим тезисом столь же категорическое суждение М. Янакиева: «Стиховедение обязано заниматься и самыми бездарными „несвободными“ стихами» (указ. соч., стр. 10).

¹⁵ B. Hrushovski, указ. соч., стр. 180.

¹⁶ H. Gross, *Introduction*, в кн.: «The structure of verse», New York, 1966, стр. 10—11.

¹⁷ C. Sachs, *Rhythm and tempo. A study in music history*, London, 1953, стр. 27. и сл.

К этому итогу, по сути дела зачеркивающему все метрические теории, и приходят зарубежные исследователи верлибра¹⁸.

2. **Графика** как «единственная примета верлибра». Системность классического стиха в самом общем виде определялась, помимо размера, еще и рифмой. Но, поскольку европейские литературы нового времени (не говоря уже об античности) использовали также безрифменный стих, этот признак в связи с проблемой верлибра почти не обсуждался. Зато графическая форма новой поэзии характеризовалась зачатую противниками ее и даже апологетами как единственная примета стихов, лишенных метра. Простейшее объяснение их графической композиции, исходившее от традиционалистов, сводилось к тому, что графика свободного стиха абсолютно произвольна, что это проза, притворяющаяся поэзией. Если только расположение слов на странице и отличает эту форму от прозы, то, следовательно, верлибра не существует вовсе, либо, если угодно, любая проза — это верлибр, записанный *in continuo*. Отсюда употреблявшееся иногда в английской критике наименование свободного стиха — *space-prose* («пространственная проза»).

По мнению Д. Стоффера, свободные стихи это «поэзия, различимая только типографски»¹⁹. Быть может, рассуждает Д. Стоффер, — «строка определяется членениями мысли, тогда они функционируют просто как знаки препинания; если же строки не следуют чисто логическим членениям, то что может воспрепятствовать их превращению в причуду?». А причуда (или — произвол) исключает упорядоченность текста, именуемого стихами; ему присуща не системность, а ритмическая бесформенность²⁰.

К этому автору близок Р. Этьембль, который по исследовании «тысяч строк» свободных стихов «на разных языках» приходит к заключению, что речь здесь идет вообще не о стихе, а «о чем-то совершенно ином» — о разбиении каждого предложения на графические «части, отвечающие группам слов, выделенных на основании грамматического или логического анализа». «Если в целом свободный стих и есть нечто, то он есть только это»²¹.

Элементарная логика, как казалось, могла привести к такой постановке вопроса. Экспериментальная проверка свободного стиха «на слух» аудиторией приводила к тому же печальному для верлибристов выводу²². Получалось, что признание верлибра стихом равносильно утверждению, будто может существовать поэтический стиль, целиком зависимый от наборщика или технического редактора²³. В действительности же зависимость здесь не большая, чем зависимость структуры фильма от действий кинемеханика при его демонстрации.

«Отличительный признак поэзии — стихотворная строка; трудно переоценить ее значение в создании поэтического ритма и в самом существовании стихотворения... когда мы представляем стих как прозу, мы часто

¹⁸ Отмечу, что В. М. Жирмунский почти полвека назад писал: «...всякая попытка отыскать метрическую формулу такого стиха (верлибра. — А. Ж.)... заранее, по теоретическим и общим причинам, должна быть неудачной» (В. Ж и р м у н с к и й, Композиция лирических стихотворений, ОПОЯЗ, П. 1921, стр. 88). Однако и у В. Брюсова можно прочесть, что свободный стих — это «система метров, где отдельные метры образованы сочетанием произвольных стоп в произвольной последовательности» (В. Б р ю с о в, Основы стиховедения, 1—2, Общее введение. Метрика и ритмика, М., 1924, стр. 126).

¹⁹ D. S t a u f f e r, The nature of poetry, New York, 1946, стр. 195.

²⁰ Там же, стр. 204.

²¹ R. E t i e m b l e, L'imposture du vers libre, «Zagadnienia rodzajów literackich», IX, 2(17), 1966—1967, стр. 23.

²² М. Я н а к и е в, указ. соч., стр. 74.

²³ Тот же Р. Этьембль убежден, однако, в недолговечности этого «пасынка» поэзии: «Поэты предшествовали наборщикам и, конечно, их переживут», — резюмирует он без тени юмора (указ. соч., стр. 21).

теряем не только специфический ритм — стихотворение само как произведение искусства исчезает. Только внимательный, тщательный анализ — не ограничивающийся слоговым подсчетом — обнаруживает тонкие отличия этого феномена...». Локальные элементы верлибра «получают иную перспективу» и «играют важную роль в формировании „мира“ стихотворения»²⁴. Строка в качестве единицы построения, по Б. Грушовскому, объяснена уже Ю. Тыняновым. Напомню соответствующее место из «Проблемы стихотворного языка»: «Совершенно исключительное значение получает... понятие *стихового единства* и момент его выделения... Графика здесь является сигналом стиха... Тогда как в системном стихе существует как мера мелкая единица, выделенная из ряда, — здесь основой, мерой является сам ряд...»²⁵. Этот тезис развит автором в связи с его концепцией «неразрешения динамической изготовки» в верлибре (на ней я остановлюсь ниже).

В наиболее серьезных современных работах графическая композиция рассматривается как отражение внутренних закономерностей текста отнюдь не грамматического характера. «Сущность стиха» (любого) И. Грабак видит в специфическом расчленении языкового высказывания, т. е. в сегментации²⁶. Но это членение — только «граничная характеристика», нерелевантная без характеристики внутренней. Лишь при наличии качеств стиховой организации внутри рядов она приобретает смысл и значение²⁷.

Т. Е. Сендерс в своей книге «The Discovery of Poetry», рассматривая неметрические стихи, уделяет огромное внимание самому расположению слов — формальному выявлению ритма речи или, как мы бы сказали, речевого жеста²⁸. Графическая композиция в главе, посвященной свободному стиху, служит ему лишь исходным пунктом анализа. Обоснованность такого подхода очевидна в наше время, когда «столбики», «лесенки» и другие, комбинированные, приемы подобного рода (включая смену шрифтов) все чаще используются в поэзии. От них Г. Сендерс и идет к стихотворному стилю вещи в целом.

Однако речь уже должна идти не о метре и банальных измерениях строки соответствующим эталоном, а о многосторонних вертикальных связях в стихе, выявляемых графическим расположением. В качестве единицы для анализа при этом нужно брать как минимум две строки, а в большинстве случаев — три строки или группы строк.

3. Композиция стихотворения и синтаксический параллелизм. Понятие внутренних связей сводилось не раз к грамматическим отношениям. От графики через систему изосинтаксических конструкций к ритмическим импульсам, лишенным метрической основы, — такой путь объяснения свободного стиха был намечен В. М. Жирмунским в небольшом разделе его работы «Композиция лирических стихотворений»²⁹. Основная мысль этого раздела, посвященного синтаксическому параллелизму, усиленному симметрией графического построения на уровне рядов и строф, нашла в дальнейшем распространение в зарубежных истолкованиях свободного стиха³⁰.

²⁴ В. Грушовский, указ. соч., стр. 186; см. также R. Wellek, A. Warren, Theory of literature, New York, 1956, стр. 173.

²⁵ Ю. Тынянов, Проблема стихотворного языка, М., 1965, стр. 55.

²⁶ J. Grabák, Remarques sur les corrélations entre le vers et la prose, surtout sur les soi-disantes formes de transition, «Poetics...», I, Warszawa, 1962, стр. 214.

²⁷ C. F. Stutterheim, Poetry and prose, their interrelations and transitional forms, «Poetics...», стр. 228.

²⁸ T. E. Sanders, The discovery of poetry (USA), 1967. Особенно интересен детальный анализ стихотворения Каммингса (стр. 243—244).

²⁹ В. Жирмунский, указ. соч., стр. 87—95.

³⁰ Работы В. М. Жирмунского, в частности, исследования 20-х годов, широко используются в зарубежном стиховедении. «В английской науке о стихе, — пишут, на-

О членном параллелизме, о значении повторов сложно-сочиненных и сложно-подчиненных конструкций, о градации, о нагнетаниях однородных членов предложения и т. п. механизмах поэтических текстов писали задолго до В. М. Жирмунского. Своеобразие синтаксического строя лирических страниц библии, в особенности псалмов Давида, с их *parallelismus membrorum* было отмечено еще Гердером³¹. Общность стиливых приемов устанавливалась для библии и *freie Rhythmen*, для библии и У. Уитмена (использование изосинтаксизма, анафор, эпитифор и т. д.). Б. Грушовский вслед за другими авторами указывает на тот же вечный образчик риторических фигур³². Но там обычно речь шла о компонентах языкового стиля, а не об организации стихотворного языка в его специфичности. В. Жирмунский же писал о ритмическом упорядочении текста с использованием художественно расчлененного синтаксиса. Мотивировка, таким образом, тут не грамматическая или логическая, как полагает Р. Этьембль, а эстетическая.

В объяснении ее у В. М. Жирмунского упор сделан на функции графики и синтаксиса в целостном организме произведения (на уровне композиции). В таком аспекте естественно рассмотреть функционирование и других элементов в системе версификационных приемов. В дальнейшем, однако, под влиянием ли В. М. Жирмунского (понятого упрощенно) или независимо от него «синтаксический критерий» стали использовать как основу для определения, единственную базу, на которой якобы возникает специфическая стиховая интонация. Из зарубежных исследователей М. Длуская, например, называет неметрические конструкции просто «современным синтаксическим стихом»³³. В недавней статье Л. Штукавца «К синтаксической конструкции свободного стиха и его эстетической релевантности» метрический эталон прямо заменяется синтаксическим. Подробно и весьма убедительно показывая роль синтаксических построений в стихах Яна Скацела, автор приходит к обобщающему выводу: «Отсутствие метрического импульса в свободном стихе это результат перехода просодических постоянных на синтаксический уровень языка»³⁴.

Другой чехословацкий ученый, уже названный выше И. Левый, говорил о третьем (в его классификации) типе верлибра — неметрическом — как о структуре, построенной «на принципах риторики». «Ведущую роль в типе свободного стиха, скомпонованном риторически, играют параллелизмы, повторы и контрасты лексические, либо синтаксические». Иначе говоря, в верлибре «формообразующая доминанта перенесена с принципов просодических на композиционные»³⁵.

Выявление синтаксических аналогов в качестве структурной основы в длинном ряду анализируемых образцов верлибра приводило к тому, что его начинали трактовать и как подвид акцентной системы (ведь число уда-

пример Р. Уэллек и О. Уоррен, — нет ничего, что могло бы сравниться с книгой Виктора Жирмунского о рифме...» (*The Structure of Verse, Modern Essays on Prosody*, New York, 1966, стр. 25). Столь же большое значение имела и «Композиция лирических стихотворений». Высоко оцениваются и переиздаются труды Ю. Н. Тынянова, О. М. Брика и некоторых других советских авторов.

³¹ См.: G. F i t t b o g e n, указ. соч., стр. 88. О структуре библейских псалмов и, в частности, о синтаксическом параллелизме, см.: L. N e w m a n, W. P o p p e r, *Studies in biblical parallelism*, University of California, 1918; C h. F. K r a f t, *The strophic structure of Hebrew Poetry*, Chicago, 1938; C. S a c h s, *Rhythm and tempo*, London, 1953, стр. 69—75. На русском языке — Ф. В и г у р у, *Руководство к чтению и изучению библии*, II, М. 1899, гл. 1.

³² B. H r u s h o v s k i, указ. соч., стр. 189 и сл.

³³ M. D l u s k a, *La systemation du vers polonais*, в кн.: «Poetics...», стр. 149.

³⁴ L. Š t u k a v e c, *K syntaktické výstavbě volného verše a její formálně estetické relevanci* в кн. «Teorie verše», Brno, 1966, стр. 184.

³⁵ J. L e v ý, указ. соч.

рений в параллельных строках очень часто совпадало!). В той же работе И. Левого тонический стих именуется «промежуточной ступенью» между классическим и свободным ³⁶.

Если применение метрического эталона привело к появлению в качестве определения некой «варьированной стопы», лишенной реального метробразующего значения, то при таком подходе верлибр оказывался акцентным стихом, в котором число акцентов произвольно и в принципе ничем регулироваться не может. Правда, в отдельных случаях урегулированность группы строк по этому признаку легко демонстрировали при элементарном обзоре текста (как, например, в статье А. М. Пешковского «Стих и проза с лингвистической точки зрения», где показана равноударность части стихов «Северного моря» Гейне) ³⁷.

Методологически отнесение русских или немецких верлибров к типу акцентного стиха, как это не раз делалось, так же неоправданно, как отнесение польских к силлабической системе. Колеблющийся признак, если амплитуда колебания не нормирована ничем, кроме общеязыковых закономерностей, не может служить основой характеристики стиха.

Что же касается грамматического уровня описания, то все трактовки, подобные приведенным выше, будучи справедливыми для одних фактов, не соответствовали другим, хорошо известным фактам, другому материалу. Критерий изосинтаксичности стиховых рядов столь же мало пригоден к тому, чтобы быть универсально применимым к любому типу верлибра, как и метрический критерий.

4. **Возможности синтетической характеристики и структурального подхода.** Дилемму, которая стоит перед исследователями верлибра, Б. Грушовский определил следующим образом: либо можно «исключить свободные стихи из поэзии, поскольку их формы не могут быть раскрыты», либо «если мы не в состоянии отделиться от факта существования важной части современной поэзии (как и от Гете, Гейне, Гёльдерлина, Библии и т. д.) — значит надо изменить наши старые представления о поэтическом ритме...» ³⁸. Попытки истолкования форм верлибра наталкивались не только на невозможность унифицировать разные типы их, но и на неприменимость используемых критериев (метрического «эталона», принципов акцентного стиха, *parallelismus membrorum*) к конкретному произведению в целом; известные исключения только подчеркивали «правило». Многочисленные, иногда очень обстоятельные и убедительные описания текстов сводились к единственному обобщающему указанию на неповторимость их ритмической организации. Так, А. Морье, автор трехтомного труда, посвященного *vers libre* Вьеле-Гриффена, А. Ренье и Э. Верхарна, по словам Вл. Стрейну, «излагает не эстетику его», а лишь характеризует в конечном счете «индивидуальные ритмы» в анализируемых произведениях ³⁹. К этому сводятся многие «толстые» исследования зарубежных авторов. Но индивидуальным ритмом обладает любое

³⁶ Там же, стр. 261.

³⁷ А. М. Пешковский, Сборник статей, М., 1925, стр. 153—160. «Число тактов, — говорит автор, — эстетически организовано в стихах „Северного моря“. Эта организованность обнаруживается и в оригинале, и в трех приводимых переводах. Значит, она — признак системы (мы бы сказали — инвариант всей группы из четырех стихотворений. — А. Ж.)» (см. указ. соч., стр. 157—160). Рассуждение это логически ошибочно: любая фраза из немецкой прозы может быть переведена с сохранением числа словесных ударений, но это доказывает только, что переводчик проявил чуткость к ритмической структуре этой прозы. Проблема стиха остается в стороне.

³⁸ B. Hrushovski, указ. соч., стр. 173.

³⁹ V. Streinu, *Versificatia moderna*, Bucuresti, 1966, стр. 301; H. Morier, *Le rythme de vers libre symboliste étudie chez Verhaeren, Henri de Regnier, Viele-Griffin, et ses relations avec le sens*, Genève, 1943—1944.

метризованное произведение — как и любой прозаический отрывок (хотя степень и уровень этой организации, разумеется, различны).

Проблема в конечном счете сводится к уточнению самих понятий стиха и прозы, ибо, как говорит исследователь: «Если мы хотим выделить основную базу стиха, надо искать такой элемент, который был бы общим для всех видов стиха и даже для тех, которые являются самыми свободными. И он не должен быть обязательным в прозе»⁴⁰.

Сегментация текстов в поэзии, имеющая в своей основе установку на противопоставление двух принципиально отличных систем, как говорилось, есть внутреннее обоснование графики стиха. «Нет надобности писать прозу, варьируя длину ряда» (И. Грабак), но такая «надобность» — причина самого существования верлибра. Стих задан как непрозаическая система — и это обстоятельство психологически обуславливает восприятие каждой строки в отдельности и рядов в целом. В результате вторичные признаки стихотворной речи активизируются (интенсифицируются, актуализируются), создавая минимум условий, позволяющих читать стихи как стихи.

Механизмам стихотворной речи, которые обнаруживаются в верлибре и могут быть описаны на разных уровнях, посвящает свою очень важную для объяснения его сущности статью З. Черный⁴¹.

На первый взгляд может показаться, что автор оперирует теми же категориями, с которыми мы встречаемся у предшествующих литературоведов (синтаксический параллелизм, звуковая организация и т. д.). В действительности же здесь имеет место синтетический подход к стиху как к сложной полиморфной (а отнюдь не аморфной!) организации. В этом плане метр сам по себе не есть мера стиха, а отсутствие его не свидетельствует об отсутствии фактуры стихотворной речи. З. Черный подходит к объяснению упорядоченности верлибра, понимая ее как систему различных ритмико-фонетических повторов, связывающих текст и укрепляющих его единство. Критерий «стихотворности» оказывается многозначным, а не однозначным, как прежде.

Этот несравненно более диалектический подход к проблеме оказался возможен именно в последние годы, когда наметились новые пути анализа художественного произведения и вопрос о знаковой природе искусства и о функции элемента системы в самой системе стал предметом особенного внимания. Стремление описать с помощью модели ту или иную структуру естественно (и прежде всего!) ведет к уточнению формальных признаков построения.

Если традиционный стих основан на «абстрактно-количественном» принципе, то в свободном счет слогов (мотивированное и урегулированное варьирование слоговых звеньев) сохраняется как одна из возможностей, не исключая других, которые не были основополагающими в классической французской силлабике. Новая установка отвергает прежний «механический силлабизм». Структура верлибра, показывает З. Черный,

⁴⁰ J. H r a b a k, указ. соч., стр. 246; см. также: его же, *The retrogressive theory of verse*, в кн.: «*Théorie versée*», I, Brno, 1966.

⁴¹ Z. C z e r n y, *Le vers libre français et son art structural*, «*Poetics...*». Синтетическое объяснение верлибра намечалось в литературе и прежде, как за рубежом, так и у нас, но оно чаще всего сводилось к перечислению признаков. С этой точки зрения интересна статья: О. С о р о к і н, *Про вільний вірш*, «Червоний шлях», 1929, 7. Тонкое понимание структурных отношений в стихах К. Сендберга и других англоязычных поэтов обнаруживается в переводах И. Кашкина. См. также отдельные замечания И. Кашкина, приведенные в статье Вл. Россельса «Ради шумящих зеленых ветвей», в кн. «Мастерство перевода», М., 1965, стр. 28—30. Отмечу и главу «Современный свободный стих» в кн.: Е. Э т к и н д, *Поэзия и перевод*, М.—Л., 1963, ценную широким охватом материала (стр. 317—344).

«детерминируется одним, двумя и многими» из описанных автором «принципов», среди которых отмечен и принцип «ударно-ритмический», встречающийся чаще всего в комбинации с другими, гомофонный (ритм вокальный или консонантный, т. е. использование звуковых повторов в качестве значимого фактора построения), использование внутренних и конечных рифм в ряду нерифмованных строк, лексических цепей, «ведущих» текст, и синтаксических констант. Термин «константа» З. Черный заимствует у Ш. Вильдрака и Ж. Дюамеля, но он не кажется удачным в применении к системе, где элементы структуры как раз отличаются изменчивостью, где сама изменчивость становится приметой стиля. В качестве выделенного автором признака наряду с другими называется и симметрия частных сочетаний, хотя, как это можно показать, принцип симметрии, графического (и далее на разных условиях) со- и противопоставления имеет здесь более широкий смысл.

Материал З. Черного ограничен французским *vers libre*. Автор не стремится к построению всеобщей теории неметрического стиха, но именно его подход к проблеме кажется удачным и многообещающим.

«Реальность художественной структуры верлибра» (разрядка наша. — А. Ж.)⁴² — вот что утверждает статья З. Черного. В большей мере, чем в других работах, здесь преодолевается то «номенклатурно-морфологическое изучение» поэтической речи, о котором говорит Ю. М. Лотман⁴³, и открываются перспективы рассмотрения элементов в функционирующей системе.

Остановимся на некоторых других исследованиях, преодолевающих (хотя бы в тенденции) метафизичность «постатейного» изучения верлибра. Речь идет не о трудах, специально посвященных нашей теме, а лишь об отдельных страницах, так или иначе ее затрагивающих или имеющих к ней отношение.

В том же сборнике «*Style in Language*», где помещена статья Б. Грушовского, опубликована и работа Дж. Лотца (США) «Метрическая типология», содержащая некоторые важные идеи, основанные на фонологической теории Н. С. Трубецкого. Стих Дж. Лотц определяет следующим образом: это «...тексты, в которых фонетический материал внутри известных синтаксических построений (*frames*), таких, как предложение, словосочетание (выражение), слово, в количественном отношении упорядочен»⁴⁴. Характер этой упорядоченности в разных языках служит автору основанием для построения метрической типологии. В советской научной печати уже было отмечено введенное Дж. Лотцем понятие *response*⁴⁵. «Отношения между сопоставляемыми элементами в метрической структуре назовем *response* (отзвук, отклик). Если в стихотворении есть только одна строка, как, к примеру, стих гекзаметра, этот отклик может относиться (направляться) к другим образцам такой же метрической структуры, существующим в (данной) культуре»⁴⁶. Приведенная мысль предвосхищает концепцию «внетекстовой оппозиции», столь блистательно развернутую Ю. Лотманом⁴⁷. Дж. Лотц останавливается и на внутритекстовых корреспондированиях и других «указателях связи» в стихотворных строках, т. е. на механизмах, существующих вне «метрической надстройки». *Response* возникает в стихах как вторая часть (половина) двуединого це-

⁴² Там же, стр. 279.

⁴³ Ю. М. Лотман, Лекции по структуральной поэтике, «Труды по знаковым системам», I, Тарту, 1964, стр. 6.

⁴⁴ J. L o t z, *Metric typology*, сб. «*Style in Language*», стр. 135.

⁴⁵ См.: И. И. Ревзин, В. Н. Топоров, Новое исследование по стиховедению, ВЯ, 1962, 3, стр. 128.

⁴⁶ J. L o t z, указ. соч., стр. 139.

⁴⁷ Ю. М. Лотман, указ. соч., преимущественно гл. 3.

лого — клетки стиховой ткани. И хотя в начале статьи автор называет прозу «неметрическим текстом» в противоположность «метрическому» = стихотворному, его понимание метра и междустроочных отношений позволяет интерпретировать верлибры как стих, обусловленный структурой неметрических уровней. «Количественная регулировка, — говорит он, — может относиться к синтаксическим единствам с широкой варьированностью (разнообразием) фонетического материала. Свободный стих стремится в этом направлении»⁴⁸. Строгость нормировки Дж. Лотц не считает единственно значащим признаком; текст может быть «связанным», но не урегулированным жестко (правда, в отношении free verses автор в одном месте мимоходом оговаривается: «...если свободные ритмы можно назвать стихом...»)⁴⁹.

Традиционное противопоставление текста метризованного, имеющего размер (= стихотворного) и текста прозаического полностью снимается в современном стиховедении, в котором: 1) либо само понятие метра трактуется расширительно как инвариантные черты стиха вообще, на разных уровнях, а не только на уровне ударных — безударных, долгих — кратких и т. д.; 2) либо сам термин оказывается неприемлемым, неточным и заменяется другим. Так, Р. Якобсон предпочитает использовать определение «vers design» (стиховой план, стиховая конструкция), понимая под ним генеральный принцип связуемости строки и целого. «Стиховой план обуславливает инвариантные черты стиховой единицы (vers instances) и устанавливает пределы варьирования»⁵⁰. Разумеется, для строгих форм (английский или русский ямб, французский двенадцатисложник) размер как мерило остается, но он уже не ограничивает нас, как ограничивал прежде.

Понимание стихотворной речи как системы отношений и функций было намечено в свое время Ю. Н. Тыняновым, «Проблема стихотворного языка» которого доныне служит источником в высшей степени ценных идей для отечественных и зарубежных стиховедов⁵¹.

К истолкованию верлибра непосредственно относится его тезис о «динамической изготовке». «Принцип метра состоит в динамической группировке речевого материала по акцентному признаку. При этом простейшим и основным явлением будет выделение какой-либо метрической группы как *единства*; это выделение есть одновременно и динамическая изготовка к последующей подобной (не тождественной, а именно подобной) группе; если метрическая изготовка разрешается, перед нами метрическая система...». «„Неразрешенная изготовка“ есть также динамизирующий момент; метр сохраняется в виде метрического импульса; при этом каждое „неразрешение“ влечет за собою метрическую перегруппировку... Такой стих будет метрически свободным стихом, vers libre, vers irregulier. Здесь метр как систему заменяет метр как динамический принцип — собственно установка на метр, эквивалент метра...»⁵². Ю. Тынянов устанавливает возможность динамизации языкового материала не только с помощью метра, фактора особенно сильно действующего благодаря прогрессивно-регрессивным связям сопоставленных рядов, но и в силу возможных «эквивалентов». «...в понятии стиха важным оказывается знак его, динамизирующий принцип, а не способ его проведения»⁵³.

⁴⁸ J. L o t z, указ. соч., стр. 136.

⁴⁹ Там же, стр. 141.

⁵⁰ R. J a k o b s o n, Concluding statement, сб. «Style in language», стр. 364.

⁵¹ См., например: В. Н р u s h o v s k i, указ. соч., стр. 178.

⁵² Работа Ю. Тынянова впервые вышла в 1924 г. Цит. по изд.: Ю. Т ы н я н о в, Проблема стихотворного языка, М., 1965, стр. 54—55.

⁵³ Там же, стр. 57.

Говоря о многосторонних связях в стихе, Ю. Тынянов не ограничивает понятие ритма отношениями ударных — безударных. Он называет еще два важнейших фактора ритма — рифму и инструментовку, звуковой повтор. Как ритмический прием последний имеет преимущественно регрессивный характер (повтор обнаруживается, когда переключка звуков уже состоялась, а инвариант метра в классическом стихе в большинстве случаев выявляется сразу, в первой строке коррелирующей пары, и параллельная ей строка лишь подтверждает ожидание). «Повторы организуют регрессивно ритмические группы (причем большее ритмическое ударение лежит поэтому на последующем члене группы)... При такой постановке вопроса в повторе начинают играть роль: 1) близость или теснота повторов; 2) их соотношение с метром; 3) количественный фактор (количество звуков и их групповой характер): а) полное повторение — *deminatio*; б) частичное — *reduplicatio*; 4) качественный фактор (качество звуков); 5) качество повторяемого словесного элемента (вещественный, формальный); 6) характер объединяемых инструментовкой слов. Чем больше близость повторов, тем яснее их ритмическая роль...»⁵⁴.

Мысль об эквивалентности, равноправности, соотносительности стиховых рядов и ритмических групп на разных уровнях в той или иной форме варьирует на протяжении почти всей работы Ю. Н. Тынянова. Не случайно в то же время термин *vers libre* многократно появляется на этих страницах и в примечаниях к ним, хотя автор и не ставил перед собой специальных задач в этой области и не разрешал их. Быть может, именно формы верлибра, лишенного «очевидного» признака, дают или могут дать более убедительный материал для характеристики понятий «стих» — «проза», чем канонические системы. Такой подход противоположен подходу Б. Томашевского⁵⁵, но он имеет своих сторонников в современной науке (И. Грабак и др.). Не случайно и внимание новейших исследователей ко всякого рода эмбриональным, явно неметрическим формам поэзии⁵⁶.

Огромный уже накопленный материал наблюдений над верлибристскими произведениями в разных литературах и у разных авторов, «проницательные» (по словам Б. Грушовского) замечания Ю. Н. Тынянова, работа З. Черного и, в особенности, достижения структуральной лингвистики и поэтики в последние годы, достижения, благодаря которым в ином свете предстают и исследования прошлых лет — все это открывает возможности для создания межнациональной модели верлибра. В ней должны быть выявлены общие закономерности развития поэзии, которая на определенном этапе эволюции жестких «классических» форм снимает одно за другим одни условия, заменяя их иными, создавая систему, декларирующую отказ от всяких ограничений, но в действительности формирующую их на других уровнях.

Может ли в принципе быть создана такая абстрагирующаяся от локальных признаков модель? Косвенным подтверждением этой возможности служат существующие определения верлибра, при всей своей неточности и недостаточности всегда выходящие за рамки одной какой-либо литературы или стихотворной системы. Обратимся хотя бы к формулировке Б. Грушовского: «Под свободным стихом (*free vers*) я подразумеваю стихи, которые (1) не имеют твердой (последовательной) метрической

⁵⁴ Там же, стр. 147.

⁵⁵ Б. В. Томашевский, *Стих и язык*. Филологические очерки, М.—Л., 1959, стр. 10, 13 и др.

⁵⁶ Среди новейших работ отмечу: А. В. Позднеев, *Из истории русского стиха XV—XVIII вв.* в кн.: «*Theorie verse...*», I; К. Тарановский, *Формы общеславянского и церковнославянского стиха в древнерусской литературе XI—XIII вв.*, в кн.: «*American contributions to the VI International congress of slavists*», Praha, 1968, I.

схемы, которые в силлабо-тонической поэзии свободны от преобладающего, predeterminedного расположения ударных и безударных слогов, но (2) непременно обладает (but do have) поэтическим языком, организованным для создания впечатления и выполнения функций поэтического ритма»⁵⁷. Понятие ритма, таким образом, сохраняется здесь в качестве основополагающего и (это можно заключить из общего контекста статьи) оно берется автором в тыняновском смысле. И первый и второй признаки, как мы видим, не связаны здесь условиями какого-либо национального стихосложения⁵⁸.

А вот определение, выведенное автором в основном из материала романских литератур: «Мы называем свободными стихами строки непросодической (неметрической) поэзии, в которой все нормы применяются только на выбор (по желанию), начиная с формального опыта французских символистов»⁵⁹.

Намечу, однако, вслед за некоторыми теоретиками, возможный аспект рассмотрения верлибра как целого (не давая при этом своего определения и не строя модель структуры).

Становится очевидным прежде всего, что верлибр следует рассматривать не как автономную, замкнутую систему и не только как переходную, пограничную форму, но что само его существование есть результат отрицания предшествующего развития, своего рода «метрический взрыв». Верлибр не мог бы существовать, создаваться и восприниматься как стихотворная форма без многовековой истории строгих форм, без «фона», о котором говорит, например, Дж. Ерскайн. Он подходит к структуре free vers как к системе, которая полностью не может быть понята вне контекста реалистической прозы нового времени (и прежде всего русской и французской) и без отношения к классическому стиху. Верлибрист, по Дж. Эрскайну, все время помнит о классическом стихе, и, шире, о предшествующей поэзии в целом. «Подобно тому, как перевод гораздо полнее воспринимается, если вы знаете оригинал, так и тут: если вы знаете поэзию прошлого, вы воспринимаете ее гораздо лучше. Это нечто вроде перевода, у которого никогда не было оригинала»⁶⁰.

Методологически более строго верлибр как отношение определил несколько раньше Ю. М. Лотман. Для автора «Лекций по структуральной поэтике» текст произведения не существует сам по себе, а лишь в связи с комплексом наличествующих в обществе представлений о поэзии, ее приметах, необходимых чертах и свойствах. Простота свободного стиха, отказ от рифмы, метра и т. д. есть система минус-приемов, а не простое отсутствие, и в этом плане воздействует на читателя. «Графика выступает здесь не как техническое средство закрепления текста, а как сигнал структурной природы, следуя которому наше сознание „вдвигает“ предлагаемый ему текст в определенную внетекстовую структуру»⁶¹. Проблему метрического критерия Ю. Лотман снимает. «С возникновением письменной поэзии, — говорит он, — отвлеченная от текста система чередования ударной и безударной гласных (или иная, например, равносложная, силлабическая схема) начала восприниматься как *признак* поэзии, *сигнал*,

⁵⁷ B. H r u s h o v s k i, указ. соч., стр. 183.

⁵⁸ Подчеркну еще раз, что здесь ни в коей мере не отрицается органическая связь свободного стиха с языком, в котором эта система функционирует. Но при нашей постановке вопроса любая из национальных модификаций сопоставляется не с другой модификацией, а все они выступают как форма, противопоставленная классическим образцам как известному принципу.

⁵⁹ V. S t r e i n u, указ. соч., стр. 22.

⁶⁰ J. E r s k i n e, The kinds of poetry and other essays, New York, 1966, стр. 118; см. также: G. J ü n g e r, указ. соч.

⁶¹ Ю. М. Л о т м а н, указ. соч., стр. 60.

по которому поэтический текст отличается от непоэтического (отсюда, в дальнейшем, развилось распространенное заблуждение, отождествляющее сигнал о структуре с ее конструктивной основой). На этом этапе необходимо было наличие в сознании поэта и слушателя строгой системы, идентификация, с которой она воспринималась бы как признак стиха. Не случайно разница между метром и ритмом, в дальнейшем столь волновавшая стиховедов, на этом этапе была явлением редким, нежелательным и строго регламентировалась»⁶².

На современном этапе развития стихотворного языка, по крайней мере для европейских литератур, все большее число элементов метрической схемы и других признаков стиховой речи переносится «в фон», присутствуя в тексте лишь как отказ. Но это означает не «стирание граней» между стихом и прозой, а наоборот, «подчеркивание структурного различия фона». Наконец, «что касается до сегментирующей роли ритма, то *vers libre* и предшествующие ему типологические формы возникают на такой стадии поэтической культуры, когда сознание „отдельности“, смысловой соотнесенности фонологических единиц текста само собой подразумевается»⁶³.

Такая постановка вопроса о стихе исключает возможность введения верлибра в рамки «риторического построения» (как и метрического). Если любой художественный прием — «не материальный элемент текста, а отношение», то из этого по крайней мере следует, что ни один из указанных на протяжении десятилетий признаков верлибра не может определяться как основание системы. Система строится на соотнесенности стиховых рядов верлибра, соотнесенности, реализующейся на разных уровнях — от композиции целого до мельчайших деталей построения, со- и противопоставленных в произведении. Следовательно, описание форм верлибра можно построить, основываясь на этих многоуровневых корреляциях⁶⁴. Важное место в изучении свободного стиха должно занять выяснение вопроса об эстетической значимости факультативных приемов связывания строк в сравнении с удельным весом их в метрически строгих структурах.

Еще один аспект изучения верлибра открывается перед исследователем в работе Р. Якобсона «Грамматика поэзии и поэзия грамматики»⁶⁵.

Р. Якобсон видит в любом стихотворном произведении «яркую актуализацию грамматических противопоставлений». Синтаксические или лексические повторы, о которых так много говорилось и говорится, оказываются, с его точки зрения, лишь частным выражением более глубоких закономерностей специфической организации стиха. Вслед за Дж. Гопкинсом, одним из создателей английского *vers libre* и так называемого *sprung rhythm*, Р. Якобсон выдвигает формулу «повторной грамматической фигуры», которую, наряду со звуковой, следует рассматривать как основополагающий принцип стиха. «В качестве грамматических категорий, используемых для соответствий по сходству или контрасту, в поэзии выступают все разряды изменяемых и неизменяемых частей речи, числа, роды, падежи, времена, виды, наклонения, залого, классы отвлеченных и конкретных слов, отрицания, финитные и неличные глагольные формы, определенные и неопределенные местоимения или члены и, наконец, различные синтаксические единицы и конструкции». «Поэзия, налагая сходство на смежность, возводит эквивалентность в принцип построения сочетаний. Симметричная повторность и контраст грамматических значений становятся

⁶² Ю. М. Лотман, указ. соч., стр. 113.

⁶³ Там же, стр. 115.

⁶⁴ набросок такого описания дан в нашей статье «Границы свободного стиха» («Вопросы литературы», 1966, 5).

⁶⁵ Р. Якобсон, Грамматика поэзии и поэзия грамматики, в кн. «Poetics...».

здесь художественными приемами»⁶⁶. Сравнение «ради сходства» и «ради несходства» вырисовывается как генеральный принцип связывания рядов как по вертикали, так и по горизонтали.

Проблема верлибра не интересует автора в данной статье. Но его принципиально неметрический, если можно так сказать, анализ стиха открывает новые горизонты в изучении верлибра, как, впрочем, и дометрических форм⁶⁷. Грамматический параллелизм иногда может быть «близок к метрической константе» в свободных формах⁶⁸. Тогда, если исходить из идей Ю. Лотмана и Р. Якобсона, метр выступает уже не в виде «фона», части текста (куски, отрывки с размытой границей, тирады) корреспондируют на уровне «классического» стиха, т. е. сам «фон», факультативно входя в структуру, оказывается во внутренней «оппозиции» к ритмическому контексту. Вопрос лишь в том, каковы структурные условия функционирования подобных отрывков в целостном произведении и чисто психологические возможности их восприятия.

У верлибров, с одной стороны, и у метрических форм, с другой, как можно заключить согласно структурному подходу к стиху — сложной системе эквивалентов и функций — свои неповторимые отношения компонентов и горизонтально-вертикальных связей. Исключение любого, даже самого важного из них, из системы, не уничтожает системы, но в то же время изъятие и самого незначительного перестраивает эти отношения. К примеру, замена обязательной рифмы факультативной нарушает всю диалектику обычного — необычного в структуре и ведет к радикальным переменам на семантическом уровне. Новейшие исследования вскрывают порождение смысла в бесконечном многообразии именно вертикальных силовых линий⁶⁹. Б. Грушовский говорит о многопространственной организации слова в верлибре⁷⁰.

Выявление средств интенсификации значений и актуализации связей на всех уровнях в типах свободного стиха есть первая задача исследователя. Описание материальных субстанций этих средств, в известной мере уже выполненное, ведет к обобщению сначала в более узких рамках, затем на уровне абстрагирующих схем. Вторая задача — сведение этих схем к инварианту верлибра. Современное стиховедение вплотную подошло к ее решению.

«Нет свободного стиха для того, кто хочет сделать хорошую работу»⁷¹. Наивное представление о верлибре как «легкой» форме, нестихе, противоречащем всем без исключения национальным литературным традициям, сменяется ясным осознанием того факта, что успехи крупнейших художников, использовавших эту форму, достигнуты благодаря ей, а не вопреки ей.

⁶⁶ Р. Якобсон, указ. соч., стр. 403.

⁶⁷ В этой связи см. новые работы В. М. Жирмунского: «Ритмико-синтаксический параллелизм как основа древнетюркского эпического стиха», ВЯ, 1964, 4; «О некоторых проблемах теории тюркского стиха», ВЯ, 1968, 1, а также: Г. М. Васильев, Якутское стихосложение, Якутск, 1965 и рецензию на эту книгу В. М. Жирмунского (ИАН ОЛЯ, 1968, 4).

⁶⁸ Р. Якобсон, указ. соч., стр. 400.

⁶⁹ См., например: В. Турчаны, Замечания по вопросу взаимосвязи различных элементов поэтического произведения, в кн.: «*Théorie versée...*».

⁷⁰ В. Грушовский, указ. соч.

⁷¹ T. S. Eliot, The music of poetry, «On poetry and poets», New York, 1961, стр. 37.

Е. С. КУБРЯКОВА

**О ТИПАХ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ЧЛЕНИМОСТИ СЛОВ,
КВАЗИ-МОРФАХ И МАРКЕРАХ**

Важнейшим этапом морфологического анализа является, как известно, первичная сегментация текста, производимая вплоть до того момента, когда весь изучаемый корпус материала окажется разбитым на минимальные отрезки, обладающие значением и повторяющиеся в другом лингвистическом окружении в том же составе и с тем же значением. Предпосылкой членения текста служит, следовательно, убеждение в том, что в каждом тексте, как и в каждом куске связной речи, некоторые отрезки оказываются сходными или частично сходными по своему содержанию и форме¹. Это означает также, что в любом корпусе речевых высказываний, в частности, в письменном тексте заданного объема, всегда может быть обнаружено конечное число минимальных линейных единиц, из которых он состоит. В качестве такой минимальной единицы, соотносящей план выражения с планом содержания и передающей с помощью определенной звуковой (фонологической, графической) последовательности определенное значение, рассматривается обычно морфема и актуализирующие ее в тексте морфы.

Несмотря на ясность исходных теоретических установок, обуславливающих задачи членения на морфологическом уровне и ориентирующих на поиски и обнаружение указанных двусторонних единиц, сама процедура выявления в тексте составляющих его морфем сопряжена, как правило, со значительными практическими трудностями, особенно ощутимыми в языках синтетического строя. Параллельно вопросам о том, членима ли вообще данная последовательность и сколькими морфемами она представлена, на практике нередко возникают и вопросы о том, где именно проходит морфемная граница, и действительно ли обладает морфемным статусом вычлененная нами единица, если мы не можем связать с нею какого-либо четкого значения или если мы не можем обнаружить одну из сочетающихся с ней единиц в другом лингвистическом окружении.

Особенно отчетливо выступают затруднения этого рода при анализе сплошного текста, когда исследователь ставит своей целью исчерпывающе разбить на морфы невыборочные формы языка, а кусок связного текста, и когда он стремится представить весь анализируемый текст в виде морфемных цепочек. Естественно в то же время, что без такой тотальной поморфемной переписи текста многие явления, характерные для синхронного состояния данной системы, ускользают из поля зрения исследователя, и результаты его морфологического анализа не могут считаться адекватными. Хотя сегментация сплошного текста была предложена Дж. Гринбергом и связанными с ним американскими лингвистами в целях исчисления особых статистических индексов, вводимых для типологического сравнения языков, представляется важным подчеркнуть целесообразность этой же методики и для общей характеристики морфологической

¹ См.: Л. Блумфилд, *Язык*, М., 1968, стр. 166, Комментарий, стр. 576.

системы отдельного языка. При таком подходе становится особенно существенной роль непротиворечивой сегментации материала.

Конечно, уже исходное определение морфемы предполагает некоторую позитивную информацию о том, на поиски каких именно единиц направлено внимание исследователя. Вместе с тем для языков с известной нечеткостью структурно-семантического противопоставления членимых и нечленимых отрезков одного этого определения недостаточно. и лингвисту приходится предусматривать некоторые специальные приемы сегментации текста и вводить целый ряд особых правил, разъясняющих принятие того или иного решения в определенной сложной ситуации и обеспечивающих формальную однотипность подобных решений. Наборы таких правил были выдвинуты рядом ученых и применительно к решению задач о членимости ~ нечленимости форм на морфологическом и особенно — словообразовательном уровнях². Общая теория морфологической членимости слов, однако, еще во многих отношениях неясна.

В настоящем сообщении мы хотим осветить некоторые аспекты этой общей теории, связанные не только с несомненной зависимостью производимого членения от исходного определения морфемы, но и с некоторыми частными ограничениями, налагаемыми на морфологическую сегментацию как с формальной, так и с семантической точек зрения. Целесообразнее всего описать их сущность, вводя для этого специальное понятие о сегментации слов на морфологическом уровне, понятие морфологической членимости форм³.

Ориентация на выявление в тексте минимальных двусторонних единиц означает в первую очередь, что в тексте следует обнаружить языковые отрезки, обладающие свойствами предельности и значимости. Первое обуславливает невозможность остановиться при членении отрезка на выделении составной единицы, содержащей в себе еще какие-то части, наделенные значением, типа русск. *-ство, -ение*, исл. *-samur, -legur*, швед. *-formig*, дат. *-tæssig* и т. д.⁴. Это же ограничение значит, что мы не можем произвести членения такой единицы, которая, хотя и выделяет какие-то части, не соотносит их с сепаратными значениями. Нельзя, по нашему мнению, расчленить нем. *-ler, -ner, -iker, -enser, -(i)aner* и т. п. (в *Sportler* «спортсмен», *Rentner* «рантье», *Chemiker* «химик» и т. п.), хотя в этом же языке есть и суффикс *-er*: *Arbeiter* «рабочий». Последнее исключает возможность прийти к такому разбиению формы, при котором ни одной выделенной части нельзя приписать известной значимости. Важно отметить, в этой связи, что возможность вычленения языковых элементов заложена не только в их повторяемости, как это неоднократно подчеркивали американские дескриптивисты⁵, но и в том, что подобные элементы повторяются как

² Из специальных работ последнего времени укажу в этой связи, например, на ряд отечественных работ: К. А. Левковская, О проблеме производности основ, «Вопросы составления описательных грамматик», М., 1961; Н. А. Крылов, Типы основ в современном русском языке, ФН, 1963, 2; Е. А. Земская, Понятия производности, оформленности и членимости основ, «Развитие словообразования современного русского языка», М., 1966; «Словообразование современного русского литературного языка», М., 1968, гл. 8; Н. А. Янко-Триницкая, Членимость основы русского слова, ИАН ОЛЯ, 1968, 6 и др.

³ Это понятие было введено нами в работе 1965 г. «Морфологическая структура слова в германских языках», см. сб. «Морфологическая структура слова в индоевропейских языках», М., 1970 (в печати).

⁴ Отсюда операциональное определение морфемы как единицы, в которую не укладывается целиком другая морфема. См.: И. И. Резни, О логической форме лингвистических определений (на примере определения морфемы), «Применение логики в науке и технике», М., 1960, стр. 145.

⁵ Решение о морфемном составе слова, — указывает, например, З. Харрис, — достигается простой проверкой на повторяемость частей слова в сходных окружениях.

носители определенной информации. Разложимость отрезка выступает поэтому как следствие сепаратной значимости его частей. Интересно, что именно эта сторона дела подчеркивалась и русскими формалистами — Ф. Ф. Фортунатовым, А. М. Пешковским и их последователями. Членимость формы зависит, соответственно, скорее всего от того, можем ли мы выделить в ней хотя бы одну такую часть, которая встречается с тем же значением в другом лингвистическом окружении⁶. Вместе с тем можно отметить, что конкретная разложимость формы проявляет зависимость не только от наличия фонетико-семантического сходства ее частей с частями других последовательностей⁷, но и от того, насколько подобное сходство очевидно. Естественно поэтому, что членимость формы оказывается тесно связанной с повторяемостью каждого из ее компонентов и что чем большей сферой распространения характеризуется каждый из этих отдельных компонентов и чем более ясное значение ассоциируется с каждым из них, тем проще и доказательнее осуществляется разложение всей формы в целом. Обусловленность сегментации формы условиями повторяемости ее частей в других окружениях, а также степенью сохранения единого содержания у такой части при ее воспроизведении, делают возможным определить объективно не только факт членимости или нечленимости конкретной формы, но и степень ее членимости. Используя в качестве таких объективных критериев свойства отдельных частей формы встречаться в уникальном или неуникальном окружении и повторяться в разных лингвистических окружениях с тем же или не с тем же значением, мы предлагаем различать: а) живое морфологическое членение слов; б) условное членение слов и в) дефектное членение слов.

Соответственно же тому типу членения, которому подлежит каждая языковая форма в силу ее объективных свойств, можно выделить четыре группы слов: характеризующиеся полной нечленимостью и противопоставленные им слова — а) обладающие признаками живой морфологической членимости, б) обладающие признаками условной членимости и в) обладающие признаками дефектной членимости. Различия между названными группами слов могут быть схематически представлены в виде «деривационного дерева», отдельные точки ветвления у которого соответствуют:

I — способности ~ неспособности слова выделять отдельные значащие части, повторяющиеся в другом лингвистическом окружении (согласно этому признаку, слова делятся на ч л е н и м ы е ~ н е ч л е н и м ы е).

II — способности выделенных отрезков в членимых формах повторяться в неуникальном ~ уникальном окружении (согласно этому признаку, членимые образования делятся на ф о р м а л ь н о ч л е н и м ы е, т. е. такие, которых каждая из выделенных частей повторяется в ином окружении, и д е ф е к т н о ч л е н и м ы е, т. е. такие, у которых одна из выделенных частей встречается только в уникальном или почти уникальном окружении).

III — способности выделенных отрезков формально членимых слов повторяться в разных окружениях с тем же или не с тем же значением (согласно данному признаку, слова делятся на обладающие признаком

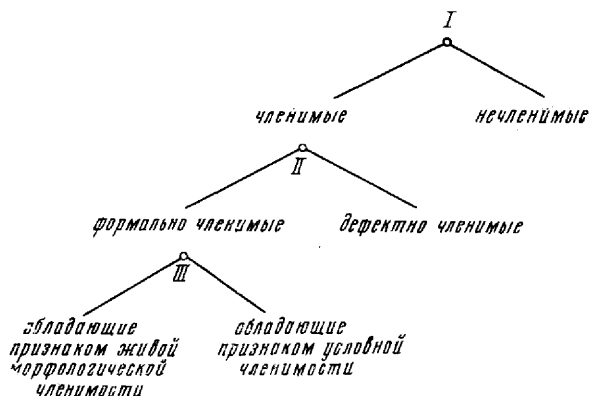
См.: Z. S. Harris, *Distributional structure*, в кн.: «The structure of language», New Jersey, 1964, стр. 39.

⁶ См.: M. D o k u l i l, *Tvoření slov v češtině*, 1. Teorie odvozování slov, Praha, 1962, стр. 212.

⁷ О степени формального сходства, необходимого и достаточного для отождествления морфов одной морфемы, мы писали в другой нашей работе (см.: Э. А. Макаев, Е. С. Кубрякова, О предмете и задачах морфологии и ее месте среди других лингвистических дисциплин, «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1967, стр. 19—22) и поэтому в настоящем сообщении этой проблемы более не затрагиваем.

живой морфологической или условной членности).

Введение разных типов членения на уровне морфологии мотивируется не только необходимостью отграничить объективно безусловно членимые образования от столь же безусловно нечленимых, но и найти точное место всем промежуточным или пограничным случаям.



Живое морфологическое членение осуществляется тогда, когда каждая из повторяющихся частей анализируемой последовательности находит соответствие в целой серии форм и когда каждой из этих частей можно легко и без натяжек поставить в соответствие некий фрагмент информации. Подобное членение выступает особенно наглядно в тех случаях, когда определенной части звуковой или графической последовательности коррелятивно определенное содержание, простое или комплексное, ср. англ. *cat* — *cat-s*, по русск. *кот* — *коты*. Наличие однозначных корреляций между единицами плана выражения и плана содержания, однако, отнюдь не обязательно. Предпосылкой живого морфологического членения формы может служить также организация ее по регулярной модели: структура формы и возможности ее членения тесно между собой связаны. Производя членение, мы обнаруживаем строение формы и наоборот: зная модели регулярных форм и их состав, мы легко производим членение формы, созданной по ее образцу. Анализ моделирования формы и анализ ее членности взаимобусловлены и часто протекают параллельно друг другу. Как правило, формы, построенные по типовым и регулярным моделям (как морфологическим, так и словообразовательным), демонстрируют свойства живой морфологической членности. Верно и обратное: у форм, прозрачных по составу и легко обнаруживающих свои отдельные части, несложно определить ту модель, которая лежит в их основе. Живое морфологическое членение поддерживается, таким образом, простым вхождением ее частей в правильные пропорции, простым сопоставлением всей формы в целом со структурно соотносительными формами, возможностью простой замены одной из выделяемых частей другою, и, наконец, естественностью соотнесения каждой отдельной части с постоянным и тождественным самому себе содержанием. Последнее очень существенно в том смысле, что хотя морфема по определению обязательно значаща, из этого отнюдь не следует, что само это значение всегда просто установить. Попробуйте установить значение морфемы *м-* в русском *мыть* или *в-* в русском *выть* безотносительно к значению того целого, что выражают эти слова; можно, однако, с уверенностью утверждать, что эта морфема

значит в *мыть* то же, что и в *умыванье*, *моюсь*, *омовенье*, *размытый* и т. п. Таким образом, одно дело — трудность определения значения морфемы, возможная и при живом морфологическом делении, другое — определение того, *з н а ч а щ а* ли вообще анализируемая единица и передает ли она *о д н о* и *т о* же отдельное значение, или нет.

Трудности этого рода возникают в тех случаях, когда членение, вполне оправданное с формальной точки зрения повторяемостью отдельных частей последовательности в разных лингвистических окружениях, вызывает возражения по семантическим соображениям. Этот тип членения мы и предлагаем называть *у с л о в н ы м*. Можно указать в этой связи на различие членения форм на морфологическом уровне, с одной стороны, и словообразовательном, с другой. Так, форма *бычок* в значении «детеныш мужского пола определенного животного» поддается живому морфологическому членению в силу простых корреляций ее с отрезками *бык-/быч-* и *ок* как в семантическом, так и формальном плане. Напротив, членение формы *бычок* в значении «сорт рыбы» возможно лишь как сугубо условное, притом исключительно на морфемном уровне: со словообразовательной точки зрения эта же форма нечленима. Условное членение вводится здесь, как и в других случаях, для описания форм, семантическая цельность и неразложимость которых противоречит их морфемной структуре. Благодаря формальной возможности отделить в подобных образованиях аффиксальную морфему от корневой и даже приписать ей некое повторяющееся значение⁸, про эти формы можно сказать, что они стереотипны по своей морфологической, но не словообразовательной модели, т. е. по составленности из отдельных частей, но не по семантическим отношениям между ними. Этот последний признак отличает, однако, не только морфологические фразеологизмы. Если морфологические фразеологизмы характеризуются прежде всего невыводимостью их общего значения из значения частей, их составляющих, то в другой серии условно членимых образований семантическая ущербность формы проявляется в невозможности определить значение некоторых ее частей иначе, чем вычитанием из общего значения формы значения отдельных ее понятных элементов. В трактовке этих форм мы придерживаемся, следовательно, мнения А. И. Смирницкого о том, что «отсутствие значения у одного звукового отрезка основы (или слова) можно констатировать только тогда, когда у другого, остающегося, звукового отрезка также не обнаруживается никакого значения основы (или всего слова)»⁹. По аналогии с безусловно членимыми образованиями типа англ. *de-form* «деформировать, искажать», *con-form* «сообразовать», *re-form* «перекладывать, формировать заново», *per form* «осуществлять, производить», ср. *form* «формировать», мы считаем *у с л о в н о* членимыми и образования типа *de-tect* «обнаруживать», *pro-TECT* «защищать», или *de-ceive* «обманывать», *per-ceive* «воспринимать», *re-ceive* «получать» и т. п., хотя последние, повторяя по формуле своего строения конструкции с префиксами, и не дублируют семантических отношений между префиксом и основой. Таким образом, простоте разложения форм здесь мешает не столько их идиоматичность, сколько условность приписывания отрезкам типа *-tect* или *-ceive* какого-либо ясного значения (кроме чисто дифференциального).

Из сказанного выше вытекает также, что семантические основания для членения на морфемном уровне оказываются иными, чем для членения

⁸ Так, суффиксу *-ок* можно приписать и в фразеологизмах значение уменьшительности, ср. *кружок* «небольшое объединение людей» и т. п.

⁹ См., например: А. И. С м и р н и ц к и й, Лексикология английского языка, М., 1956, стр. 59—64, особенно стр. 64.

на уровне словообразования¹⁰. Сознвая некую искусственность условного членения, мы тем не менее считаем его целесообразным как из-за структурного параллелизма некоторых образований отчетливо делимым формам, так и по ряду причин, связанных с обычным обликом морфемы и ограничениями, касающимися законов фонемной протяженности одной морфемы.

И живое морфологическое членение, и условное членение слов отвечают общим формальным требованиям, предъявляемым к членению форм, и потому могут быть вместе охарактеризованы как способы предельного деления слов на уровне морфологии. Дефектное членение противопоставит им в этом смысле из-за нарушения ведущего формального правила сегментации текста: вычленять единицы, обладающие свойством повторяемости в разных окружениях. Отклонение от этого правила возможно, собственно, только для небольшого числа реликтовых или маргинальных образований, в целом не показательных для строения всей системы. Как известно, вопрос о членении подобных форм служил предметом неоднократного рассмотрения как в зарубежной литературе, где дискуссия была сосредоточена вокруг обсуждения делимости образований типа англ. *stan-berry* «клюква»¹¹, так и в отечественном языкознании, где обсуждение вылилось в длительную полемику по поводу членимости форм типа *малина*, *петух*, *буженина* и т. п.¹². И в том и в другом случае речь шла о сегментировании форм, одна часть которых редко встречается или совсем не встречается в другом окружении. Подобно многим другим лингвистам, мы полагаем, что и эти формы можно расчленить на морфологическом уровне и что, следовательно, четкой выделяемости хотя бы одного элемента в форме достаточно для того, чтобы признать ее членимой в целом. Дистрибутивная дефектность элемента, остающегося за вычетом обычного морфа, объясняет, почему мы предлагаем обозначить этот тип сегментации как *дефектное членение*. Итак, дефектным является такое членение формы, в результате которого приходят к выделению отрезка, засвидетельствованного в данном языке в уникальном (или почти уникальном) окружении. Этот тип членения предусматривает, следовательно, членение образований, имеющих в своем составе уникальную корневую или уникальную служебную морфему: наличие двух рядом стоящих уникальных морфем исключается по определению¹³. Примером уникальных неслужебных единиц могут служить нем. *Brom-* в *Brombeere*

¹⁰ См. подробнее: Е. С. Кубрякова, Что такое словообразование, М., 1965, стр. 29 и сл.

¹¹ Ср. например: Л. Блумфилд, указ. соч., стр. 167; Г. Глассон, Введение в дескриптивную лингвистику, М., 1959, стр. 121—122; Ch. F. Hockett, A course in modern linguistics, New York, 1958, стр. 126—127; J. H. Greenberg, Essays in linguistics, New York, 1959, стр. 20; D. L. Bolinger, On defining the morpheme, «Word», 4, 1, 1948.

¹² См.: Г. О. Винокур, Заметки по русскому словообразованию, ИАН ОЛЯ, 5, 4, 1946; А. И. Смирницкий, Некоторые замечания о принципах морфологического анализа основ, «Доклады и сообщения филол. фак-та МГУ», 5, 1948; е го ж е, Лексикология английского языка, стр. 59—64; Н. Д. Арутюнова, Очерки по словообразованию в современном испанском языке, М., 1961, стр. 45 и сл.; А. А. Реформатский, И. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова, «Морфологическая типология и проблема классификация языков», М.—Л., 1965, стр. 76—80; В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, [ред. на кв.:] Н. М. Шанский, Очерки по русскому словообразованию и лексикологии, ФН, 1961, 1; Е. С. Кубрякова, Что такое словообразование, стр. 30—34; М. Д. Степанова, Методы синхронного анализа лексики, М., 1968, стр. 84, и сл.; Н. М. Шанский, Очерки по русскому словообразованию, М., 1968, стр. 54 и сл.; R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin, A course in modern English lexicology, М., 1966, стр. 124—128.

¹³ Ср.: S. Saporita, Morpheme alternants in Spanish, «Structural studies on Spanish themes», Urbana (Ill.), 1959, стр. 32.

«ежевика», *Dam-* в *Damhirsch* «лань», *-ginn-* в *beginnen* «начинать»; примером уникальных служебных единиц *-en* в англ. *oxen* «быки», *-ren* в *children* «дети».

Чтобы продемонстрировать нагляднее различия в отдельных типах членения, приведем несколько конкретных примеров. Так, англ. *ablaze* «в огне», *abed* «в постели», *abloom* «в цвету», *abroad* «широко, вширь» характеризуются живой морфологической членимостью, а слова *away* «прочь», и *abroad* «за границей» — условной. Англ. *dangerous* «опасный», *murderous* «убийственный», *disastrous* «бедственный» легко членятся в соответствии с живыми нормами данного языка, но *jealous* «ревнивый» и *raucous* «хриплый» проявляют лишь свойство дефектной членимости, выделяя в своем составе уникальные связанные корни. В ряду немецких образований *Ge-sund-heit* «здоровье», *Ge-wohn-heit* «привычка», *Ge-samt-heit* «совокупность», *Ge-mein-heit* «низость» признаком живой морфологической членимости обладает только слово *Gesamtheit*, ср. *gesamt* «вместе», *zusammen* «совместно», признаком условной членимости — слово *Gewohnheit*, ср. *gewöhnen* «приручать». Остальные же слова иллюстрируют дефектное членение, ибо входящие в них корневые морфемы отличаются дистрибутивными ограничениями, не свойственными данному классу морфем, и встречаются только в соединении с префиксом *-ge*, ср. *ge-sund* «здоровый» и *ge-mein* «низкий». Среди шведских названий ягод на *-on* легко членится, например, *ling-on* «брусника», откуда *ling-bär* «брусничный», но не *hallon* «малина» или *smultron* «земляника», демонстрирующие дефектное членение.

Целесообразно рассмотреть теперь, насколько отражается указанное различие в типах членимости слов на их составе. Если мы установили, что одна часть анализируемой формы является морфем, — пишет С. Сапорта, — следует признать, что и другая часть этой же формы — тоже морф¹⁴. Подобный тезис, однако, не может быть принят без существенных оговорок. Он правилен, по всей вероятности, в том, что вычленение одного или нескольких безусловных морфем свидетельствует о разложимости всей формы в целом. Справедлив он и в том отношении, что остаточная часть такого деления тоже должна получить интерпретацию в морфологических терминах. Вряд ли он, однако, верен в том, что признание одной части формы морфем ведет механически к рассмотрению и другой части тоже в качестве морфа. По нашему мнению, это справедливо только относительно слов, проявляющих признаки живой морфологической членимости. Эти слова, действительно, сводимы к определенному числу морфем, и могут считаться на этом основании конструкциями из безусловных морфем. Слова же, обладающие признаками условной или дефектной членимости, включают наряду с обычными морфемами некие единицы, функционирующие параллельно морфемным единицам, но по тем или иным причинам не достигающие статуса полноценного морфа. Такие единицы мы и предлагаем называть квази-морфемными, или просто к в а з и - м о р ф а м и. Итак, квази-морфы — это такие языковые элементы, которые встречаются в данном языке в виде строевых единиц отдельных нерегулярных форм и которые не достигают статуса безусловного морфа в системе языка либо из-за не свойственной данному классу морфем узкой сочетаемости, либо по чисто семантическим причинам, описанным выше. Квази-морф — это такая разновидность морфемных единиц, на дистрибуцию которых в синхронной системе налагаются ограничения, большие, чем на дистрибуцию соответствующего к л а с с а морфов. Это единицы либо структурно, либо семантически дефектные; уникальные же квази-морфы иногда дефектны и структурно, и семантически.

¹⁴ См.: S. S a p o r t a, указ. соч., стр. 34.

В пределах морфологических фразеологизмов, которые, как мы подчеркивали выше, характеризуются свойством условной членимости, составляющие их компоненты неполноценны в семантическом плане, поскольку они своим собственным четким отдельным значением не обладают: в таком английском сложном слове, как *blackbird* «дрозд», *black* утратило значение «черный», а *bird* — значение «птица»; элементу *cran* в *cranberry*, как и элементу *Brom-* в нем. *Brombeere*, вообще нельзя приписать никакого значения, кроме дифференциального, что корневым морфемам не свойственно. Сравнивая англ. *de-duce* «выводить», *re-duce* «сводить» и *in-duce* «побуждать», мы можем спорить о том, допустимо ли приписать элементу *-duce* какое-либо общее лексическое значение, но мы вряд ли можем отрицать, что связанность этого элемента резко отличает его от других глагольных морфем английского языка, особенно исконных. Наконец, уникальный служебный элемент в примерах типа русск. *стеклярус* дефектен, по-видимому, и со структурной, и с семантической точек зрения — как по сочетаемости, так и по смыслу. Все подобные элементы мы и считаем квази-морфами. Как видно из приведенных примеров, некоторые квази-морфы являются членами обычных морфем (ср. компоненты *black-* и *-bird* с семантическим сдвигом), часто, однако, квази-морфы существуют на положении субморфемных единиц, не включаясь ни в одну морфему.

Квази-морф может выступать как единица, параллельная служебному морфу, или как единица, функционально эквивалентная морфу корневого. Их отличия можно при этом усмотреть в следующем. Корневой квази-морф отличается от корневого морфа своей связанностью, причем связанностью деривационными аффиксами¹⁵ — ср. русск. *низ-верг-нуть*, *по-верг-нуть*, *с-верг-нуть*; англ. *jeal-ous*, *rauc-ous*. Аффиксальный квази-морф отличается от обычного аффикса тем, что он в противовес подлинным аффиксам не формирует ни протяженных словообразовательных рядов, ни регулярных парадигматических объединений и сочетается только с крайне ограниченными кругом основ.

Интересно указать на то, что связь между уникальностью единицы и ее принадлежностью классу квази-морфемных частиц отнюдь не прямолинейна. Любая уникальная единица, выступающая в составе сложной морфологической конструкции, всегда представляет собой квази-морф, но не все квази-морфемные единицы уникальны. Так, например, не уникальны квази-морфы, вычлениющиеся в образованиях типа русск. *поверг-нуть*, *низвергнуть*, *свергнуть*, или квази-морфы, остающиеся после отсечения служебных морфем в заимствованиях, типа приводившихся выше англ. *-ceive*, *-tect* или *-duce*.

Уникальные служебные и уникальные неслужебные корневые единицы обладают в системе языка неравноценным статусом. Уникальность корневых элементов не может служить, собственно, доводом против их рассмотрения в качестве корневых, зато уникальность служебных единиц является несомненным препятствием при их отождествлении в качестве аффиксальных — аффикс по самой своей сущности не может быть единичным¹⁶. Как и обычные морфы, корневые квази-морфы и служебные квази-морфы не одинаковы по своей семантике. Корневые квази-морфы характеризуются

¹⁵ По нашему мнению, следует строго различать связанность корневой морфемы обязательными для данного языка словоизменительными морфемами (ср. русск. *стекл-о*, *крыть*, *кун-ий*), не препятствующую живой морфологической членимости форм, и связанность основы деривационными формантами (ср., например, англ. *con-venient* «удобный», создающую предпосылки для условного или дефектного членения).

¹⁶ Ср.: Е. А. Земская, Интерфиксация в современном русском словообразовании, «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964, стр. 42—43.

лишь потенциальной морфологической значимостью. О ее наличии свидетельствуют случаи обратного словообразования и окказионального словоупотребления (ср. англ. *to chauff* «возить в автомобиле» от сперва нечленяемого заимствованного *chauffeur* или русск. *смород-а* от *смород-ина*). Служебные же квази-морфы являются обычно носителями гораздо более определенных значений, и потому они легче выделяются после безусловных корневых морфем, чем корневые квази-морфы после префиксов или в окружении аффиксов. Так, уникальные служебные элементы в англ. *oxen* «быки» или дат. *fjne* «глаза» являются четкими выразителями множественного числа, а квази-морфы в *петух*, *пастух*, несмотря на их почти уникальность, оформляют значение своеобразного *nomina agentis* «тот, кто поет», «тот, кто пасет». Наличие подобных служебных уникальных элементов в слове характеризует поэтому их принадлежность к определенному парадигматическому или словообразовательному объединению и заставляет пересмотреть вопрос о том, кака я мор ф е м н а я е д и н и ц а в я з ы к е м о ж е т с л у ж и т ь о с о б о й п р и м е т о й к л а с с н о й п р и н а д л е ж н о с т и с л о в а.

Мы полагаем, что такими единицами в области сегментных отрезков являются: а) у форм, обладающих признаками живой морфологической членимости, а ф ф и к с ы; б) у форм, обладающих условной или дефектной членимостью, м а р к е р ы. Последнее специальное обозначение вводится нами, следовательно, для служебных единиц, служащих опознаванию категориальных значений у конструкции в целом и являющихся ее к а т е г о р и а л ь н ы м и м о р ф о л о г и ч е с к и м и п р и м е т а м и ¹⁷.

Маркерами являются языковые отрезки трех типов: 1) служебные (связанные) уникальные единицы, т. е. уникальные квази-морфы со словоизменительными или словообразовательными значениями (ср. приводившиеся выше элементы в *стеклярус*, *петух*, *фjне*); 2) служебные неуникальные (т. е. повторяющиеся в разном окружении) единицы, морфы, тождественные в звуковом и семантическом отношении обычным аффиксам данного языка, но в отличие от них вступающие в соединение не с морфами же, а с корневыми квази-морфами, 3) служебные единицы, морфы, тоже сочетающиеся с квази-морфами, но не имеющие коррелята в виде обычного регулярного аффикса. Подобно аффиксам, маркеры являются носителями известных категориальных значений и способствуют объединению слов, проявляющих признаки структурно-семантического сходства. Подобно аффиксам, маркеры способствуют классификации слов по частным разрядам. Выступая в системе языка в ролях, эквивалентных с функциональной точки зрения ролям аффиксов, маркеры выполняют эти роли в словах, характеризующихся условной или дефектной членимостью. Иначе говоря, в системе языка они обладают свойствами сочетаемости, отличными от тех, которые свойственны регулярным аффиксам.

Из трех групп названных нами морфемных единиц в специальной литературе были отмечены лишь элементы второй группы — звуковые комплексы, параллельные живым суффиксам, по отсечению которых, однако, не остается производящей основы, соотносенной хотя бы еще с одним словом в данном языке. Речь в данных случаях идет о таких образованиях, которые англисты называют первично-производными, но которые на самом деле не имеют никакого отношения к системе синхронного словообразования, типа дефектно членяемых образований на *-er*, ср. *spider* «паук», *auger* «сверло, бур», *otter* «выдра» и т. п., на *-ous*, ср. *pious* «набожный», *raucous* «хриплый», типа англ. *-able* в *affable* «приветливый» по сравнению с *drink* —

¹⁷ Более подробное описание маркеров в германских языках см. в нашей работе «Морфологическая структура слова в германских языках», гл. I.

able «питьевой» от *drink* «пить» или *adorable* «обожаемый» от *adore* «обожать»¹⁸. Субморфемные единицы, тождественные морфам, но не имеющие самостоятельного смысла, в составе морфологических фразеологизмов, описывает и И. А. Мельчук¹⁹. Представляется, однако, что категория маркеров — это более широкая категория, включающая указанные данными авторами элементы в качестве одной из возможных разновидностей. Общим признаком такой категории является признак функциональный — маркеры функционально эквивалентны служебным связанным морфемам, т. е. аффиксам. По своему положению в системе языка, однако, они резко отличаются от аффиксов.

В первой группе маркеров их отличием от аффиксов служат чисто дистрибутивные ограничения на сочетаемость подобных единиц, т. е. сама уникальность единицы.

Во втором, более сложном случае, проведение различий между маркером и аффиксом основано на расхождении, существующем между системным статусом анализируемых единиц и их положением внутри отдельных индивидуальных форм. Так, с точки зрения системы словообразования современного русского языка элемент *-ика* является суффиксом, оформляющим названия ягод: голубая ягода называется *голубикой*, черная — *черникой*, ягода с косточками в мякоти плода — *костяникой*. В таких названиях, как *брусника* или *ежевика*, подобная мотивация, однако, отсутствует, и с точки зрения данных индивидуальных форм нельзя утверждать, что между элементами *брусн-* и *-ика* существуют те же семантические отношения, что и между *черн-* и *-ика*. Членимость формы создает здесь как бы видимости производности, на самом деле отсутствующей. Вместе с тем вхождение названных форм в один словообразовательный ряд с образованиями *черника*, *голубика* и т. п., связано, несомненно, с наличием в них элемента, коррелятивного аффиксу, но не тождественного ему в синхронной системе деривации. Итак, в системе языка *-ика* — это словообразовательный аффикс, в индивидуальных же формах этот морф — только морфологическая примета принадлежности определенному словообразовательному ряду. Это — маркер.

Маркеры второй группы отнюдь не всегда лишены самостоятельного значения. Они не только обладают той же материальной формой, что и соответствующие аффиксы, но и выражают тот же круг значений. Только в отличие от других членов «своей же» морфемы маркеры вступают в соединение с уникальными связанными корнями (квази-морфами). Вероятно, в каждом языке можно сопоставлять поэтому серии регулярных форм с аффиксами и единичные образования с маркерами, ср. англ. *might* «мощь» — *mighty* «мощный», *greed* «жадность» — *greedy* «жадный», но *pretty* «хорошенький» со связанной основой *prett-*; ср. нем. *traurig* «грустный», *fleißig* «прилежный», *kräftig* «мощный», но *fertig* «готовый», тоже со связанной уникальной корневой единицей, квази-морфом. Конкретное деривационное значение выступает у маркера по сравнению с коррелятивным ему аффиксом в ослабленном и отчасти стертом виде, тем не менее маркер не лишен его полностью. Именно по этой причине маркер и позволяет опознавать категориальную принадлежность слова. Особенно отчетливо проявляются эти способности маркеров в пределах небольших, но

¹⁸ Ср.: Н. Н. Амосова, Этимологические основы словарного состава современного английского языка, М., 1956, стр. 67; Е. В. Малишевская, К вопросу о морфологической структуре слова в современном английском языке, «Уч. зап. [ЛГУ]», Серия филол. наук, 48, 1958, стр. 188 и сл.; И. П. Иванова, О морфологической характеристике слова в современном английском языке, «Проблемы морфологического строя германских языков», М., 1963, стр. 209, примеч. 12.

¹⁹ См.: И. А. Мельчук, К понятию словообразования, ИАН ОЛЯ, 1967, 4, стр. 355.

компактных структурно-семантических группировок, где маркер выполняет роль морфологической приметы какого-либо класса слв. Ср., например, ряды первообразных наречий в исландском языке на *-ir*, типа *fyrir* «перед», *yfir* «над; через», *undir* «под», *eftir* «после» и т. п., демонстрирующие, как правило, дефектное членение. Ср. аналогичные ряды предлогообразных наречий в немецком и голландском языках на *-en*, типа нем. *unten* «внизу», *oben* «наверху», *neben* «подле», *gegen* «против», *zwischen* «между»; голл. *buiten* «снаружи», *binnen* «внутри», *samen* «вместе», *boven* «над» и т. п. Наличие маркера упорядочивает указанные ряды и способствует опознанию определенных грамматических разрядов слов.

Как видно на последних примерах, демонстрирующих маркеры третьей группы, маркеры не соотносены здесь ни с каким обычным аффиксом, т. е. вычленены в силу их собственной повторяемости с одним и тем же значением. Маркеры этого типа не столь часты, но и они встречаются в системах различных языков. Ср., например, словообразовательный ряд, включающий обозначения тканей из синтетических волокон, засвидетельствованный во многих языках, типа *нейлон*, *дедерон*, *силон*, *перлон*, *капрон* и т. п. Характеризуя его особенности в русском языке, Р. В. Бахтурина справедливо подчеркивает, что «конечный элемент *-он* (и его морфонологические варианты *-лон*, *-рон*) стал своеобразным семантическим и структурным показателем группы слов — названий синтетических волокон» и что основы этих слов не встречаются в других словах ни в свободном, ни в связанном виде²⁰. Аналогичной интерпретации заслуживает этот элемент и в таких языках, как английский, немецкий или французский. Функционально этот элемент опять-таки эквивалентен аффиксу, но то, что он соединяется исключительно со связанными и уникальными основами, препятствует его квалификации в качестве безусловного аффикса. Налицо снова ограничения дистрибутивного характера, хотя и иные, чем у маркеров первой и второй групп. Ограничения этого рода нередко отражают чужеродность соответствующих образований, т. е. их заимствованный характер. Типичным примером маркеров этого типа может служить, например, англ. *-id*, повторяющееся в заимствованных прилагательных и не имеющее коррелята в виде регулярного аффикса, ср. *stupid* «глупый», *humid* «сырой», *rapid* «быстрый», *solid* «прочный», *valid* «веский» и т. п. Наличие маркера в исландских, голландских и немецких наречеобразных предлогах свидетельствует, однако, что неисконный характер маркера не обязателен.

Из трех выделенных групп маркеров наиболее яркими морфологическими приметами являются маркеры второй группы. Именно эти элементы, коррелятивные аффиксам, демонстрируют, что в ряде случаев информация, связываемая с маркером, идентична той, которая выражена в данном языке регулярными аффиксами. Пример с *глокой куздрой* Л. В. Щербы и аналогичные примеры других лингвистов служат косвенным, но убедительным доказательством того, что морфемная единица, формально совпадающая с аффиксом и занимающая в конструкции одинаковую с ним позицию, неминуемо ассоциируется с этим аффиксом и по значению, а тем самым начинает выполнять роль показателя, т. е. маркера, соответствующих категориальных значений у всей конструкции в целом. О семантической значимости подобных элементов свидетельствуют и опыты американских психологов, экспериментировавших в области опознавания и осмысления незнакомых слов (основ) в окружении известных грамматических (и словоизменительных, и деривационных) примет²¹. Как мы пы-

²⁰ См.: «Словообразование современного русского литературного языка», М., 1968, стр. 226—229.

²¹ Ср.: R. W. Brown, Linguistic determinism and the part of speech, «Journal

тались показать выше, носителями категориальных значений являются и маркеры других групп, так что в целом можно подчеркнуть целесообразность введения этой категории как для описания степеней оформленности слова, так и для описания способов передачи информации в языке.

Интересно, что осознание большей или меньшей семантической нагруженности маркеров сказывается и в расхождениях, возникающих при оценке членимости отдельных форм, и приводит, в частности, к нетождественности решений относительно членимости ~ нечленимости отдельных образований, предлагаемых информантами, с одной стороны, и постулируемых лингвистами, с другой ²².

Введение категории квази-морфов и маркеров позволяет не только уточнить статус разных морфемных единиц в системе языка, но и более адекватно отразить ту семантическую информацию, которая связана с появлением каждой из них. Так, понятие морфа используется для описания единиц, характеризующихся отчетливой сепаратной лингвистической значимостью и обычно выступающих как носители явных и определенных значений. В противовес им понятие корневых квази-морфов вводится для описания единиц, обладающих неясной или низкой семантической значимостью. Наконец, понятие маркеров служит описанию конструкций, оформленность которых меньше, чем оформленность конструкций с безусловными аффиксами, но больше, чем у конструкций, не включающих ни аффиксов, ни маркеров. Категория маркеров способствует, таким образом, описанию таких слов, которые несут в своем составе известную информацию о принадлежности их к тому или иному лексико-грамматическому разряду, но которые выражают эту информацию средствами, по своим дистрибутивным возможностям отличными от регулярных аффиксов.

С помощью указанных понятий можно более объективно описать и конечные составляющие слов, характеризующихся разными типами членимости. Так, слова, обладающие признаком живой морфологической членимости, имеют всегда в качестве своих конечных составляющих м о р ф ы; корневой морф может представлять при этом и свободную, и связанную морфему, повторяющуюся в разном окружении с тем же значением; в случае связанности морфемы, однако, она может быть связанной словоизменительными морфемами (ср. *стекло, куний, писать*). Слова, обладающие признаком условной членимости, представляют собой либо а) конструкции из к в а з и - м о р ф о в (морфологические фразеологизмы), либо б) конструкции из связанных корней и маркеров (связанные корни в этом случае не уникальны). Наконец, слова, обладающие признаками дефектной членимости, содержат в качестве своих конечных составляющих либо уникальный служебный квази-морф, представляя тогда сочетание морфа и маркера, либо уникальный корневой квази-морф, представляя тогда сочетание квази-морфа и маркера (ср. *стеклярус, петух, но брусника, малина*).

По степени членимости все рассматривавшиеся конструкции можно, по-видимому, расположить следующим образом: 1) самым отчетливым свойством разложимости обладают конструкции из одних морфов; 2) за ними следуют слова, обладающие признаками дефектной членимости, имеющие в своем составе безусловный морф и маркер, т. е. слова, выделяющие служебный элемент по отсечению корневого (англ. *children; стеклярус*);

of abnormal social psychology», 55, 1, 1957; S. M. E r v i n, The connotations of gender, «Words», 18, 3, 1962; J. B a r c o, The child's learning of English morphology, сб. «Psycholinguistics», New York, 1961.

²² Ср.: R. S. M e y e r s t e i n, Informant morphemes versus analyst morphemes, «Proceedings of the IX International congress of linguists», 1962, London, 1964.

3) далее располагаются слова, тоже обладающие признаками дефектной членимости и тоже имеющие в своем составе безусловный морф, но сочетающие его не с маркером, а с другим квази-морфом (англ. *cranberry*, нем. *Brombeere*); 4) свойством менее выраженной членимости обладают слова, характеризующиеся условной членимостью и состоящие из повторяющихся связанных корней и маркеров (англ. *deceive*, *receive*, *conceive*); 5) свойством слабо выраженной членимости обладают дефектно членимые слова, состоящие из уникального связанного корня (квази-морфа) и маркера (англ. *jealous*, нем. *fertig*); 6) на грани нечленимости стоят морфологические фразеологизмы.

Если, таким образом, исключить морфологические фразеологизмы, разложение которых происходит по формальным причинам, можно отметить, что членимость слова есть результат вхождения в его состав хотя бы одного безусловного морфа, а оформленность слова — результат наличия в его составе аффикса или маркера. Можно подчеркнуть также, что в строении индивидуальных образований наряду с безусловными морфами принимают участие квази-морфемные единицы, которые определяются как остаточные элементы условно членимых или дефектно членимых форм после выделения в них безусловных морфов. Служебные квази-морфемные единицы (уникальные служебные элементы) и служебные морфы, вступающие в соединение с квази-морфемными единицами, описываются как маркеры. Это позволяет выделить наряду с такими функциональными единицами, как корни и аффиксы, специальную группу морфологических примет, или маркеров. Строгое различение морфов и квази-морфов, с одной стороны, и аффиксов и маркеров, с другой, соответствует системному принципу описания языка и согласуется со стремлением определять каждую единицу по ее положению в целостном единстве. Оно также отвечает формальному требованию описания языка, согласно которому единицы, характеризующиеся в системе языка разным статусом, получают разное наименование.

Итоги настоящей работы, относящиеся к соотношению форм по типам членимости и их конечным составляющим, отражены в специальной таблице.

Характеристика формы в целом	по признаку членимости	членимые			нечленимые
	по типу членимости	безусловно членимые	условно членимые	дефектно членимые	слова-морфемы
	по морфемному составу	конструкции из морфов	конструкции из квази-морфов и морфов		
Характеристика конечных составляющих формы	по их формальной повторяемости	составляющие неуникальны			одно из составляющих уникально
	по структурным особенностям неслужебных составляющих	а) свободные корни; б) корни, связанные флексиями	корни, связанные деривационными элементами	а) любой не-уникальный корень (морф) + уникальный маркер (квази-морф) б) связанный уникальный корень (квази-морф) + маркер (морф)	
	по структурным особенностям служебных составляющих	безусловные аффиксы	маркеры		

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Т. Б. АЛИСОВА

ОПЫТ СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Помимо общих формально-грамматических признаков, отличающих сочетание субъекта с предикатом, т. е. предложение, от непредикативных словосочетаний, существуют формальные грамматические признаки, отличающие одни типы предложения от других. Традиционная грамматика устанавливает два ряда противопоставленных друг другу форм: ряд, различающийся «по степени личности» (личные, одноличные¹, неопределенно-личные, безличные), и ряд, различающийся по «составу» (односоставные и двусоставные). Эти термины, прочно вошедшие в обиход, достаточно однозначны и общепонятны, так что нет смысла от них отказываться. Однако классификация, лежащая в их основе, имеет, как известно, тот недостаток, что формальные признаки не соответствуют содержательным противопоставлениям и объединяют явления, семантически разнородные, а разъединяют однородные. Совершенно очевидно, что классификация по формальным признакам оправдана только тогда, когда каждой формальной оппозиции соответствует содержательное противопоставление, так как различие формы, не поддержанное изменением смысла или отмечающее несущественные смысловые сдвиги, указывает лишь на варианты плана выражения («синонимы», полные или частичные, свободно заменяющие друг друга или обусловленные окружением).

Подобно всем элементам знакового уровня, форма предложения и его членов не находится в однозначном отношении со своим содержанием. Общеизвестно, например, что переходные и непереходные глаголы (в традиционном понимании этих терминов) не отражают никакой четкой смысловой дифференциации предикатов, а за грамматической формой подлежащего может скрываться любая семантическая функция (классическим примером несовпадения формы и функции является пассивная конструкция, где подлежащее соответствует семантическому объекту). Не менее известно также и то, что асимметрия языкового знака делает необходимым раздельное описание структуры плана выражения и структуры плана содержания². Поэтому возникает необходимость чисто формальных определений «означающей» стороны знака, которые для синтаксических структур даются в терминах позиций и замен, окружений знака и его преобразований. Между тем, необходимость в чисто формальных критериях для иден-

¹ Термин «одноличный» обычно применяется для обозначения типа глагольных лексем, а не типа предложений. См.: А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, М., 1938, стр. 333.

² См. по этому поводу интересную статью Н. Д. Арутюновой «О значимых единицах языка», в кн. «Исследования по общей теории грамматики», М., 1968, особенно стр. 93—101.

тификации знаков вовсе не исключает «обращения к значению», и параллельного «содержательного» определения формальных единиц. Более того, только учет содержательной, функциональной стороны знака позволяет определить «направление» трансформаций, установить системные отношения между различными формами выражения одного и того же основного (инвариантного) значения и выяснить природу многозначности (омонимии)³. Таким образом, раздельное описание структуры плана выражения и план содержания следует рассматривать лишь как предварительный технический прием, за которым должен следовать анализ взаимодействия единиц обоих планов. Отправной точкой такого анализа является «определение для данной формы первичной (т. е. главной) и вторичной функций, для данной же функции — первичной (главной) и вторичных форм»⁴. Так, например, форма переходного предиката первична для обозначения активного действия, направленного на объект (*Он схватил мяч*), и вторична по отношению к абсолютному предикату (*Он заболел — Он схватил болельщика*). Функция подлежащего первична для понятия, обозначающего активного производителя действия, и вторична для локатива, объекта действия, инструмента действия и т. п. Естественно, что вопрос о первичности и вторичности синтаксической формы (функции) для каждой конкретной единицы может быть объективно решен только при ее соотнесении с первичными и вторичными формами (функциями) всех прочих единиц того же плана. Такое соотношение можно было бы графически изобразить так же, как это делает Курилович для отдельных слов, т. е. расположить типы функций по вертикали и формальные типы по горизонтали. Однако прежде чем строить эту сетку, необходимо точно определить сами синтаксические единицы плана выражения и плана содержания.

Формальной синтаксической единицей, отмечающей различия в семантике ситуации, является предикативная конструкция, где слова с их лексическими и грамматическими свойствами вступают во взаимодействие и образуют сложный языковой знак, форма и содержание которого не сводятся к простой сумме форм и значений составных частей. Внешняя синтаксическая форма конструкции складывается из позиций именных членов, группирующихся вокруг ее предикативного ядра — личной формы глагола. Исходя из ведущей роли личного глагола в структуре предложения, многие исследователи полагают, что количество и форма именных членов («актантов») задается (управляется) лексико-грамматическими свойствами глагольной леммы⁵, которая в большей или меньшей степени «требует» дополнений в зависимости от степени своей семантической полноты. Как известно, традиционное понятие переходности — непереходности глагола еще А. М. Пешковским и А. Сешез было интерпретировано не формально, а функционально, как наличие или отсутствие необходимой связи между глаголом и его дополнением⁶. Обязательная устойчивая связь между дополнением (в широком смысле) и глаголом вводит в состав его лексического значения обязательный семантический компонент отношения к данному дополнению, называемый обычно «валентностью». Валентности глагола открывают ряд позиций, между которыми существу-

³ См.: Е. Курилович, Заметки о значении слова, в кн.: «Очерки по лингвистике», М., 1962, стр. 250.

⁴ Там же.

⁵ L. Tesnière, *Éléments de syntaxe structurale*, Paris, 1959, стр. 106; А. А. Холодович, Опыт теории подклассов слов, ВЯ, 1960, 1, стр. 38; Т. П. Ломтев, Описание структуры предложения на основе его функционального представления, «Slavia», 1965, 3, стр. 424.

⁶ А. М. Пешковский, указ. соч., стр. 269 и 271; А. Сешез, *Essai sur la structure logique de la phrase*, Paris, 1950, стр. 81.

ет строгая иерархия, установленная «силой управления». Те позиции именных членов, которые как бы «предсказаны» валентными свойствами глагольной лексемы обычно рассматриваются как обязательные и центральные для данного типа конструкции. Позиции, не заданные смыслом предикативного «ядра», признаются факультативными и периферийными.

Вместе с тем, было замечено, что далеко не все обязательные позиции, существенные для формальной и смысловой целостности предикативной конструкции, зависят от валентностей глагольной лексемы, как например, в предложениях *Он намылил мне лицо*, *У него умерла мать*, где смысловые отношения принадлежности между дополнением и подлежащим или между косвенным и прямым дополнением устанавливаются независимо от значения глагола. Этот факт побудил некоторых исследователей рассматривать подобные позиции как типично «предложенческие», в отличие от позиций, заданных глагольной лексемой и относящихся к промежуточному лексико-синтаксическому уровню словосочетаний⁷. Само по себе справедливое, это разграничение не представляется, однако, существенным для определения формально-грамматических типов предикативных структур, так как лексические валентности как явление словаря отражают лишь наиболее частотные комбинации данной лексемы, точно так же, как морфологическая парадигма глагольных форм содержит лишь «самое отвлеченное и обобщенное значение» и «практически отвлекается от наиболее привычных, частых случаев их синтаксического употребления»⁸. В составе предложения как морфологические, так и лексические элементы языковой системы уточняют и конкретизируют свои возможности, обнаруживая подвижность знака по отношению к означаемому и зависимость формы и значения части от структуры целого. Так, для целого ряда глаголов (количество их резко меняется от языка к языку) значения переходности или непереходности вообще не закреплены за глагольной лексемой и определяются лишь в конкретном предложении, в зависимости от присутствия или отсутствия прямого дополнения: итал. *La carta brucia — Io brucia la carta* (ср. в русском: *Бумага горит — Я жгу бумагу*). Сравнивая такие конструкции, как *Он несет самый тяжелый чемодан* и *Он несет чемодан на станцию*, мы никак не можем сказать, что глагол *нести* имеет в обоих случаях одни и те же валентности, или что позиция обстоятельства места назначения для конструкции с глаголом «нести» периферийна и факультативна, так как в этих двух предложениях перед нами два разные по смыслу и по форме предиката, отличающиеся друг от друга только наличием или исключением позиции обстоятельства (в первой фразе валентность направления отсутствует как несущественная). Все эти соображения отнюдь не опровергают того общепризнанного факта, что глагольное сказуемое является конструктивным центром предложения, отражающим, как в фокусе, наиболее существенные смысловые связи подлежащего. Однако эта «организующая» функция глагола не «активна», и такие термины, как глагольная лексема «задает количество позиций» или «управляет» тем или иным дополнением, представляются не очень удачной метафорой.

Исходя из «предложенческого» понимания управления как двусторонней семантической связи глагола и его дополнения (в широком смысле), следует уточнить также понятие «периферийности» позиции и определить

⁷ См.: Н. Ю. Шведова, Детерминирующий объект и детерминирующее обстоятельство как самостоятельные распространители предложения, ВЯ, 1964, 6, стр. 77 и сл.

⁸ Н. Ю. Шведова, Парадигматика простого предложения в современном русском языке, в кн. «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967, стр. 12.

хотя бы в рабочем порядке те признаки, по которым какой-либо член конкретного высказывания будет исключен как «периферийный» из состава элементарной предикативной конструкции (т. е. из состава собственно простого предложения).

Принято считать, что одним из признаков периферийности позиции является полное, точнее, почти полное, отсутствие взаимной обусловленности между семантикой предиката и наличием или отсутствием данной позиции. Вместе с тем, эта связь все же существует и вряд ли можно обнаружить такой член предложения, который был бы полностью «непредсказуемым» и «неуправляемым». Раз это так, отсутствие данного факультативного члена предложения не дает оснований считать его позицию отсутствующей, а слабую валентность, направленную на эту позицию в предикате, полностью погашенной. Таким образом, грань между «обязательной, но не обязательно замещенной» позицией и позицией «периферийной» стирается. Действительно, полностью «моновалентны», очевидно, только предикаты абсолютного признака, не ограниченного во времени. Семантический компонент ограниченности во времени, связанный с видовыми оттенками начала и конца, уже в той или иной мере предполагает пространственную, причинную или объектную конкретизацию и вводит в состав семантики предиката соответствующие валентности, которые открывают более или менее обязательно заполняемые позиции: *Он красный — Он покраснел от злости, Я его вижу — Я его увидел в саду, Он много читает — Он прочел эту книгу*⁹.

Казалось бы, что обязательные позиции существенны для определения формальных признаков «простой» конструкции, периферийные же позиции вообще не должны учитываться при формальной классификации элементарных предикативных структур как не способные характеризовать одну конструкцию в отличие от другой. Однако противопоставление предикатов статических (не ограниченных во времени) и не открывающих обстоятельственных позиций, предикатам динамическим (ограниченным во времени), имеющим большую вероятность распространения обстоятельствами причины и места, показывает, что приведенное выше определение неточно.

Определение периферийных позиций как «семантических», т. е. непосредственно и однозначно связанных с семантической функцией (именем которой и называются эти позиции: «обстоятельство цели, причины, места, времени»), а обязательных, центральных позиций как «грамматических», способных соотноситься с разнообразными семантическими функциями и поэтому «не определяемых с точки зрения семантики»¹⁰, также не следует понимать абсолютно. Дело в том, что «грамматические позиции», непосредственно связанные со значением глагольной лексемы, вовсе не «изофункциональны», как полагает Е. Курилович, так как количество семантических функций, покрываемых той или иной обязательной позицией, различно. Чем меньше функций имеет синтаксическая форма (позиция), тем более она «семантична», так что признак «семантности» не противопоставляет все обязательные позиции периферийным.

Из предыдущих определений явствует, что периферийные позиции всегда «семантичны», и что замещение их факультативно. Однако оба эти признака могут принадлежать также и обязательным позициям.

Очевидно, основное различие между периферийными и центральными (в том числе и не обязательно замещенными) позициями следует искать

⁹ См.: S. Karcevskii, L'idée du procès dans la langue russe, CFS, 1956, 14, стр. 25, где указывается, что перфектная форма не допускает абсолютного употребления переходных глаголов.

¹⁰ Е. Курилович, Проблема классификации падежей, в кн. «Очерки по лингвистике», стр. 183—188.

в характере их связи с предикатом. Первые, как замечает А. М. Пешковский, «выражают не внутреннюю связь, а простое сопровождение действия или состояния одного субъекта таким же действием или состоянием другого»¹¹ (добавим, или того же самого субъекта, например: *Он пришел печальный*). Это «простое» совмещение (т. е. локальное и временное совпадение) двух признаков одного или разных субъектов может быть осложнено так называемыми «логическими» отношениями причинной, целевой или последовательной связи, которая обычно объединяет два самостоятельных предложения. Другими словами, конструкции с периферийными позициями представляют собой результат конденсации¹² двух предикатов, один из которых сохраняет первоначальную форму и значение, а другой теряет самостоятельные показатели предикативности (интонацию и грамматические формы лица, времени и наклонения), но всегда может быть развернут в полную предикативную конструкцию, сохраняющую с первой те же «логические» (т. е. семантически нагруженные) отношения причины, уступительности, цели, предшествования, или одновременности. Таким образом, к обязательному признаку «семантичности» периферийных позиций добавляется их способность быть замещенными развернутыми предложениями. Только при наличии этих двух признаков позиция может рассматриваться как периферийная, а конструкция, ее содержащая, как сложная. С этой точки зрения позиция дополнения агента при пассиве, в отличие от позиции причины, должна быть отнесена к обязательным, но не обязательно заполняемым, так как, хотя она и «семантична», ее развертка в отдельную предикативную конструкцию невозможна. В то же время, дополнительные предложения при глаголах *dicendi, putandi, sentiendi, voluntatis* занимают по отношению к предикату модуса¹³ не периферийную, а обязательную позицию, не имеющую никаких «логико-семантических» характеристик. Следует учесть, однако, и переходные случаи, например, при глаголах аффекта (психической и физиологической реакции), где дополнение (или дополнительное предложение) может интерпретироваться как обстоятельство причины: *Я рад, огорчен, что (потому что) он пришел*.

Итак, за элементарную предикативную единицу плана выражения принимается «простая» конструкция, основанная на отношениях «обязательной» взаимосвязи ее частей.

Функцией простых конструкций («простых предложений») является обозначение элементарных семантических ситуаций, которые определяются как наиболее общие типы координации понятий, лежащие в основе всех синтаксических структур языка¹⁴.

Эти предшествующие языковому выражению стандартные ассоциации понятий, с одной стороны, отражают и интерпретируют внеязыковое объективное «положение вещей», с другой же стороны, сами отражаются и объективируются в простейших («ядерных») синтаксических структурах, перечень которых должен явиться одновременно описанием и перечислением семантических ситуаций. Вся проблема сводится, таким образом, к тому,

¹¹ А. М. Пешковский, указ. соч.

¹² См.: Ш. Балли, *Общая лингвистика и вопросы французского языка*, М., 1955, § 152, стр. 112.

¹³ Субъект и предикат модуса (говорящий и его отношение к предмету речи) и субъект и предикат диктума (предмет речи и его признак) сосуществуют в любом высказывании, так что их раздельное выражение в виде «главного» и «придаточного» предложений не делает высказывание более «сложным», а лишь представляет в аналитической (эксплицитной) форме их взаимосвязь; см.: Ш. Балли, указ. соч., § 32, 33, стр. 46—47.

¹⁴ См.: В. Г. Гак, *Проблемы лексико-грамматической организации высказывания*. Докт. диссерт., М., 1967, гл. II, § 2.

какие единицы следует признать прообразами простейших семантических структур и по каким признакам они должны быть отобраны. Очевидно, для того чтобы получить предикативные лексемы, значение которых будет отражать лишь наиболее общие семантические типы субъектно-предикатных отношений (соотношений между предметными понятиями), необходимо максимально «освободить» сказуемое от конкретных сем. Право на подобный прием дает нам сам язык, способный или представить комбинацию сем в лексеме в виде сочетания отдельных слов или вообще устранить из сообщения конкретные семы, очевидные из внелингвистической ситуации. Естественно, что при замене конкретных (синтетических) лексем их аналитическими эквивалентами или словами-заместителями глаголы, в которых реализуются наиболее общие (категориальные) значения, будут повторяться. Известно, что максимальная частотность слова в речевой цепи (независимо от характера текста), является безошибочным показателем строевой (т. е. формообразующей) функции данного слова в системе языка¹⁵. В европейских языках в роли таких строевых глаголов, значение которых отражает семантическую («внутреннюю») форму предикативной конструкции, выступают глаголы *быть*, *иметь* и *делать*. В первичных («свободных») условиях своего употребления глаголы *быть*, *иметь* и *делать* соотноствуются трем общим семантическим классам субъектно-предикатных отношений — присущности, соотносительности и каузации, которые выделяются Ш. Балли в «Общей лингвистике» (стр. 121—125). Так, глагол *être* Ш. Балли считает выразителем категориального значения, общего всем предикатам присущности (т. е. абсолютного признака): *marcher* = *être en marche*; *boire* (*habituellement*) = *être un buveur* и т. п. глагол *être* + прер. + *N* и глагол *avoir* + *N* рассматривает как два формальные варианта парадигмы предикатов соотношения, а глагол *faire* ставит во главе парадигмы предикатов каузации, разбивающейся на три подкласса: каузацию бытия (*faire* + *être* = *créer*), каузацию абсолютного признака (*faire* + *être blanc* = *blanchir*) и каузацию соотношения в двух его вариантах (*faire avoir* = *donner*, *faire être dans, sur* + *N* = *mettre*). Предикаты присущности имеют моновалентную структуру, так как характеризуют семантический субъект в его абсолютном проявлении, соотносительные предикаты бивалентны, так же как и предикаты каузации бытия или каузации абсолютного признака, предикаты каузации соотношения тривалентны, и, наконец, употребительные в романских языках предикаты двойной каузации соотношения тетравалентны. Каждая из этих структур имеет свой строевой глагол, отражающий данную координацию понятий в наиболее общем виде, так что в число «фундаментальных» глаголов, возглавляющих парадигматические ряды предикатов (и тем самым простых конструкций в целом) следует включить также глаголы *давать*, *класть* и др.)¹⁶.

Принимая за основу структурно-семантическую классификацию простых конструкций (предложений), изложенную у Балли, мы позволим себе, ради полноты описания, внести в нее три уточнения.

1. Абсолютные предикаты целесообразно разделить на два класса по признаку расчлененности — нерасчлененности представления о субъекте и о его признаке. В том случае, если понятие о признаке семантически не противопоставлено понятию о субстанции, возникает семантически авалентная структура, первичной формой выражения которой является

¹⁵ См.: G. Gougenheim, A. Sauvageot, *L'élaboration du français fondamental*, Paris, 1964, стр. 144.

¹⁶ Само собой разумеется, что ограничение количества «строевых» глаголов чисто условно. Любой другой глагол каждой парадигмы, достаточно частотный и обобщенный, может рассматриваться как «строевой».

авалетная модель (лат. *pluit*, русск. *моросит*). Семантически диффузный субъекто-предикат, обозначающий главным образом явления природы, время, погоду, может скрываться за внешне моновалентными («личными») моделями, например, *дождь моросит, ветер дует, снег идет, es regnet, il pleut*, где его можно легко обнаружить благодаря семантической «пустоте» или семантической избыточности одного из членов конструкции (в слове *моросит* уже содержится понятие «дождь», а в слове *дует* понятие «ветер»).

2. Предикаты соотношения (назовем их просто относительными) с непереходной моделью обычно противопоставлены предикатам с переходной моделью по признаку конкретно-локального контакта и не конкретно-локального, т. е. социального, морального, физиологического и другого, свойственного только одушевленному существу, контакта.

3. Все абсолютные и относительные предикаты делятся внутри своих парадигматических рядов еще по двум основаниям. Первое из них — признак неограниченности во времени (статичности) — ограниченности во времени (динамичности); статичные предикаты не отвечают на вопрос «когда?», как, например, в таких фразах, как *дом высокий* или *у него есть дом, он владеет домом*, в отличие от динамических предикатов, открывающих свободное «место» для временных уточнителей. Второе основание — признак неактивности — активности, по которому делятся только предикаты, соотнесенные с одушевленным субъектом (при неодушевленном субъекте это противопоставление нерелевантно). Активные предикаты отвечают одновременно на два вопроса «зачем?» и «что делает?», в отличие от неактивных предикатов, делающих подобные вопросы неуместными, как например, фразы: *Он видит собаку, Он живет на улице Горького*. Другими словами, семантический компонент активности интерпретируется как целенаправленное (т. е. зависимое от воли и намерения) усилие лица. Присутствие компонента активности открывает, как уже указывалось, факультативную позицию обстоятельства цели. По признаку неактивности — активности различаются динамичные локальные предикаты типа *Андрей пошел к врачу* и *Андрей пошел ко дну*. Предикаты нелокального («объектного») контакта, противопоставленные по этому признаку, образуют группы предикатов восприятия, психической реакции и модальной оценки, с одной стороны, и предикатов каузации со всеми их вариантами, с другой (*Он видит, понимает, предполагает что-то — Он строит, красит, кладет, дает что-то*). Таким образом, общее количество дифференциальных семантических компонентов, из которых складывается фундаментальная семантическая структура предикатов и по которым предикаты противопоставлены друг другу, по-видимому, исчерпывается следующими парами, 1) нерасчлененность — расчлененность понятий о субстанции и о ее признаке; 2) абсолютность — относительность; 3) статичность — динамичность; 4) активность — неактивность; 5) локальность — нелокальность контакта.

Из комбинации этих дифференциальных признаков образуются следующие семантические типы предикатов, которые можно рассматривать как «простые» на основании их соотнесенности с «простыми» конструкциями плана выражения: (а) предикат абсолютный статический: *Этот человек высокий; Мой отец — инженер; Окно открыто*; (б) предикат абсолютный неактивный: *Этот человек вырос; Мой отец стал инженером; Окно открылось*; (в) предикат абсолютный динамический активный: *Он ест, работает, встает* и т. п.; (г) предикат относительный локальный статический (отношение местонахождения): *Снег лежит на земле; Снег покрывает землю*; (д) предикат относительный локальный динамический неактивный (непроизвольное направленное движение): *Он упал на землю*; (е) предикат относительный локальный динамический активный (произ-

вольное направленное движение): *Он пошел к врачу; Они достигли вершины*; (ж) предикат относительный нелокальный статический (отношения принадлежности, необходимости): *У него есть сын; Ему нужны деньги; Он имеет деньги*; (з) предикат относительный нелокальный динамический неактивный (отношения восприятия и психической реакции): *Он видит, понимает, любит что-либо; Ему нравится кажется что-либо*; (и) предикат относительный нелокальный динамический активный (отношение «каузации бытия», т. е. отношение агента-производителя к производимому объекту): *Он рисует картину; Она шьет платье*.

Объединение в одном предложении двух признаков одного и того же субъекта образует «сложную» конструкцию, где один из предикатов занимает периферийную позицию (например, $b_1 + a_1$ — *Он спит одетый*, или $v_1 + r_1$ — *Он ест в кухне*).

Однако сочетания двух признаков предметных понятий — субъекта и объекта — могут образовывать «простую» семантическую структуру, когда значение сочетания этих признаков не равно сумме смыслов каждого из них, взятого отдельно, и поэтому не может быть выражено, согласно норме данного языка, в виде сочетания двух автономных предикатов, связанных «логическими» отношениями (исключение составляют каузативные предикаты с обстоятельством причины в позиции подлежащего). Сплетение признаков субъекта и объекта образует такие «простые» семантические структуры, как, например, $(ж_1 + a_2)$ — *У него болит голова*; $(ж_1 + d_2)$ — *Ему вода попала в ухо*; $(з_1 + a_2)$ — *Он считает ее красивой*; $(и_1 + a_2)$ — *Она зашивает платье*; $(и_1 + b_2)$ — *Он поднимает гирю*; $(и_1 + v_2)$ — *Врач велел ему встать*; $(и_1 + r_2)$ — *Он положил книгу на стол*; $(и_1 + r_2 + ж_2)$ — *Он засунул ему в рот конфету*; $(и_1 + d_2)$ — *Он его повалил на землю*; $(и_1 + e_2)$ — *Он пригласил его к себе*; $(и_1 + ж_2)$ — *Он ему дал что-либо*; *Он у него взял что-либо*; *Он его лишил чего-либо*; $(и_1 + з_2)$ — *Он ему сказал что-либо*; *Он у него спросил что-либо* и т. п.

Дифференциальные семантические признаки и их комбинации, образующие «простые» семантические структуры, имеют, скорее всего, универсальный характер и могут служить в качестве инвариантов при сопоставлении языков. Напротив, формы выражения смысловых структур не только не совпадают в разных языках, но и варьируются внутри одного языка. Однако анализ частотности совмещения форм и смыслов «простых» предложений данного языка позволяет установить первичные («прямые») и вторичные («переносные») значения для каждой конструкции, и, соответственно, первичные формы и менее частотные варианты выражения для семантических структур. Все первичные формы соответствуют семантико-грамматическим классам «простых» предложений, противопоставленных друг другу в плане содержания по одному или нескольким дифференциальным признакам, перечисленным выше. В свою очередь вторичные формы данной семантической структуры могут противопоставляться ее первичной форме по любым содержательным признакам, кроме основных пяти. Поэтому предложения *Он заболел* и *Он схватил мяч* принадлежат к разным семантико-грамматическим классам, а *Он заболел* и *Он схватил болезнь* соотносятся как первичная форма и экспрессивно обусловленный вариант («трансформ») одного класса. Конкуренция синонимичных конструкций возможна и среди первичных форм. В этом случае одна семантическая структура формально противопоставлена другой набором своих первичных моделей (ср. *Я имею что-либо* = *У меня есть что-либо*, но только: *Я делаю что-либо*).

ИЗ ИСТОРИИ СТИХОВЕДЕНИЯ

ВЗГЛЯДЫ В. Я. БРЮСОВА НА ЯЗЫКОВУЮ ПРИЕМЛЕМОСТЬ СТИХОВЫХ СИСТЕМ И СУДЬБЫ РУССКОЙ СИЛЛАБИКИ (ПО РУКОПИСЯМ 90-х ГОДОВ)¹

Публикуемый нами ниже «Очерк истории русского стиха и рифмы»² — самое подробное из известных брюсовских изложений развития русского стихосложения (в «Науке о стихе» и «Основах стиховедения» стих описывался не исторически, а синхронно). Особенно интересным представляется более подробный раздел о рифме, где взамен традиционной и продержавшейся до нынешнего дня априорной классификации рифм на бедные и богатые, редкие и банальные предложено функциональное представление о роли рифмы в конкретном контексте³.

Однако наиболее неожиданной и требующей специального комментария является в «Очерке» брюсовская концепция русского силлабического стиха. О том, что силлабический стих «доступен» русскому языку ничуть не менее, чем силлабо-тонический, Брюсов печатно заявил еще в 1900 г.⁴, но жанр предисловия, вынуждая его к лапидарности, тезисности высказываний, не позволил сколько-нибудь аргументировать эту мысль. А поскольку за нею следовало еще более парадоксальное утверждение, что обе эти системы русскому языку «чужды», то взгляды Брюсова на русскую силлабику и на общую проблему языковой приемлемости стиховых систем остались загадкой⁵ и не поколебали господствующего мнения о том, что силлабический стих противоречит закономерностям русского языка⁶.

¹ Все цитируемые и упоминаемые далее рукописи Брюсова хранятся в ф. 386 Отдела рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. Ссылки на них будут даваться в тексте с указанием через точку номера картонки и единицы хранения. Номера листов всюду даются по архивной, а не по авторской нумерации.

² «Очерк» должен был составлять вторую, историческую часть главы «Стих» для «Истории русской лирики», см. о ней: С. И. Г и н д и н, «История русской лирики» — неосуществленный замысел Валерия Брюсова, «Вопросы литературы», 1970 (в печати). По положению в черновой тетради № 26 может быть датирован октябрём 1896 г. В той же тетради находятся черновик первой, теоретической части главы (3.6, лл. 9, 17 об. — 19) и ранний, значительно более краткий, чем «Очерк», вариант исторической части «История стиха» (3.6, лл. 19 — 19 об.), использованный нами в примечаниях.

³ Эта функциональная трактовка рифмы была впоследствии развита в «Ремесле поэта» и «Miscellanea», см.: В. Я. Б р ю с о в, Избр. соч., 2, М., 1955, стр. 310—311, 540, а также: «Москва», 1920, 4.

⁴ В. Я. Б р ю с о в, О русском стихосложении, в кн.: А. Д о б р о л ю б о в, Собр. стихотворений, М., 1900, стр. 11 (далее сокращенно: ОРС).

⁵ Двух других загадок ОРС мы касаемся в статье: С. И. Г и н д и н, Брюсовская семантическая теория народного стихосложения и развитие русского стиха на рубеже XIX—XX веков (в печати).

⁶ См., например: Л. В. П у м я н с к и й, Кантемир, Тредиаковский, в кн.: Г. А. Г у к о в с к и й, Русская литература XVIII века, М., 1939, стр. 63, где наряду с предвосхищенной Брюсовым в «Очерке» мыслью, что силлабический стих «слабо отделял стихотворную речь от прозаической», читаем, что из-за подвижности русского ударения силлабо-тоники в России более «национальна», чем силлабика.

Публикуемый «Очерк» показывает, что высказывания о силлабике в ОРС не были фразой, предназначенной для эпатирования академического стиховедения, но опирались на многолетние раздумья. К известному из ОРС тезису о «доступности» силлабики русскому языку «Очерк» добавляет указание на некоторые конкретные социальные и внутрилитературные причины крушения русского силлабического стиха. Особенно важно, что вторая, внутрилитературная причина имеет собственно-стиховой характер, ибо верная мысль (развиваемая, например, Л. И. Тимофеевым и В. С. Баевским), что победа силлабо-тоники определялась ее связью с новой лексикой, синтаксисом, интонациями, не объясняет, почему эта лексика и интонации не могли найти выражения в старой, силлабической системе.

Вместе с тем не может не вызвать удивления содержащееся в «Очерке» утверждение о том, что правильно угаданная Кантемиром сущность силлабического стиха состоит в «чередовании пезура». Чтобы понять его смысл, а также то, на какое общее представление о проблеме «язык и стих» опиралась брюсовская трактовка силлабики, нам придется обратиться к другим брюсовским стиховедческим рукописям 90-х годов.

Ставя одной из задач своей поэтической деятельности планомерное обновление самого языка поэзии⁷, Брюсов не мог не задуматься и над обновлением стихосложения, позднее он сам напишет: «Но неужели же существовавшее до сих пор стихосложение — такое совершенство, что ему некуда идти вперед? (...) неизменность стихотворной техники была бы неподвижностью труп»⁸. Желая же подвести под обновление стихосложения теоретическую базу, Брюсов неизбежно должен был обратиться к проблеме «язык и стих». И действительно, за вычетом рассуждений о рифме и о «движении стиха», все стиховедческие начинания Брюсова второй половины 1890-х годов⁹ суть как бы последовательные варианты одной и той же работы о том, каково же истинное русское стихосложение, отвечающее духу и строю русского языка (последним и единственным печатным вариантом этой работы суждено было стать ОРС, которая, однако, отражает итоги брюсовских стиховедческих исканий очень неполно¹⁰). Поэтому, хотя в общем виде Брюсов проблему языковой приемлемости стиховых

⁷ «Что, если бы я вздумал на гомеровском языке писать трактат по спектральному анализу? У меня не хватило бы слов и выражений. То же, если я вздумал на языке Пушкина выразить ощущения *Fin de siècle*!» — В. Я. Брюсов, Дневники, М., 1927, стр. 13 (запись от 22 марта 1893 г.).

⁸ В. Я. Брюсов, Ответ г. Андреевскому, «Мир искусства», 1901, 5, стр. 246.

⁹ Вот перечень этих работ: 1) упомянутая выше глава «Стих» для «Истории русской лирики», октябрь 1896 г.; 2) очерк «К вопросу о стихосложении» для сборника статей «Литературные опыты, осень-зима 1897—1898 гг. — 3.13, лл. 45—47; 3.14, лл. 13, 21—23 об.; 3.18, лл. 4—8 об.; 3) глава «Стих» или «О стихе» для «Учебника стиховорства», конец лета и осень 1898 г. — 3.20, лл. 3—4 об. и сл. (план «Учебника» — 3.20, л. 2 об. — опубликован с небольшими неточностями в кн.: «Литературное наследство», 27/28, М., 1937, стр. 492—494; более подробный план с пунктами «Русский народный стих» и «Новый стих» см. 3.20, задний форзац); 4) статья «Русское стихосложение» для временника «Знамя» — конец лета и осень 1898 г. (3.20, лл. 25—29 об.) и начатая тогда же работа «Народное стихосложение. Подробная статья» (там же, лл. 34—36 об., 42 об.); 5) законченный текст статьи «Русское стихосложение» для «Знамени» — осень 1898 г. (3.21, лл. 16 об. — 24). Главки о стихе в ранних вариантах книги «Я и Лев Толстой» (будущее «О искусстве») самостоятельного значения не имеют.

¹⁰ Статья в «Знамени» не была опубликована (об этом несостоявшемся сотрудничестве см.: В. Я. Брюсов, Дневники, стр. 40, 50—52, 58) и для публикации в качестве предисловия Брюсову пришлось подвергнуть ее сильному сжатию. В архиве Брюсова хранятся черновой автограф (3.22, лл. 7—8 об. и 27—28, после 11 февраля 1899 г.) и неполный наборный экземпляр ОРС (среди материалов А. Добролюбова), а также экземпляр самой книги с пометками, сделанными в 1938 г. А. Добролюбовым, который, строго отнесясь ко многим собственным стихам и предисловию И. Коневского, полностью одобрил статью Брюсова.

систем не ставил, мы имеем возможность судить о его взглядах на нее по тому, как определялась приемлемость тех или иных конкретных систем для русского языка. Уже в главе для «Истории русской лирики» указывается, что из четырех систем (силлабическая, тоническая, метрическая и система русского народного стиха) для русского языка неприемлема только метрическая: «Русские гласные не имеют свойства долготы и краткости, поэтому нам доступны только три из указанных форм, но доступны они вполне» (3.6, л. 9; ср. также 3.20, л. 26 об.). Таким образом, языковая приемлемость ставится Брюсовым в прямую зависимость от того, имеется ли базисное противопоставление данной стиховой системы в данном языке как функционально значимое¹¹.

Очевидно, приемлемых для данного языка систем может быть очень много. Дальнейшая судьба систем ставится Брюсовым (в конкретном случае русской силлабики) в зависимость уже не от языковых, но социальных и внутрилитературных причин. Соответствующее общее понятие (которое можно было бы назвать «литературной пригодностью» стиховой системы) им не формулируется, но высказывается соображение об одном из факторов, определяющих такую пригодность: «единообразное¹² стихосложение обычно одерживает верх в отдельных литературах» (3.6, л. 17 об.).

Позднее, в первом варианте статьи для «Знамени» появится вошедшее затем в ОРС понятие «чуждости» стиховой системы. Назовем приемлемую и нечуждую для данного языка стиховую систему органичной¹³. Критерием органичности системы стихосложения является для Брюсова ее соответствие началам народного стиха. В многовековой поэтической практике народа из многих приемлемых для данного языка систем стихийно отбирается одна наиболее ему присущая, органическая: «Двух ответов быть не может: наше родное стихосложение — это народный стих» (3.20, л. 27; ср. ОРС, стр. 12).

Из того же, что Брюсов призывал не вернуться к народному стиху, а лишь приблизиться к нему¹⁴, следует, что органичность есть понятие относительное и между чуждыми системами и органичной системой народного стиха может быть целый ряд ступеней.

Понятно, что задавшись целью выяснить природу русского стихосложения, Брюсов не мог пройти мимо единственного в то время самой историей поставленного эксперимента — смены русской силлабики силлаботоникой. Интерес этот подкреплялся непосредственным знакомством с поэзией XVIII в. и ее изучением для «Истории русской лирики».

Первая из известных нам работ Брюсова о стихе — «Второе примечание» к поданному им Л. И. Поливанову сочинению «На зависть и гор-

¹¹ Заметим от себя, что система, в которой стиховые ряды вычлениются, но не соизмеряются, т. е. та, где есть «стих», но нет «ритма», — типа свободного стиха или «интонационно-синтаксического стиха» (В. Е. Холшевников, Русская и польская силлабика и силлаботоника, «Теория стиха», Л., 1968, стр. 30) — и где поэтому нет базисного противопоставления, является, согласно такому определению, приемлемой для любого языка.

¹² Имеется в виду ограничение разнообразия вариаций, допускаемых каждым размером, и тем самым более резкое его отграничение от других размеров и ритмически не урегулированной прозы. Развивая эту мысль Брюсова, мы могли бы сказать, что смена русской силлабики силлаботоникой была заменой гибкого, но аморфного размера с системой более жестких, но зато дифференцированных размеров с определенными жанровыми тяготениями.

¹³ Сам Брюсов употреблял также термин «свойственный» (см.: Письмо К. К. Случевскому от 27.V.1899 г., «День поэзии 1963», М., 1963, стр. 251), но этот же термин употреблялся им и для обозначения приемлемости (например, в 3.20, л. 26 об.) и поэтому неудобен.

¹⁴ См.: С. И. Гиндин, Брюсовская семантическая теория...

дость дворян злонравных" (Разбор этой сатиры <Кантемира>)¹⁵ — посвящена как раз силлабическому стиху и уже тут, хотя и в половинчатой форме, Брюсов высказывает известную нам мысль: «Конечно, русский язык несравненно более расположен к тоническому стихосложению, но ему не совершенно чуждо и силлабическое» (4.10, л. 47 об.). Правда, понимает он силлабику довольно странно (что и отмечено на полях вопросительным знаком Поливанова): «...возможность для некоторых слов оставаться безтонными, *atonā*, и составляет душу силлабического стихосложения» (там же), но зато пытается объяснить, почему именно был тяжел стих Кантемира, и предлагает соответствующие «четыре правила, которые, как кажется, могли бы исправить силлабический размер для русского языка. 1) Чтобы ритмическое ударение совпадало с логическим. 2) Чтобы слова, стоящие перед цезурой, имели одинаковое ударение. 3) Чтобы слова, начинающие стих и вторую половину его после цезуры, имели одинаковое ударение¹⁶. 4) Чтобы между ударениями не было более пяти неударяемых слогов»¹⁷ (там же, л. 48 об.).

Вновь обратившись в 1896 г. к проблемам стихосложения¹⁸, Брюсов уже в теоретической части главы для «Истории русской лирики» касается судеб русской силлабики. Понимание того, что такое силлабический стих, поначалу отличается от обычного. Равенство каждых двух последовательных стихов силлабики по числу слогов не представляется ему необходимым: почему бы не использовать, например, строфы, составленные в определенном порядке из стихов с разным числом слогов? Брюсову казалось, что практика новейших французских поэтов (вводивших в 80—90-е годы свободный стих, еще не осознанный Брюсовым как особая система) уже доказала возможность этого. «Пример удачного сочетания разномерных силлабических стихов» он видел в строках Вьеле-Гриффена «*Derrière chez mon père, un oiseau chantait, // Sur un chêne au bois // — Autrefois —*»¹⁹ (3.20, л. 3 об.; см. также 3.13, л. 46 об. и 3.18, л. 5). Желая, очевидно, охватить такие случаи, Брюсов расширяет определение силлабического стиха, подлинная сущность которого состоит, согласно «Очерку», в «однообразном чередовании цезур»²⁰. Это определение совершенно верно и охватывает случаи типа строк Вьеле-Гриффена, если понимать слово «однообразное» в том смысле, что последовательность длин строк (в слогах) между «большими цезурами» может быть не только постоянной (13,13,13,...), но и периодической (например, 10, 5, 2, 10, 5, 2,...)²¹. Но именно от слова «однообразное» Брюсов затем почему-то отказывается и просто говорит, что «в силлабическом» стихе чередуются «цезуры»

¹⁵ О сочинении «Кантемир» см.: В. Я. Брюсов, *Дневники*, стр. 4—5. Не исключено, что возникновением своих стиховедческих интересов Брюсов обязан именно Поливанову. М. А. Цяловский вообще считал, что Поливановская гимназия была для русского символизма тем же, чем Царскосельский лицей — для эпохи Пушкина (ЦГАЛИ СССР, ф. 56, оп. 1, д. 108, л. 4, протокол заседания Кружка памяти Валерия Брюсова от 9.2. 1925).

¹⁶ По-видимому, Брюсов требует тождества по ударениям не первых слов двух полустипий одной строки, а первых слов первых (соответственно, вторых) полустипий соседних строк. Это место отмечено вопросительным знаком Поливанова.

¹⁷ Замечание Поливанова «Почему именно пяти?». Общее его мнение о правилах: «Все это произвольно, ибо не подтверждено примерами».

¹⁸ Этому предшествовал университетский курс Ф. Е. Корша: «Уяснить себе свои взгляды на тоническое стихосложение мне много способствовал курс метрики, который я слушал у проф. Ф. Корша осенью 1895 г. (3.6, л. 33).

¹⁹ F. Vielé - Griffin, *Joies. Poèmes*. (1888—1889), Paris, 1889, стр. 15.

²⁰ Здесь имеется в виду прежде всего то, что Брюсов называл «большими цезурами», т. е. межстиховые паузы.

²¹ Подобные периодические схемы обнаружены недавно в старославянских текстах, см.: А. М. Панченко, Книжная поэзия Древней Руси, в кн.: «История русской поэзии», 1, Л., 1968, стр. 31.

(3.18, л. 4), никак не оговаривая длину промежутков между цезурами²². Тем самым устраняется не только равенство по числу слогов, но и само соизмерение по слогам, слоговой состав стихов оказывается вообще не регулируемым и силлабический стих отождествляется со стихом вообще. Чтобы избежать этого, нужно найти какие-то дополнительные конституирующие признаки силлабики. Таковым у Брюсова неожиданно оказывается ... рифма: «конец каждого стиха обозначается рифмой, которая и помогает слуху улавливать чередования (цезур.— С. Г.). Рифма составляет важную особенность силлабического стихосложения. Верлен ошибался, когда негодовал на это „грошовой украшение“» (3.18, л. 4 об.), «силлабический стих без рифмы обращается в прозу, как только ухо потеряет счет слогов, т. е. место цезуры» (3.13, л. 46 об.), «силлабические стихи без рифмы существуют или т о л ь к о д л я г л а з (стихи французских декадентов), или в чтении особенно искусного декламатора (стихи итальянских трагедий). Иначе они обращаются в прозу» (3.18, л. 4 об.).

Определение силлабического стиха как рифменного (под него подпадает, например, и раешник) просуществовало, однако, недолго. Как только в «Учебнике стихотворства» (конец лета и осень 1898 г.) сформировалась общая концепция стиха как «отдельного» и «целостного» отрезка потока речи (пока еще рядом со старым определением стиха через «чередование какого-нибудь выдающегося элемента»), Брюсов возвращается к более привычному пониманию силлабики²³, по-прежнему считая, что силлабический ритм создается «чередованием цезур», но уже через определенные слоговые интервалы: «Силлабическое стихосложение определяет стих по числу гласных звуков <...>. Большая цезура отмечает, где кончаются стихи — т. е. некоторые целые, находящиеся в определенных отношениях по числу слогов» (3.20, л. 3).

Все эти изменения в определении силлабического стиха не сказались, впрочем, на брюсовской оценке выразительных возможностей русской силлабики. Как раньше находил Брюсов, что «главное достоинство силлабического стиха — его разнообразие. Французский александрийский стих получает самые разнообразные движения в зависимости от содержания. Метрические и тонические стихи гораздо монотоннее» (3.18, л. 6), так же отмечает он и теперь, что «преимущество силлабического стиха в свободе. Он способен принимать самые разнообразные оттенки и может употреблять едва ли не все слова <...>» (3.20, л. 4 об.). В то же время эти достоинства силлабики оборачиваются ее недостатком: чем дальше от жесткой схемы, тем меньше монотонность, но ведь тем ближе и полное отсутствие схемы, аморфность. «Главный недостаток силлабического стиха — его склонность переходить в прозу; он требует очень чуткого уха от поэта» (3.18, л. 6), «силлабический стих, чтобы стать действительно стихом, а не быть рифмованной прозой, требует гораздо больше талантливости и умения от стихотворца, чем, например, тонический» (3.20, л. 4 об.).

Эта диалектическая характеристика полностью распространяется Брюсовым и на русский силлабический стих. Несовершенство его существующих образцов ничего не доказывает: «Если стихи Кантемира неудачны, то ведь столь же неудачны и современные ему тонические вирши Феофила²⁴ Кролика» (3.20, л. 4, а также 3.18, л. 4). «Нет никаких (языковых.— С. Г.) причин, чтобы русский язык не мог пользоваться силла-

²² Правда, перед этим указывается, что «всякий стих основан на п р а в и л ь н о м чередовании» (там же, разрядка наша.— С. Г.).

²³ Характерно, что пока стих определялся по-старому через «чередование», понятие «целостности» стихового отрезка применялось тоже только к «силлабическому стиху» в указанном «разбухшем» понимании последнего (3.13, л. 46 об.; 3.18, л. 4 об.).

²⁴ У Брюсова ошибочно «Феофана».

бическим стихосложением» (там же); «русский силлабический стих был способен к прогрессу, у него есть свои достоинства — своеобразная разнообразность движения и большая свобода, и мы слишком поторопились бросить его» (3. 6, л. 17 об.). Многое в методах и взглядах Брюсова устарело, но изложенная оценка потенциальных выразительных возможностей русского силлабического стиха, столь отличная от обычных упреков в принципиальной «ритмической бедности», «грубоватости»²⁵, представляется, наряду с указанием второй, «внутристиховой», причины его крушения, важным вкладом Брюсова в изучение поворотного момента истории русского стиха²⁶.

С. И. Гиндин

²⁵ Л. В. Пумпянский, указ. соч., стр. 63; С. М. Бонди, Тредиаковский, Ломоносов. Сумароков, в кн.: В. К. Тредиаковский, Стихотворения, Л. 1935, стр. 86.

²⁶ Иной, общетеоретический аспект изучения силлабики намечен Брюсовым в позднейшей неоконченной статье «Несколько мыслей об армянском стихосложении» («Русская литература», 1959, 1).

В. Я. БРЮСОВ

ОЧЕРК ИСТОРИИ РУССКОГО СТИХА И РИФМЫ¹

В истории размеров можно различать следующие периоды.

Первый находится за пределами искусственной поэзии. Это эпоха былин и безыскусственных песен, сложенных совершенно своеобразными размерами, разбирать которые здесь не место. На нашу искусственную литературу — влияние народной поэзии было ничтожно².

Второй период — господство силлабического стиха. В нем можно указать два различных момента: до-Кантемировский и Кантемировский. Силлабический стих до Кантемира был окончательно неуклюж и незвучен. Происходило это оттого, что сущностью силлабического стиха считали одинаковое количество слогов в каждом стихе, а не однообразное чередование цезур. Такая теория мало вредила в тех литературах, где *usus* стиха выработался раньше теории, но у нас теория предшествовала практике и сбила с дороги первых пионеров. Кантемир в значительной мере поправил дело: своим «Письмом», второй редакцией «Сатир» и позднейшими переводами он основал силлабический стих на чередовании цезур; поэтому стих Кантемира представляет громадный шаг вперед сравнительно со стихом, например, Димитрия <Ростовского>³ или Си-

¹ Печатается по автографу (3.6, лл. 25—30). Части слов, недописанные Брюсовым, заключаются в ломаные скобки лишь в случае возможной неоднозначности, в противном же случае восстанавливаются без оговорок. Зачеркнутое Брюсовым воспроизводится (в квадратных скобках) лишь тогда, когда разночтение носит смысловой характер. Заглавие дано нами. — С. Г.]

² Я не имею возможности обосновывать доказательством каждое из моих путных утверждений, но из последующего мой читатель сам поймет, как прихожу я к этому выводу. [Заметим, что в конце 1898 г. Брюсов от этого вывода откажется, см.: С. И. Гиндин, «История русской лирики» — неосуществленный замысел Валерия Брюсова... — С. Г.]

³ [В 1895—1896 гг. Брюсов был склонен полностью отказывать всем силлабистам — предшественникам Кантемира в «таланте и поэтическом чутье» (3.6, л. 17 об.), мотивируя это, в частности, тем, что Кантемир не мог взять у них ни одного примера для ил-

меона Полоцкого. Переходом от одного стиха к другому можно считать силлабический стих Тредиаковского; хотя по времени он позднее Кантемир<а>, но по факт<уре> стиха он ниже его и только немног<о> выше Полоцкого. Однако и Кантемир не освободился от многих других недостатков своих предшественников; — главнейший из них был — полное непонимание благозвучия. — Расположение слов в поэтическом языке подчиняется прежде всего закону благозвучия — этого не хотели или не могли выполнить наши силлабисты. Впрочем, и первые поэты тонического⁴ стиха не исполняли эти требования; особенно грешили в этом отношении второстепенные поэты вроде, например, [Осипова], <В.> Майкова. Поэтому, если наш силлабический стих называют рифмованной прозой, то столь же возможно назвать наш первый тонический стих — рубленой прозой. Однако тонический стих развился впоследствии до красоты пушкинского и до изящества бальмонтовского стиха; это дает нам право предположить, что и силлабический стих, если б ему дана была возможность развиваться, достиг бы в русском языке высокой степени. В самом деле — утверждение, что силлабический стих свойственен только языкам, имеющим ударение во всех словах на одном определенном слоге, — ни на чем не основано, зиждется на непонимании сущности стиха и прямо опровергается примером итальянского языка, где слов⁵ с ударением на слогах 3 и 4 от конца и с ударением на последнем (усеченные слова) гораздо больше, чем слов с ударением на пенultimate⁶. Если имеющиеся у нас образцы силлабического стиха слабы, то лишь потому, что этот стих был у нас насильственно подавлен в самом начале своего развития. Из того, что русские ложноклассические трагедии (Сумароков, Озеров и Княжнин) плохи, еще не следует, что по-русски нельзя написать трагедии с соблюдением ложноклассических правил⁷, которая равнялась бы произведениям Корнеля.

Силлабический стих был оставлен после того, как Тредиаковский⁸ и Ломоносов почти одновременно стали вводить в русское стихосложение тонические размеры⁹. Причин успеха этого нового стихосложения много. Не говоря о причинах внешних, вроде того влияния, которое имело тогда

люстрации своей стиховедческой теории (38.16, л. 1). Но в 1898 г. Брюсов уже указывал, что у св. Димитрия Ростовского «есть прекрасные стихи» (3.20, л. 27). — С. Г.]

¹ [В рукописи стихосложение русской классической поэзии именуется «метрическим», однако, поскольку во всех последующих текстах этой тетради Брюсов сам исправил (карандашом) «метрическое» на «тоническое» и в дальнейшем до конца жизни употреблял этот последний термин, мы сочли возможным произвести указанное исправление и в публикуемом фрагменте, дабы не усугублять терминологической путаницы в нашем стиховедении. — С. Г.]

⁵ [В аналогичном рассуждении в 3.18, л. 4 Брюсов имел в виду уже не слово языка, а слово в потоке речи — со всеми примыкающими к нему проклитиками и энклитиками. См. также 38.34, лл. 2—3. — С. Г.]

⁶ Это столь броса<ется> в глаза, что не раз делались попытки доказать, что итальянское стихосложение не есть силлабическое. Еще в 20-х годах доказывали это и у нас, см. журнал <«Галатея»> 18<30 г.> <ч. XIV> №<17>, статья <Стр. «Об Итальянском стихосложении»>.

⁷ [Заметим, что Брюсов сам собирался написать пять драм в соответствии с поэтикой различных эпох: «5 драм историко-лит<ературно>. Ант<ичная>, Лже<клас<сич>ская>, Ром<анти>ческая», Натур<али>стическая», Симв<оли>стическая» (3.13, л. 60 об. Ко-нец 1897 г.). — С. Г.]

⁸ [Сохранилась также следующая отрывочная заметка о стихе Тредиаковского: «Главный недостаток стихов Тр<едиаковского>, что у него стихи с мужской рифмой и стихи с женской — имеют р а з н ы е цезуры; вот почему читатель беспрепятственно запинается» (41.9, л. 3 об. <1897>)). — С. Г.]

⁹ [В 3.20, л. 27 к двум привычным именам реформаторов русского стиха добавляется имя Хераскова: «Херасков еще школьником самостоятельно сделал попытку писать тонические стихи». — С. Г.]

в России все не м е ц к о е, укажу внутреннюю причину, основывающуюся на самой природе дела. Тоническое стихосложение более резко отделяется от прозаической речи, чем силлабическое. В силлабическом стихе ярким внешним признаком служит только рифма; в тоническом, кроме того, совершенно особое расположение слов. Плохой силлабический стих почти сливается с прозой. Самый плохой тонический уже отличен от нее. Первые наши поэты не умели п о с о д е р ж а н и ю сделать свои произведения поэтическими; — теперь им давался способ с внешней стороны отличить их от прозы. К этому надо прибавить, что тоническое стихосложение казалось т р у д н е е; плохие вирши мог писать почти каждый; напротив, для сложения тонических стихов требовалось некоторое умение и навык. — Вот главнейшая причина, почему тоническое стихосложение одержало у нас верх над силлабическим.

Третьим периодом в истории нашего стиха было время первого утверждения тонического стихосложения от Ломоносова до Державина включительно. Отличительнейшая черта этого периода — формализм. Что было формально правильно — признавалось, хотя бы наперекор естественному чутью звучности и красоты. Число употреблявшихся размеров было очень ограничен(но), умение владеть движением стиха еще в зародыше, благозвучие соблюдалось только немногими лучшими поэтами, да и то в очень элементарной форме, об изобразительности звуков только начинали думать ¹⁰.

Четвертый период — период Пушкинский, в котором надо различать время предшественников Пушкина, время самого Пушкина и его школы и время его последователей — вплоть до Майкова, Полонского. Особую группу среди последователей Пушкина составляют Бенедиктов и Лермонтов, которые, сходные между собой, в довольно многом отлич(ны) от Пушкинской школы. Значительно самостоятелен также стих Баратынского ¹¹. Подробнее этот период и два следующие будут характеризова(тьс)я далее.

Пятый период частью современен четвертому. Я разумею тот особ(ый) стих, который был создан Тютчевым, развивался Фетом и был подхвачен многими современными поэтами — в особенности Фофановым ¹².

В [60-х] 50-х годах наступает одичание русского стиха. Лучшие заветы Пушкинского периода забываются, даже Майков и Полонский как бы теряют свое умение <владеть> с(тихо)м. На протяжении [20] [25] 30 лет развитие русского стиха замирает. И только как заблудившиеся странники мелькают одинокие фигуры разрозненных пион(е)ров(?). Это Ал. Тол-

¹⁰ [Третий период характеризуется здесь чересчур суммарно. О Ломоносове Брюсов в «Истории стиха» писал, что тот «один сумел придать некоторую индивидуальность своему ямбу» (3.6, л. 19). К концу 1897 г. особое внимание Брюсова начинает привлекать стих Хераскова, первым поставившего «форму стиха на то место, которое она заслуживает» (41.13, л. 2 об.). «В XVIII в. он лучше всех владел стихом; [правда, его стихи однообразны и иногда противоречущи (т. е. изменяют свою мелодию)]. Его стих выдержан — у него много вкуса — Державин часто прилеплял два стиха для рифмы, у Державина» есть целые поэмы, написанные такими двустушиями, а у Хераскова строфа всегда нечто целое» (41.13, л. 20 об.); «благодаря такому версификаторскому таланту Хераскову особенно удавались переложения, т. е. произведения, где содержание уже дано» (там же, л. 6). Стих Хераскова «не имеет музыкальности, но почти вс(ег)д(а)» правилен (там же, л. 24). — С. Г.]

¹¹ [Ср.: «... Жуковский вносит новый элемент в стих — мелодичность. <...> Из числа пушкинских поэтов наши самостоятельный стих только Баратынский и Бенедиктов. (Стих Лермонтова) в сущности слияние Пушкин(ского) и Бенедикт(овского)» («История стиха», 3. 6, л. 19). — С. Г.]

¹² [Брюсов имеет здесь в виду дольник, зарождения которого он подробнее касается в статье «О собрании сочинений Тютчева» — «Русский архив», 1898, 10, стр. 255. О своеобразном брюсовском понимании места и роли дольника в ряду других систем русского стихосложения см.: С. И. Г и н д и н, Брюсовская семантическая теория... — С. Г.]

стой, Некрасов, г-жа Павлова. Все они обладают значительным талантом и ориги⟨нал⟩ьн⟨остью⟩. Но те или другие причины не дают им развить его. Вот почему и стих их, очень своеобразный, явлен только в зародыше; утратив многие черты пушкинского, он не выработал того с в о е г о, что чувствуется в нем. Концом этого периода можно считать поэзию Надсона.

Новый, седьмой период начался возобновлением прежних традиций. Далось это не сразу. Мережковский, Минский и их сверстники много потрудились, прежде чем воскресили элементарные требования лучших эпох, хотя еще мн⟨о⟩г⟨ое⟩ оставалось непонят⟨ым⟩, забытым. Эту эпоху можно сравнить с эпохой возрождения, когда идеалы были в прошлом. Но вот является Бальмонт, явление во многих отношениях замечательное. Под вли⟨я⟩н⟨ием⟩ лучших зап⟨а⟩д⟨ны⟩х образцов он находит новые пути русскому стихосложению. Параллельно с <его> деятельностью идет деятельность всех, причастных к обновляющему движению символизма. Начали выясняться ист⟨орические⟩ характ⟨еристики⟩ шестого периода, который еще не сказал своего последнего слова.

Такова схема истории русской метрики. Рассмотрим параллельно вкратце и историю русской рифмы.

Существенную принадлежность рифма составляет для syllабического стиха, где она точнее обозначает место главной цезуры (конец стиха); в то-ническом стихе она, собственно говоря, лишняя и может быть сохранена только в том случае, если придает стиху красоту ¹³. Это не всегда было понимаемо и часто на рифму смотрели, да и смотрят как на что-то необходимое для стиха и поэтому стремятся к одному — чтобы последние слова стиха имели созвучие. Такой взгляд ошибочен; рифма случайная не только не придает красоты стиху, но делается даже неприятной для уха, как пустой перезвон. Отсюда первое требование рифмы: рифмующееся слово не должно быть насильственно притянуто на конец стиха; в таком (т. е. противном. — С. Г.) случае, чем красивее будет рифма, тем неприятнее покажется она. Но законы рифмы не ограничиваются этим требованием. Рифмующееся слово особенно выдвигается в стихе, получает особую силу; поэтому стоять под рифмой должны только слова, имеющие значение, важность; слово, даже естественно стоящее на конце стиха, будет неприятно под рифмой, если на нем нет логического ударения. Вот два закона рифмы. Что касается деления рифм на богатые и бедные, и до осуждения глагольных рифм, то этим правилам придана была излишняя важность. Нет никаких причин, чтобы два срифмованные глагола были хуже, чем глагол, срифмованный с существительным. Произошло ж это требование богатых, рифм из инстинктивного ощущения, что искусственное расположение слов неприятно; когда ж рифмуются два глагола в одинаковой форме (добавим, и два прилагательных или два существительных в одинаковых падежах,

¹³ Брюсов хочет сказать, что в syllабо-тонике существуют другие способы разграничения последовательных отрезков, помимо рифмы, и поэтому рифма в ней не необходима и осмысленна только в том случае, если привносит в стих какие-то собственные дополнительные свойства. Из нижеследующего второго «закона рифмы» явствует, что эти свойства заключаются во влиянии на с е м а н т и к у стиха и слово «красота» охватывает их неполно; в дальнейшем Брюсов от него откажется (3.14, лл. 22—23 об.; 3.20, лл. 23—24). Ср. также следующее высказывание о рифме XVIII в., предвосхищающее недавнюю гипотезу А. А. Леонтьева («Вопросы общего языкознания», М., 1964, стр. 100—101): в XVIII в. «на конце стиха ставят самые случайные слова. Рифма употребляется, только чтобы разделять стихи — в ней самой нет никакого смысла. (Продолжалось это долго. Только в лучших произведениях Пушкина рифма стояла на месте. Прекрасно распоряжается рифмой Бальмонт)» — 41.8, л. 3 об. — С. Г.]

особенно — два существительных, зависящих от одинакового предлога), большей частью мы имеем дело с искусственным расположением слов. Отсюда, согласно с первым (инстинктивно создаваемым) законом рифмы и возникло то, что мы «гнушались рифмой паглагольной»¹⁴.

Определить рифму можно как *с о з в у ч и е* слов, след., рифма существует для произношения, а никак не для правописания. Известно, что это не всегда сознавалось, и старые поэты много грешили в этом отношении, например, рифмуя *ѣ* с *е*¹⁵.

Согласно с таким определением все, что поэту кажется созвучным, будет рифма, хотя бы писались слова и совершенно различно. Но до этого сознания достигли только очень недавно.

Во времена Кантемира стремились рифмовать слова, *б у к в а л ь н о* сходные по написанию. Например, в первоначальной редакции 1-й сатиры Кантемир осмеливался делать только следующие вольности: *е* рифмовать с *ѣ*, *а* с *я*, *ы* с *и*, *о* с *ѣ*, *д* с *т* и с с *з* (*русски — узки*). В первый раз прибавление *й*, как не изменяющее рифму, является только во 2-й сатире (1 редакция): *здравый — нравы*. И вообще, в течение всей своей деятельности Кантемир был очень осторожен в рифмах¹⁶.

Первые наши тонические поэты были много смелее Кантемира, у них все более и более замечается стремление рифмовать *г л а с н ы е* буквы, не обращая внимания на согласные. Это стремление достигает высшей точки в стихе Державина, который исключительно обращал внимание на гласные, рифмуя *царевна — несравненна*, «и» и «», «и» и «»¹⁷. Неприятность этих рифм заставляла оставить их, хотя они еще встречаются в стихах Жуковского и Батюшкова¹⁸.

¹⁴ [В 3.20, л. 44 Брюсов делил рифмы на «образуемые 1) флексиями. Это рифма случайная и потому жалкая. <...> 2) Суффиксами. Рифмы немного лучше, но немногим <?>, ибо иные суффиксы обнимают слишком обширные роды слов. Та <ко>в <ы> рифмы на *-анье*, *-енье*. Другие же хороши, например, на *-ор*. 3) Корнями слова — редкие. 4) Л у ч ш и е — словообразованием одинакового способа. 5) Случайные. Это самые «богатые» и самые неприятные рифмы. Их истинное место в шуточных стихах. Сюда относятся все созвучия русских слов с иностранными». — С. Г.]

¹⁵ Замечу, кстати, что с точки зрения господствующей у нас теории не должно считать рифмой окончания *-кий* и *-ки* (*жалкий — фиалки*): это рифма для глаз. Дело в том, что мягкая гласная изменяет звук предшествующей согласной; в наши дни поэтому не принято рифмовать *исполни* и *вольны* (Кантемир); а звук *кий* произносится *кый*, вот почему это окончание отлично от окончания *ки*. [По той же причине Брюсов считал неудачной тютчевскую рифму *пронеслося — вопроса*, см., например, 3.20, л. 24. — С. Г.]

¹⁶ [Более детальные наблюдения над постепенным расширением круга допустимых рифм в сатире Кантемира см. 41.8, лл. 1—2 об. и 38.16, лл. 13—16. — С. Г.]

¹⁷ [Пропуск в рукописи. В другом месте Брюсов приводит еще один пример державинского созвучия гласных: *сын* и *сын* (41.13, л. 10). — С. Г.]

¹⁸ [Как и в разделе о метрике, Брюсов ничего не говорит здесь о Хераскове, очевидно, он еще просто не знает его творчества. Зато в конце 1897 г., работая над главой о Хераскове для «Истории русской лирики», Брюсов уделил рифме очень большое внимание: «Со времени Кантемира почти никто <...> не задумывался над тем, что такое рифма. Рифмовали вообще слова, похожие друг на друга <...>, очень мало внимания обращали на согласные <...>. Херасков, напротив, выработал для себя определенный взгляд на рифму, которому и следовал <...> до последних работ. Взгляд этот совпадал с мнением наиболее требовательных теоретиков Запада: именно, Херасков считал рифмою полное совпадение всех букв, начиная с ударяемой *г л а с н о й* <...>. В мужских рифмах, кончающихся на гласную, Херасков соблюдал и предыдущую согласную <...>, позволяя себе исключение только в словах на *-ю* и *-я* <...>. В мужских рифмах на двоегласную <—*ѣ*> <...> не всегда считал нужным рифмовать предыдущую согласную <...>. Херасков часто позволял себе роскошь в рифме <...>, строго держась этой теории рифмы для глаз, не обращал внимания на несоответствие произношения, если начертание двух слов одинаково <...>, вообще не позволял себе почти никакой уступки произношению, разве только замену; *с-а*; *д-т*; *ы-и* etc <...>. Даже свободного добавления двоегласной *-ѣ*, что <...> позволяли себе все <...> поэты, Херасков в своих стихах не допускал» (41.13, лл. 10—11). — С. Г.]

С Пушкина начинается противоположное стремление — рифмовать слова на основании сходства с о г л а с н ы х. Высшей своей точки достигло это стремление у Ал. Толстого, который сам писал ¹⁹: «Неударяемые гласные, которые оканчивают рифму, по-моему, совершенно безразличны». Вот почему А. Толстой рифмовал *воды* и *свободу*.

После А. Толстого в мертвый период 70-х годов некому было думать о рифме. Когда же поэзия воскресла в 80-х годах, поэты-виртуозы стали стремиться к рифмам редким, сочным, богатым. Это стремление было еще у Бенедиктова ²⁰, потом у Щербины, в шуточ(ном?) виде у Минаева. Нового дало оно мало. Действительно новый период, видимо, начался только недавно, когда некоторые поэты стали стремиться заменить рифму консонансом.

Такова в общих чертах судьба русского стиха и русской рифмы. Подробности их истории будут указаны в тексте ²¹.

¹⁹ «Вестник Европы», 1895 г., № 10. Переписка А. Толстого.

²⁰ [Брюсов отмечал у Бенедиктова «любовь к иностранным звучным словам» и специально выписал ряд примеров внутренней рифмы (41.17).— С. Г.]

²¹ [Имелся в виду текст последующих глав «Истории русской лирики». — С. Г.]

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

«Current trends in linguistics», ed. by T. A. Sebeok. II. — Linguistics in East Asia and South East Asia. — The Hague — Paris, Mouton, 1967. V — XIX+979 стр.

Рецензируемый том* состоит из двух частей, предвараемых введением издателя. Первая часть включает главы «1. Китай» (стр. 1—500), «2. Япония» (стр. 501—732) и «3. Корея, Монголия, Тибет» (стр. 733—774).

Глава «Китай». Китайский язык изучается во многих странах мира. Настоятельная потребность в периодических обзорах научных трудов по всему китайскому языкознанию в целом ощущается уже давно. Поэтому самое появление II тома издания «Современные течения в языкознании», в котором свыше пятисот страниц предоставлены обзорам по различным разделам китайского языкознания, следует рассматривать как важное достижение современной науки и большую заслугу организаторов этого издания.

Основная цель издания — познакомить широкие круги лингвистов с деятельностью различных региональных школ и направлений за послевоенные годы. Региональный принцип изложения научных проблем неизбежно связан с тем, что одна и та же лингвистическая проблема, изучаемая в разных странах, рассматривается по-разному, в соответствующих региональных разделах. Трудности, вызванные региональным способом изложения, в принципе вполне преодолимы — для этого достаточно разыскать интересующие читателя части в разных региональных разделах. Практически же это не всегда оказывается просто. Читатель, который, например, интересуется современным состоянием исследований по китайскому языку, во II томе узнает об изучении истории китайского языка во многих странах мира, а

также об изучении грамматики современного китайского языка в различных аспектах в Китае. Однако современный китайский язык изучается не только в Китае, но также и в Европе, Северной Америке, Австралии. О состоянии исследований в Западной Европе читатель узнает в начале 1970 г., после того как выйдет из печати IX том, а о состоянии исследований в Северной Америке — в конце 1970 г., после того как выйдет из печати X том. О советских и восточноевропейских исследованиях по китайскому языку ни I, ни II тома никаких сведений не содержат: обзор исследований в советском и восточноевропейском языкознании, чему был посвящен I том, ограничивался проблемами основных языков СССР и стран восточной Европы. Между тем в странах Восточной Европы и в СССР работает значительное число лингвистов, занятых исследованиями современного китайского языка; в частности, в СССР китайский язык изучается во всех аспектах, здесь ведутся основные работы по экспериментальному изучению фонетики китайского языка¹. Специальный обзор языкознания в Австралии в издании хотя и не предусмотрен, но об изучении китайского языка в Австралии сказано в обзоре исследований по истории китайского языка в рецензируемом томе.

Таким образом, из примера обзора китайского языкознания ясно, что в тех случаях, когда исследования ведутся одновременно во многих странах мира, региональный принцип не оправдывает себя. Было бы рациональней, сохранив распределение материала в томах издания по региональному признаку, внутри каждого тома обзоры построить по предметному.

Раздел, посвященный Китаю, состоит из обзоров по следующим темам: истории

* II том «Current trends in linguistics» рецензировали: часть I «Linguistics in East Asia» — М. В. Софронов (главу «China» и раздел «Tibet»), В. М. Алпатов (главу «Japan»), Л. Р. Концевич (раздел «Linguistics in the Republic of Korea»), З. В. Швернина (раздел «The Mongolian People's Republic»); часть II «Linguistics in South East Asia» — Ю. Х. Сирк.

¹ Обзор советских китаеведческих исследований за последнюю половину века см. в кн.: «Советское языкознание за 50 лет», М., 1967, стр. 373—385.

ческое языкознание, дескриптивная лингвистика, диалектология, реформа языка и письменности, языки национальных меньшинств, библиография китайского языкознания. Помимо этого, в разделе, посвященном Японии, имеется специальный обзор японских исследований по китайскому языку.

Обзор по историческому изучению китайского языка, написанный Н. Бодманом, является лучшим в разделе, посвященном Китаю. Изложение здесь построено по предметному признаку, поэтому обзор позволяет составить ясное представление об исследованиях в этой области, проводимых в разных странах мира.

Обзор исследований по истории китайского языка Н. Бодман начинает с 20-х годов XX в. Это вполне оправдано: большинство исследований того времени не устарели до сих пор. Хронологические рамки обзора, может быть, следовало бы раздвинуть еще больше, уже потому, что европейские ученые в своих исследованиях по истории китайского языка часто опираются на достижения китайской традиционной филологии (упоминания о традиционной филологии и ее значении для современного языкознания в обзоре делаются только по конкретному поводу).

Основное место в обзоре отведено исторической фонетике китайского языка, которая разработана лучше остальных разделов исторической грамматики китайского языка.

Основой исследований по исторической фонетике китайского языка является словарь Цеюнь, датируемый 601 годом. Оригинальный текст этого словаря не сохранился; имеются лишь несколько других словарей, созданных на основе Цеюня между 601 и 1011 гг. и известных как словари системы Цеюня. Эти словари представляют собой основные внутренние источники реконструкции древнекитайского языка VI в.² В качестве вспомогательного внутреннего источника реконструкции привлекаются фонетические таблицы XII в., авторство которых приписывается Сыму Гуану³. Внешние источники, с помощью которых была интерпретирована фонологическая система Цеюня, — это данные современных китайских диалектов, а также данные сино-

японского, сино-корейского, сино-вьетнамского чтения китайских иероглифов, отражающих чтение китайских иероглифов в VI—VII в. Реконструкция на основании этих внутренних и внешних источников была проведена Б. Карлгреном в начале 20-х годов.

Наиболее сложной проблемой исторической фонетики китайского языка является реконструкция фонетики так называемого архаического китайского, относящегося к I тысячелетию до н. э.⁴ В распоряжении современной науки находятся древнейшие поэтические тексты, которые могут служить источниками реконструкции. Согласно традиции, они относятся к началу I тысячелетия до н. э. Изучение их рифм позволяет построить приближенную модель вокализма того времени. Эта модель будет «немой»: она выразит отношения между гласными, но не может сказать ничего о самих гласных. Вторым источником являются чтения иероглифов фонетической категории. Здесь исходят из того, что в момент создания иероглифов фонетической категории их чтение не отличалось от чтения самого фонетика. В том случае, если одна и та же фонетическая часть оказывается в составе знаков, передающих слоги с различными начальными согласными, то это означает, что первоначальное чтение фонетика имело стечение согласных.

Достоинства этих источников бесспорны; однако в связи с ними возникают три принципиальных вопроса. Можно ли считать, что рифмы древнейших поэтических текстов действительно относятся к I тысячелетию до н. э., если иметь в виду, что эти тексты были записаны значительно позднее? Можно ли считать, что нам известно время возникновения иероглифов фонетической категории? Можно ли быть уверенным в том, что древние рифмы и иероглифы фонетической категории относятся к одному и тому же периоду истории китайского языка? В зависимости от ответа на эти вопросы датировка реконструкции колеблется в довольно широких временных пределах.

Внутренние источники реконструкции архаического китайского языка неоднородны и неравноценны: древние рифмы являются более надежным источником, чем исследование иероглифов фонетической категории. Синхронных внешних источников реконструкции архаического китайского до сих пор не имеется. Поэтому для интерпретации данных внутренних источников привлекается реконструкция фонетики китайского языка VI в. Строго говоря, это не может быть названо интерпретацией, потому что здесь заведомо нельзя установить соот-

² Термин «древнекитайский язык» для обозначения реконструированного языка Цеюня был предложен Б. Карлгреном. В настоящее время широко распространен также термин «среднекитайский язык» для обозначения того же самого языка Цеюня.

³ См.: T'ung T'ung-ho, Some questions of «Chieh-yun Chih-chang Tu», «Bulletin of the Institute of history and philology [of Academia Sinica]», 1947, XVII.

⁴ Название «архаический китайский язык» предложено Б. Карлгреном. В настоящее время также широко используется название «древнекитайский язык».

ветствие между единицами внутренних и внешних источников. Реконструкция фонетики архаического китайского языка представляет собой скорее экстраполяцию данных реконструкции фонетики древнекитайского языка с помощью упомянутых выше внутренних источников реконструкции.

Перечисленные выше трудности отнюдь не означают, что паучно значимое решение проблемы реконструкции архаического китайского языка невозможно. Здесь они приводятся для того, чтобы показать сложность положения, в котором находятся исследователи этой проблемы.

Н. Бодман дает подробный обзор трудов по архаическому китайскому языку. Особое внимание он уделяет сравнительно новой отрасли исторической фонетики китайского языка, основателем которой он является, — исследованиям периода между архаическим и древнекитайским языком, т. е. между 206 г. до н. э. и 601 г. н. э.

После реконструкции фонетики древнекитайского языка исследования в этой области активизировались. Здесь можно указать на несколько направлений. Первое сосредоточило свое внимание на дальнейшем изучении внутренних источников. Одна часть работ была посвящена уточнению некоторых деталей структуры Цеюня и системы его фаньце, а другая — исследованию новых внутренних источников реконструкции, которые описывали китайский язык примерно того же периода, что и Цеюнь. Новые внутренние источники — это прежде всего комментаторская литература с фонетическими глоссами, построенными по методу фаньце. В нескольких значительных трудах трактуются фаньце в комментариях. Н. Бодман упоминает о большинстве таких работ, но при этом оставляет без внимания несколько важных статей китайских авторов, появившихся в КНР в конце 50-х — начале 60-х годов⁵. Среди этих статей выделяется статья Лу Чжи-вэй «Как устроены древние фаньце»⁶, где рассматриваются принципы устройства фаньце не только в словарях системы Це-

юня, но также и в фонетических глоссах древнейшей комментаторской литературы — фаньце Сюй Мао, Люй Чжэня, Го Пу из свода комментариев к «Цзиндянь ши вэнь». Лу Чжи-вэй обнаруживает любопытные статистические тенденции в выборе первых знаков фаньце, по поводу которых до сих пор было мало что известно. Второе направление изучения фонетики древнекитайского языка сосредоточило свое внимание на изыскании новых возможностей реконструкции с учетом достигнутого при обработке внутренних источников. Третье направление, возникшее в 50-е годы, занималось установлением фонологической системы древнекитайского языка на основании фонетической реконструкции. Исследования последних двух направлений изложены в обзоре с исчерпывающей полнотой.

Историческая грамматика китайского языка занимает в обзоре значительно более скромное место, что объясняется немногочисленностью исследований в этой области. Подробно рассмотрены грамматика архаического китайского языка Добсона и грамматика архаического китайского языка Чжоу Фа-гао. Грамматики Люй Шу-сяня, Ян Бо-цзюня и других китайских авторов лишь упоминаются. К сожалению, в обзор не попал очерк С. Е. Яхонтова «Древнекитайский язык», содержащий оригинальную трактовку грамматики архаического китайского языка⁷.

Довольно схематично изложены проблемы исследования древнемандаринского языка, т. е. китайского языка X—XIV вв. Эта часть обзора также нуждается в некотором выходе за хронологические рамки издания. Исследования древнемандаринского языка были начаты в 20-х годах А. А. Драгуновым⁸. Его труды, прежде всего большая работа по транскрипции китайского языка средствами монгольской квадратной письменности⁹, заложили основу всех исследований в этой области и ничем не заменены до сих пор.

Фонетика китайского языка X—XIV вв. описана в одновременно появившихся фонетических таблицах и словарях. Поэтому в принципе задача состоит в том, чтобы интерпретировать данные этих внутренних источников реконструкции с помощью иноязычных транскрипций, которых сохранилось достаточно большое количество. Однако здесь имеются трудности, преодолеть которые не

⁷ С. Е. Яхонтов, Древнекитайский язык, М., 1965.

⁸ A. Dragunov, A Persian transcription of ancient Mandarin, ИАН СССР. VII серия, Отд. общ. наук, 1931, 3.

⁹ A. Dragunov, The hPHAGS-PA script and Ancient Mandarin, ИАН СССР. VII серия, Отд. гуманитар. наук, 1930, 9—10.

⁵ Вэй Цзянь-гун, Цеюнь юньму цзид каоюань, «Бэйцзин дасюэ сюэбао». Жэнь Вэнь кэсюэ бао, 1957, 4; е го же, Цеюнь юньму сышэп бу игуань ды цзэши, там же, 1958, 2; Чан Хао, Суй дай пивэнь юньюнь юй «Гуанюнь» ды юнь, «Чжунго юйвэнь», 1962, 8—9; е го же, «Гуанюнь» ды фаньце хэ цзинь инь, там же, 1964, 2; Шао Жун-фэнь, «У цзин вэнь цзы» ды чжипинь хэ фаньце, там же, 1964, 3; Ван Сянь, Дуй «Гань лу пзы шу» ды идянь жэньши, там же, 1964, 4.

⁶ Лу Чжи-вэй, Гу фаньце ши цзэмян гоуцзао ды?, «Чжунго юйвэнь», 1963, 5.

всегда бывает легко. Различие между разговорным и письменным языком того времени было достаточно глубоким. По этому известны словари и таблицы двух типов — одни ориентировались на «правильное чтение», засвидетельствованное в словарях системы Цюкюя, другие давали современное чтение, которому часто были не чужды влияния различных диалектов. Но ни одно из этих направлений в чистом виде не существовало, потому что одни делали уступки современному произношению, а другие — «правильному чтению» иероглифов.

Исследования по древнемандаринскому языку идут в тех же направлениях, что и работы по древнекитайскому. В настоящее время имеется довольно значительное число трудов, посвященных фонетическим таблицам и словарям X—XIV вв. Наиболее крупной в этой области является книга Чжао Ин-тана «Истоки фонетических таблиц»¹⁰. В средние века китайский язык широко изучался в сопредельных странах, имевших фонетические письменности. В распоряжении современных ученых имеются транскрипции китайских иероглифов, выполненные средствами тибетской, уйгурской, персидской, монгольской квадратной, корейской письменности. Немалое научное значение имеет также китайская транскрипция санскрита, которая была, в сущности, научной. Поэтому в области изучения древнемандаринского языка характерны исследования по иноязычным транскрипциям китайского языка. Можно даже сказать, главным предметом трудов по древнекитайскому языку являются внутренние источники, а по древнемандаринскому — внешние источники реконструкции.

Наибольшее внимание исследователей китайского языка этого периода привлек словарь Чжунъюань инь юнь. В настоящее время имеется несколько вариантов фонетической интерпретации этого словаря. Самая последняя и наиболее совершенная фонетическая и фонологическая интерпретация этого словаря содержится в ряде работ Х. Стимсона, завершенных большим томом, который представляет собой научное издание словаря с реконструированным чтением иероглифов¹¹. Тем самым открывается практическая возможность транскрибировать китайские тексты с древнемандаринским чтением.

Об изучении грамматики древнемандаринского языка сказано совсем мало. Н. Бодман упоминает монографию М. Холлидея о языке китайской версии «Сокровенного сказания» и монографию

Г. Каллыгрена о языке сочинений Чжу Си на байхуа. В действительности современная наука располагает значительно большими сведениями о грамматике китайского языка этого периода. Первое исследование в этой области было проведено А. Масперо в 1914 г.¹² В 40-х годах опубликовано большое число работ по отдельным проблемам древнемандаринской грамматики. В первую очередь среди них следует упомянуть работы Люй Шусяна, переизданные в дальнейшей отдельной книгой¹³. В послевоенные годы появились статьи Я. Прушека и Дж. Крампса¹⁴. В СССР в этой области работает И. Т. Зограф и до недавнего времени также автор этих строк¹⁵.

Сравнительное изучение языков китайско-тибетской семьи достигло серьезных успехов. Некоторая замедленность темпов развития этой отрасли науки вызвана недостаточной изученностью языков китайско-тибетской семьи. В сущности, до сих пор неизвестно даже их точное количество. Несмотря на это, сравнительное изучение этих языков стало вполне самостоятельной отраслью языкознания и поэтому должно быть выделено в самостоятельный обзор. В обзоре же Н. Бодмана сравнительному языкознанию уделен всего один абзац.

Обзор исследований по современному китайскому языку в КНР написан Чжан Кунем, который больше известен как специалист по языкам малых народов Китая. Первая часть его обзора представляет собой хронологию событий, имеющих отношение к языкознанию в КНР за период 1950—1963 гг. Хронология такого издания не может и не должна быть полной, однако неполнота ее усугубляется недостаточной продуманностью при отборе фактов. Так, указание на начало публикаций статей о частях речи в китайском языке в октябре 1953 г. должно было бы повлечь за собой указание на завершение этой дискуссии док-

¹² H. M a s p e r o, Sur quelques textes anciennes de chinoise parlée, «Bulléti n de l'Ecole Française de l'Extrême Orient», XIV, 4, 1914.

¹³ Л ю й Ш у - с я н, Хань юй юйфа лунъюань цзи, Бэйцзин, 1955.

¹⁴ J. I. C r u m p, On Chinese medieval vernacular, «Wen'ti papers», I, New Haven, 1954; J. P r u š e k, La fonction de la particule 'ti' dans le Chinoise medieval, AO, 15, 3—4, 1946.

¹⁵ И. Т. З о г р а ф, Очерк грамматики среднекитайского языка, М., 1962; М. В. С о ф р о н о в, Принципы глагольного словообразования в языке романа «Шуйхуцжуань», «Сов. востоковедение», 1957, 3; M. V. S o f r o n o v, Die worthbildenden Praefixe und Suffixe im Mittelchinesischen, «Beitraege zum Problem des Wortes im Chinesischen», II, Berlin, 1964.

¹⁰ Ч ж а о И н - т а н, Дэнюньюань лю, Шанхай, 1957.

¹¹ H. M. S t i m s o n, The Jongyuan in yun: A guide to Old Mandarin pronunciation, New Haven, 1966.

ладом Ван Ли, прочитанным на учредительной научной сессии отделения литературы и языка АН КНР в июне 1955 г.; в том же году этот доклад был опубликован¹⁶. Однако в хронологии не упоминается ни учредительная сессия, ни доклад Ван Ли.

Во второй части обзора Чжан Куня излагаются результаты исследований лингвистов КНР по разделам: фонология, фонологический анализ тонов, свободные и зависимые формы, определение слова, формальные классы, синтаксические конструкции. Как лингвист американской школы дескриптивной лингвистики Чжан Кунь говорит о них в терминах своей школы. При этом он оставляет без внимания принципы их исследований. Однако для такого издания, как «Современные течения в языкознании», наибольший интерес должны представлять прежде всего основные идеи, которыми руководствуются лингвисты КНР.

Обзор современного состояния науки о языке в КНР должен обязательно включать в себя хотя бы краткое изложение основных грамматических идей, высказанных в больших грамматиках Ван Ли, Люй Шу-сяня, Гао Мин-кая, Ли Цзинь-си, Фу Цзы-дуна, с указанием их как китайских, так и европейских источников.

О языкознании в КНР вряд ли можно говорить без упоминания о влиянии, которое оказало на него советское языкознание. В хронологии достаточно много места уделено научным контактам советских и китайских лингвистов. Там перечислены также основные работы советских лингвистов, переведенные на китайский язык. Не менее важно было бы установить, какую роль в китайском языкознании сыграли эти переводы. Так, в частности, было бы полезно сказать о роли статьи «Морфология» в БСЭ², написанной П. С. Кузнецовым, в дискуссии о частях речи, о которой пишет Чжан Кунь. Не менее существенно было бы показать связь между монографией А. И. Смирницкого о слове и дискуссией о слове, которая развернулась в китайском языкознании с 1956 г. Некоторые тенденции в развитии советского языкознания отразились также и в китайской науке о языке. Так, с появлением в советском языкознании интереса к прикладному и структурному языкознанию в китайской лингвистической периодике начали появляться переводы статей советских авторов по указанным темам. Китайские работы в области машинного перевода непосредственно связаны с советскими исследованиями в этой области.

Обзор исследований о языках национальных меньшинств в Китае написан

Чжан Кунем в том же плане, что и обзор исследований по современному китайскому языку. Изложение сведений о национальных языках предшествует список народов Китая с указанием принадлежности языков этих народов к языковым семьям. Этот список отличается от официального списка, встречающегося в лингвистических изданиях КНР, отсутствием тибетцев и тибетского языка, которому в рецензируемом томе посвящен отдельный обзор.

Языки национальных меньшинств Китая до сих пор изучены мало. Первые их исследования методами европейского языкознания были проведены христианскими миссионерами в начале XX в. Китайские лингвисты развернули работу в этой области только в 40-х годах; более широкий размах эта работа приобрела после образования КНР. Собран огромный материал, но опубликована лишь его небольшая часть.

Все это вынудило Чжан Куня, в сущности, отказаться от лингвистического описания проблем изучения языков национальных меньшинств и ограничиться лишь ввелингвистическими данными по поводу каждого из них: локализация и численность носителей языка, административное деление района их расселения, административное подчинение. Каждая такая маленькая статья сопровождается краткой библиографией. Вероятно, в отдельных случаях такого рода описание является единственно возможным, однако значительному числу языков национальных меньшинств Китая следовало бы дать лингвистическое описание. Правда, при этом пришлось бы отказаться от регионального принципа изложения материала.

Национальные меньшинства Китая говорят на языках, относящихся к нескольким языковым семьям. Связи их языков с языками народов, находящихся за пределами Китая, могут быть трех родов: 1) языковая группа, состоящая из нескольких близкородственных языков, целиком находится на территории Китая — это языки группы И (доло) и мяо-яо; 2) языковая группа, состоящая из нескольких близкородственных языков, представляет собой часть языковой семьи, находящейся за пределами Китая, — это тайские языки на территории южного и юго-западного Китая; 3) языковая группа говорит на одном из диалектов языка, находящегося за пределами Китая. Таким можно считать язык цзинпо, представляющий собой диалект качинского языка в Бирме, а также язык тюркоязычного населения Синьцзяна и синьцзянских таджиков. Было бы целесообразней при разработке плана издания предусмотреть описание языков последних двух типов в составе соответствующих разделов. В сущности, наем на такой способ описания содержится

¹⁶ Ван Ли, Гуаньюй ханьюй ю у цы лэй ды зяньшэ, «Бэйцзин дасюэ сюэбао». Жэнь зянь кэсюэ, 1955, 2.

в разделе о Таиланде, где говорится не только о тайских языках на территории Таиланда и Лаоса, но также и о северной группе тайских языков, локализованной в южном и юго-западном Китае. Что касается языков группы И и мяо-яо, то они исследуются уже с начала XX в., поэтому обзор литературы по этим группам языков был бы весьма полезен.

Обзор исследований по китайской диалектологии написан известным диалектологом С. Эгеродем.

Китайский язык разделен на диалекты, настолько далеко отстоящие друг от друга, что носители их часто не понимают друг друга. Столь глубокие различия между диалектами придают особую остроту проблеме национального языка. В европейской науке китайские диалекты изучаются уже более ста лет. Китайские ученые приступили к широкому изучению диалектов на основе достижений европейской диалектологии только в конце 20-х годов. Особенно значительный размах приобрело изучение диалектов в 1956—1960 годах. Был собран большой материал, из которого лишь незначительная часть опубликована.

Диалектология китайского языка пока находится в начальной стадии своего развития. В сущности, все усилия диалектологов направлены на создание приемлемой классификации диалектов китайского языка, установление их локализации. Все современные классификации основаны на фонетических признаках диалектов. Несмотря на то, что в официально утвержденной анкете есть вопросы и по другим частям структуры языка, предметом исследования как китайских, так и иностранных диалектологов пока остаются прежде всего вопросы фонетики.

В основе всякой классификации лежит определение единицы классификации и критерии отбора единиц. В первой классификации китайских диалектов, предложенной П. Меллендорфом, единицей классификации была провинция, а критерием отбора — способность носителей диалектов понимать друг друга. Первую научную классификацию предложил Б. Карлгрен¹⁷. В качестве единицы классификации он сохранил провинцию, допуская в некоторых случаях единицы меньшие, чем провинция. В качестве критерия различия диалектов Б. Карлгрен предложил считать степень удаления от языка Цюня, который он считал родоначальником всех современных диалектов, исключая диалекты минь. В 20 и 30-х годах были открыты несколько новых диалектов, в частности Е. Н. и А. А. Драгуновы открыли новый диалект в провин-

ции Хунань, который в дальнейшем был назван диалектом сянь¹⁸. Последним словом китайской диалектологии является классификация диалектов, предложенная Юань Цзя-хуа¹⁹. Эта классификация опирается на материалы, полученные во время экспедиций 1956—1960 гг. Эти же материалы послужили основой для более детальной классификации китайских диалектов, в которой С. Е. Яхонтов показывает, что границы диалектов, определяемые Юань Цзя-хуа, не абсолютны²⁰. В действительности между диалектными районами существуют зоны смешения, где расположены диалекты, в которых совмещаются отдельные черты двух соседних диалектов. Иначе говоря, С. Е. Яхонтов вносит предложение о необходимости различать чистые и смешанные диалекты. Новая классификация китайских диалектов, предложенная и нанесенная им на карту, существенно уточняет классификацию диалектов Юань Цзя-хуа. С. Эгерод дал краткое описание китайских диалектов в рамках классификации Юань Цзя-хуа.

Специальный обзор по реформе китайской письменности написан крупнейшим знатоком этого вопроса Дж. Де-Френсисом.

Китай, существуя на протяжении многих столетий как унитарное государство, не имеет единого государственного языка, который был бы понятен на слух во всех частях страны. В средние века роль общенационального языка играл письменный язык «вэньянь», основанный на языке древних классических книг и не связанный ни с одним из китайских диалектов. Вместе с иероглифической письменностью вэньянь был наддиалектным средством письменного общения. Звуковая форма одного и того же сообщения на вэньяне была различной в разных частях Китая. Такое средство внутрис государственного общения было вполне приемлемо для феодального Китая.

В современных условиях, когда всеобщая грамотность становится минимальным условием дальнейшего развития общества, иероглифическая письменность должна быть заменена алфавитной, способствующей дешевому и эффективному

¹⁸ Е. Н. и А. А. Драгуновы, К латинизации диалектов центрального Китая. Диалекты Сянтянь и Сянсян (Хунань), ИАН СССР. II серия, Отд. общ. наук, 1932, 3.

¹⁹ Юань Цзя-хуа, Ханьюй фаньянь тайяо, Пекин, 1960. В сокращенном виде книга издана на русском языке: Юань Цзя-хуа, Диалекты китайского языка, М., 1965.

²⁰ С. Е. Яхонтов, Географическое распространение диалектов китайского языка, «Вестник ЛГУ». [Серия] 2, История, язык, литература, вып. 1, 1967.

¹⁷ P. G. v. Moellendorff, Classification of dialects chinois, Ningpo, 1899; B. Karlgren, Etudes sur la phonologie chinoise, Leyde, 1—1915, 2—1916, 3—1919, 4—1926.

обучению больших масс населения Китая. Первый шаг в сторону отмены иероглифической письменности был сделан в 1949 г., когда ваньянь был упразднен как средство официального общения. Официальным языком с того момента фактически сделался так называемый «путунхуа» — «общепопный язык», основанный на северных диалектах. Этот «общепопный язык» не кодифицирован, поэтому в текстах на путунхуа можно встретить грамматические формы и лексику различных диалектов. Так возникла проблема нормализации путунхуа, которая и в настоящее время еще далека от разрешения. Однако существенно здесь то, что направление в создании национального языка определено — национальный язык будет создан на основе северных диалектов.

В конце 20-х и начале 30-х годов были предложены две системы алфавитной письменности для китайского языка: «романизированная система» была предложена комиссией китайских лингвистов под руководством Чжао Юань-жэня, «латинизированная система» была разработана в Советском Союзе по инициативе представителя Китая в Коминтерне Цюй Цю-бо группой советских лингвистов.

Романизация предусматривала создание китайской алфавитной письменности со строчным обозначением тонов, отличающейся большой способностью к различению омонимов на письме. Однако романизированная система была приспособлена только для пекинского диалекта и не годилась для других диалектов без существенных изменений. Латинизированная система не предусматривала обозначения тонов, потому что она была предназначена для передачи любого китайского диалекта. Практичность китайского латинизированного алфавита была подтверждена опытами широкого масштаба, проведенными как в СССР в конце 30-х годов, так и во время второй мировой войны на территории Китая.

Различие между этими двумя системами сводилось отнюдь не к различию в обозначении тонов и способе передачи отдельных фонем китайского языка: каждая из них имплицитно предусматривала свой путь создания китайского национального языка. Романизация предусматривала следующую схему взаимоотношений между национальным языком и диалектами: единый национальный язык на пекинской произносительной основе и бесписьменные диалекты, которым отводится роль вспомогательного средства общения на территории их распространения. Латинизация предусматривала создание письменности для каждого диалекта на основе единого алфавита, из которых один диалект избирается в качестве общенационального языка. Таким образом, оба пути ведут к одной и той же

цели, только один ставит диалекты в подчиненное положение, а другой придает им примерно ту же значимость, что и общенациональному языку.

Правительство КНР признает необходимость реформы китайской письменности, однако немедленное проведение ее считается невозможным. Первоочередной мерой было признано упрощение письменности. В январе 1956 г. был утвержден список упрощенных иероглифов. Второй мерой было признано распространение общегосударственного языка на пекинской произносительной основе. Третьей мерой является создание транскрипционного алфавита, который после долгих дискуссий был официально утвержден в 1958 г. Как было объявлено, назначение этого алфавита состоит в том, чтобы служить вспомогательным средством при изучении иероглифической письменности, для справочных, библиографических и иных целей. В техническом отношении транскрипционный алфавит представляет собой соединение романизированного алфавита с латинизированным. От романизированного алфавита взято обязательное обозначение тонов с помощью надстрочных знаков. От латинизированного алфавита заимствовано обозначение фонем. Поскольку в алфавите предусмотрено использование только четырех пекинских тонов, нетрудно заметить, что по общей идее транскрипционный алфавит ничем не отличается от романизированного алфавита.

Дж. Де-Френсис подробно излагает мероприятия правительства КНР в области реформы китайского языка и, что особенно важно, специально останавливается на практике применения фонетического алфавита для разных целей.

Специальный обзор посвящен лингвистическим исследованиям на Тайване. Фактически здесь речь идет не только о работах, которые проводятся там, но также и об исследованиях некоторых китайских ученых, работающих в США. Обзор написан профессором Вашингтонского университета Ли Фан-гуем. Из этого обстоятельного обзора видно, что лингвистические исследования на Тайване продолжают в русле работ, предпринятых в 30 и 40-х годах. Основной интерес сосредоточен в области истории и диалектологии китайского языка. Лишь Чжао Юань-жэнь — профессор Калифорнийского университета — занят проблемами современного китайского языка.

В архивах Китайской академии наук на Тайване находятся материалы изучения диалектов двух провинций — Сычуань и Юньнань, предпринятые в начале 40-х годов. Материалы по диалектам этих двух провинций собирались издавать в той же форме, что и исследование по диалектам провинции Хубэй, но оно до сих пор так и не осуществлено. На основе этих материалов написаны статьи по

частным проблемам диалектов этих провинций.

В области исторической фонетики и исторической грамматики успешно работают Чжоу Фа-гао и Дун Тун-хэ. Помимо работ по китайскому языку на основе материалов, собранных еще в 40-х годах, ведутся также исследования по языкам национальных меньшинств Китая, прежде всего по языкам группы кам-тай и мяо-яо.

В предисловии к библиографии китайского языкознания ее составитель В. Ван предупреждает возможные упреки читателей: «... на последующих страницах, несомненно, содержатся многочисленные фактические ошибки, неверный отбор и пропуски» (стр. 188). Здесь остается лишь подтвердить, что все это имеет место в весьма широком масштабе. Перечислять все неточности и ошибки нет никакого смысла. При подходе, которого придерживается В. Ван, послевоенные работы по китайскому языку, выпавшие в СССР, представлены крайне неполно. Кроме того, в обращении с ними не всегда соблюдается необходимая точность. Воспользуясь случаем, чтобы отказать от статьи В. М. Солнцева «Частичные речи в китайском языке», которую В. Ван приписал мне.

В главе 2, посвященной Японии, имеется специальный обзор японских работ по китайскому языку. Исследования по китайскому языку основаны на богатой традиции японского китаеведения. Особенно значительны успехи японского языкознания в области изучения китайского языка за послевоенные годы. В эти годы произошла решительная модернизация лингвистических методов в японском языкознании. По мнению автора обзора Тодо Акиясу, начало научных исследований по китайскому языку положено в 1946 г. созданием «Общества по изучению китайского языка». В настоящее время японская школа исследователей китайского языка считается одной из сильнейших и, безусловно, самой продуктивной.

Достижения японских ученых в этой области недостаточно оценены и недостаточно известны. Поэтому обзор японских трудов по китайскому языку, хотя и представляет собой скорее аннотированную библиографию избранных работ по китайскому языку, чем действительный обзор идей, должен привлечь к себе внимание специалистов.

Наибольшая часть обзора посвящена фонологии, где сосредоточены основные труды, которыми известна японская школа изучения китайского языка. Темы и идеи исторической фонетики китайского языка в Японии мало чем отличаются от соответствующих тем и идей в Китае. Однако японские лингвисты проявляют полную самостоятельность в исследовании по фонетике современного китайского

языка. В методическом отношении эти работы находятся на уровне самых высоких требований.

Обзор трудов по грамматике менее полон. Сюда включены главным образом монографии. Подбор статей, вошедших в этот раздел, кажется довольно случайным и никоим образом не отражает современного состояния грамматических исследований по китайскому языку в японской научной литературе. Грамматические исследования по китайскому языку в Японии обнаруживают существенную зависимость — как тематическую, так и идейную — от современной китайской науки.

Завершая обзор главы, посвященной Китаю в рецензируемой книге, следует еще раз подчеркнуть большое значение этого издания и выразить надежду на появление таких публикаций в будущем. Однако при работе над последующими изданиями следует иметь в виду, что специализация в китайском языкознании все более углубляется. В условиях такой специализации нельзя будет охватить сколько-нибудь широкую область исследований с достаточной для такого издания полнотой. Поэтому следует пожелать, чтобы организаторы последующих изданий привлекли к составлению обзоров большее число узких специалистов.

В главе «Япония» в отличие от других разделов рецензируемого тома совсем ничего не говорится об исследовании японского языка в иных странах. Все статьи, входящие в эту главу, рассказывают о развитии языкознания в самой Японии, причем из восьми статей лишь две («Историческое языкознание», включая связи с другими языками» и «Диалектология») целиком и две («Описательное языкознание в Японии» и «Система письма: историческое изучение и современное развитие») частично посвящены исследованиям в области японского языка. Остальные четыре статьи посвящены изучению в Японии китайского языка, языков Юго-Восточной Азии, языка айвов, а также английского языка.

Уже сами названия статей показывают, что в рецензируемой книге представлены не все области языкознания, которые исследуются в японской науке. Так, всего лишь в одной фразе упоминается изучение так называемого «языкового существования», хотя исследования в этой области в настоящее время развиваются в Японии очень интенсивно и занимают одно из ведущих мест в мире. Очень мало освещены работы в различных областях математического и прикладного языкознания (исключение сделано лишь для вопросов методики обучения английскому языку); экспериментально-фонетических исследований касается лишь статья «Изучение английского языка в Японии»; почти ничего не сказано о статистических исследованиях. Практически

никак не освещены работы в области установления генетических связей японского языка, кроме исследований о его связях с айским. Нет никакого упоминания об изучении в Японии других европейских языков, кроме английского, многих языков Азии, в том числе корейского (если не считать описания одного исследования, касающегося корейской письменности).

Те разделы языкознания, которые представлены в книге, описаны с разной степенью полноты. Так, в статье «Описательное языкознание в Японии» указываются лишь труды, наиболее интересные с точки зрения ее автора; в некоторых других статьях перечисляются почти все японские работы по соответствующим проблемам (например, работы в области айского и английского языков).

Кроме того, индивидуальность авторов сказалась на отсутствии более или менее единообразного подхода к изложению материала. Одни из статей представляют собой развернутые библиографические обзоры: статья же «Описательное языкознание в Японии», например, в значительной части излагает лингвистическую концепцию автора, в свете которой рассматривается история японской лингвистики.

В целом из рецензируемого тома можно получить представление о современном состоянии японского языкознания, которое пока еще недостаточно известно за пределами Японии.

Все статьи написаны японскими учеными или лингвистами, работающими в Японии.

Центральной является статья одного из крупнейших современных японских языковедов Хаттори Сиро «Описательное языкознание в Японии», который стремится определить основные пути развития японского языкознания, вскрыть методологические основы различных лингвистических направлений.

Как известно, японское научное языкознание зародилось в XVII—XVIII вв. Изучая прежде всего классический язык памятников VIII—XI вв., первые японские лингвисты Фудзитани Нариакира, Мотоори Норинага и др. не могли в полной мере ориентироваться на значение, зачастую точно не известное, поэтому в их трудах было детально разработано изучение текстуальных функций (прежде всего дистрибуции) слов и морфем. При довольно высоком уровне синхронного изучения классического языка лингвистам того времени были чужды идеи историзма. В период Мэйдзи (1868—1912 гг.) в Японии началось знакомство с европейским языкознанием, под влиянием которого появился интерес к изучению разговорного языка и к историческим исследованиям. Тем не менее наряду с европейскими влияниями в Японии всегда существовала национальная традиция. По-

этому многие японские ученые, в частности Дзимбо Каку, в своих работах независимо от Ф. де Соссюра пришли к четкому противопоставлению синхронии и диахронии. Сконца XIX — начала XX в. в Японии стало интенсивно развиваться изучение современного японского языка. Первоначально эти работы страдали, с одной стороны, некритическим перенесением методов описания западных языков, с другой стороны, распространением на современный язык норм древнего языка; часто точки зрения авторов никак не подтверждались языковыми примерами, однако уже в работах таких лингвистов первой половины XX в., как Ямада Ёсио, Хасимото Синкити, эти недостатки стали преодолевать. До второй мировой войны преобладало изучение грамматической стороны языка, в последнее время интенсивно стала развиваться также фонология, большее место стали занимать и исследования других языков. Лексикология и семантика остаются наиболее слабым местом японской лингвистики.

Научное изучение звуковой стороны языка началось лишь в период Мэйдзи. Основы фонологии в японской лингвистике были заложены Дзимбо Каку, а затем Арисака Хидэо, автором работы «Онзингаку» («Фонология») (1940). Арисака относил к одной фонеме звуки, которые физически могут различаться, но объединяются общей «целью-идеей», и подтверждал это тем, что звуки, подвергающиеся позиционным изменениям в беглой речи, при медленном, четком выговоре в той же позиции произносятся близко к звучанию данной фонемы в независимом положении.

Хаттори, развивая учение Арисака и сочетая его с теориями американских лингвистов, выдвинул фонологическую концепцию²¹, в которой особое место занимает так называемый принцип ассимиляции под влиянием окружения. В соответствии с этим принципом аллофоны, находящиеся в отношении дополнительной дистрибуции, объединяются в одну фонему в том случае, если фонетические признаки, которыми они различаются, могут быть объяснены ассимиляцией одного и того же звука в данном окружении. По этой концепции английские [h] и [r] оказываются различными фонемами, но различными фонемами называются, например, японские [g] и [r], обычно считающиеся аллофонами ([g] встречается в начале фонетического слова, [r] — во всех других случаях, причем они могут встречаться в одних и тех же морфемах в зависимости от позиции).

Многие исследования посвящены также просодическим явлениям (работы Кои-

²¹ Она изложена в статье, собранных в его книге: «Гэнгогаку но хōхō» («Методы лингвистики»), Токио, 1960.

ти Мията, Арисака Хидэи и др.). Сам Хаттори выдвигает концепцию просодемы. Просодема — это особая единица (не фонема!), в которую входят высота тона, интонация, артикуляция. Например, русск. *порá* и *пáра*, по его мнению, имеют одинаковый фонемный состав, на который накладываются разные просодемы. Изучение просодем Хаттори проводит с точки зрения их оппозиций, выделяя их различительные признаки.

При изучении грамматики в Японии, как указывает автор, никогда не была широко распространена точка зрения, исключавшая значение из рассмотрения. По мнению Хаттори, единицы языка обладают функциями двойного характера: 1) текстуальными, определяющими их положение в тексте и ограничения в их сочетаемости, и 2) ситуативными, указывающими на релевантные характеристики вещей и событий в ситуации высказывания, причем и грамматика, и семантика связаны с изучением функций обоих родов.

В области изучения основных единиц языка, прежде всего предложения, под влиянием европейской лингвистики в японском языкознании начала XX в. господствовало психологическое определение предложения (например, у Ямада), позднее (у Хасимото) предложение определялось также и с фонетической точки зрения, прежде всего в связи с интонацией. Хаттори определяет предложение как неделимое единство смысла и звучания. Он различает высказывание как единицу речи и предложение как единицу языка, причем высказывание включает в себя звук, значение и «высказывателя», а предложение — фонологическую модель, смысл и «выразителя» («высказыватель» может отличаться от «выразителя», например, в случае выражения иронии).

До знакомства с европейской наукой в японском языкознании не было понятия, соответствующего слову, тем не менее японские ученые, например, при установлении частей речи, фактически делили текст на отрезки, соответствующие словам. В современной японской лингвистике, начиная от Хасимото, выделяют две единицы — «бунсэцу», обычно соответствующую фонетическому слову, и единицу, близкую к слову, традиционно выделяемому в европейских языках.

Классификации частей речи в японском языкознании во многом отличаются друг от друга. Например, Ямада и Хасимото проводили деление слов на самостоятельные и служебные, считая междометия одним из видов самостоятельных слов; Мацусита прежде всего выделял междометия, разделяя остальные слова на обозначающие вещи, обозначающие действия и модификаторы (служебные слова, а также наречия). По мнению Хаттори,

деление слов на классы определяется и текстуальными функциями, и значением; эти два аспекта невозможно до конца разделить, поэтому всегда существует возможность многих классификаций в зависимости от того, на что в первую очередь обращается внимание.

В японском языкознании существуют различные синтаксические теории связи членов предложения. Обычно членами предложения считают «бунсэцу»; Хаттори, основываясь на возможности отделять паузой некоторые последлоги от слова, к которому они примыкают, полагает, что могут быть синтаксические связи и между словами (по его определению слова). В соответствии с концепцией Хасимото «бунсэцу» сопоставимы на одном уровне, а образуют единицы на разной глубине; анализ предложения у Хасимото аналогичен анализу по непосредственно составляющим. В последнее время наблюдается интерес к исследованиям по порождающим грамматикам; несколько раньше и независимо от школы Н. Хомского некоторые японские ученые (например, Мио Исаго) проводили работы, близкие к трансформационному анализу.

Изучение лексико-семантических значений в японском языкознании до сих пор не на высоком уровне. Лишь в последнее время пытаются изучать словарь более или менее объективными методами (статья Кунихиро Тэцуя, где строится система для группы слов со значением теплоты, работы Хаяси Оки по статистическому исследованию словаря). Более разработан анализ грамматических значений, который проводился еще основоположниками японского языкознания в XVIII в. Хаттори считает, что при изучении значения необходимо выделять единицы разных уровней вплоть до элементарных единиц значения как грамматического, так и лексико-семантического — семем, которые, как и фонемы, можно описывать через дифференциальные признаки; семемы и их признаки могут выделяться путем изучения дистрибуции. Формы, стоящие в той же позиции, имеют в общем одинаковый грамматический признак; формы, объединяемые в одной таксеме (или модели предложения), обладают согласованными грамматическими признаками²².

К статье Хаттори близка по своей направленности статья Ямада Тосио «Система письма: историческое изучение и современное развитие». Изучение письма в Японии можно разделить на два этапа. До 40—50-х годов XX в. письменность рассматривалась обычно как нечто внешнее по отношению к языку, не учитыва-

²² Более подробно эта теория изложена Хаттори в статье «Ииси но кôдзё то кинô» («Структура и функция системы»), «Гэнго кэнкô», 45, 1964.

лась связь между языком и письменностью. Однако и в этот период были произведены ценные исследования исторического характера; в частности, изучение иероглифов, применявшихся для фонетической записи текстов VIII в., помогло уточнить фонологическую систему языка того времени, было изучено происхождение знаков японских слоговых азбук.

В настоящее время все более проявляется стремление рассматривать письменность как систему, определить ее основные единицы и взаимосвязь между ними. Эти исследования ведутся в Японии, по-видимому, интенсивнее, чем во многих других странах; это связано со сложным характером японской письменности, требующим ее систематического изучения. Первым ученым, который старался создать теорию письменности, был Икэгами Тайдзо. Вслед за ним подобные исследования ведут Камаи Такаси, Коно Рокуро, Ямада Тосио и др.

По мнению Ямада Тосио, не вполне корректно говорить, что знак письменности так же связан с понятием, как звук с фонемой, но некоторый параллелизм здесь есть. Основная цель знака письменности — выражение слова, причем связь знака и слова может проявляться на разных уровнях: при одних способах письма знак соответствует слову, а звуки, из которых состоит слово — частям знака; в других знак соответствует звуку, а слово — последовательности знаков. В работах Икэгами исследуется письмо с точки зрения намерения пишущего, в связи с этим классифицируются ошибки при письме. Системы письма изучаются также с исторической точки зрения. Исследуется употребление иероглифов в древнеяпонском языке, прежде всего в плане того, как письмо,работанное для одного языка, может передавать систему другого языка и как система письменности приспосабливается к языковой системе. И в синхронном, и в диахронном изучении системы письма в Японии достигнуты определенные успехи, хотя многие положения о системном изучении письма пока еще остаются декларациями, а создание структурной теории письма, которую можно сравнить с фонологией или теорией грамматики, пока дело будущего.

В статье указывается на необходимость дальнейших работ в области упрощения японской письменности.

В статье Цукисима Хироси «Историческая лингвистика, включая связи с другими языками» описываются как диахронические исследования, так и попытки реконструкции состояний японского языка. Основными объектами изучения являются историческая фонология и грамматика, в меньшей степени лексикология, в последнее время привлекают внимание также история системы письма и истори-

ческое изучение литературных стилей (Касуга Масадзи, Цукисима Хироси и др.).

Исследования по исторической фонологии начались в Японии в период Мэйдзи. С этого времени многие японские лингвисты (Оя Тору, Касуга Масадзи, Наката Норико и др.) занимались, в частности, изучением пометок в написанных иероглифами памятниках. Эти пометки, указывавшие на чтение иероглифов, не изменялись переписчиками, поэтому их можно считать надежным источником сведений о древне- и среднеяпонском языке, прежде всего о его фонологической системе. Изучение так называемой «магьёганы» (иероглифов, использовавшихся фонетически), проводившееся Оя Тору, Хасимото Синкити, Арисака Хидэо и др., позволило уточнить фонологическую систему языка VIII в.; в частности, было установлено, что в то время было не пять гласных фонем, как в более позднее время, а восемь. Фонологическая система XVI—XVII вв. изучается на основе литературы, написанной европейцами в латинской письменности (изучением этих памятников занимались Симмура Идзуро, Дои Тадао и др.). Эти памятники имеют значение и для исторической диалектологии. Ведутся также работы по исторической акцентологии (Хаттори Сиро, Киндайти Харукио и др.).

Изучение исторической грамматики началось в XVIII в. В начале XX в. были созданы обобщающие труды Ямада Ёсио «Наратё бумпёси» («История грамматики периода Нара») (1913) и «Хэйантё бумпёси» («История грамматики периода Хэйан») (1913), которые, по мнению Цукисима, до сих пор остаются непревзойденными образцами изучения грамматики VIII—XI вв. Грамматикой языка XVII—XVIII вв. занимался Юдзава Кокитиро.

Историческое изучение лексики было фрагментарным: основными областями исследования были этимология и история китайских заимствований.

Вместе с тем, создаются работы общего характера, где дается систематический очерк истории японского языка²³.

Большая работа проделана японскими учеными по изданию и комментированию классических текстов. Значительная часть дошедших до нас памятников издана с подробными комментариями, указателями и переводом на современный язык. Такого рода издания характеризуются очень высоким научным уровнем.

Статья Виллема А. Гроотерса посвящена диалектологии в Японии. Перед

²³ См., например: Ёсидзава Ёсинори, Кокутоси гайсацу, Киото, 1931; многотомные серии: «Кокуго но рэкиси», Токио, 1952, «Нихонго но рэкиси», Токио, 1963—1966.

второй мировой войной исследование диалектов носило случайный характер и проводилось преимущественно с точки зрения разыскания и толкования слов, не известных в литературном языке. Научную ценность представляли только отдельные работы, прежде всего основателей японской диалектологии Янагита Куньо и Тодзэ Мисао.

В послевоенные годы японская диалектология, центром которой является общество «Кокуто гаккай» (основано в 1944 г.), развивается более интенсивно, хотя ее развитию мешает недостаточное знакомство японских диалектологов с работами зарубежных ученых, трудности с опубликованием работ и другие причины.

Первая классификация диалектов была проведена в 1927 г. Тодзэ Мисао; сейчас предложено несколько классификаций по различным признакам. В последнее время стремятся изучать диалекты системно, что позволяет по-новому подойти к проблеме диалектного членения.

В последние годы в Японии составлялись лингвистические карты и атласы. В 1958—1964 гг. был составлен лингвистический атлас Японии (пока опубликован лишь первый его выпуск); исследования проводились в 2400 пунктах, информантам задавалось от 219 до 295 вопросов. Составлены также атласы отдельных районов Японии, например, атлас района Итогава (префектура Ниигата). Описываются наименее исследованные диалекты мелких островов Тихого океана. Хаттори пытался применить к изучению японских диалектов метод глоттохронологии. Ведутся также исследования по исторической диалектологии.

Статья Тамура (Фукуда) Судзую посвящена изучению языка айнов. Работы в этой области начались в Японии в начале XX в. Первым ученым, исследовавшим этот язык, был Киндаити Кёсукэ, которого в первую очередь интересовала культура и фольклор айнов. С 30-х годов изучением айнского языка занимался Тири Масихо (айн по происхождению), исследовавший лексику и этимологию, а также топонимию о-ва Хоккайдо. Новый этап в изучении айнского языка связан с именами Хаттори и его учеников Тамура (Фукуда) Судзую, Мурасаки Кёко и др., которые широко применяют методы современной лингвистики. Им принадлежит наиболее значительная работа по айнскому языку «Айнуго хёгэн дзйтэн» («Словарь айнских диалектов») (Токио, 1964), в которой также дано описание 10 айнских диалектов, составленное в основном на материале опроса информантов. Наряду с работами по описанию структуры айнского языка ведутся исследования по истории языка, а также производятся попытки сопоставления айнского языка с японским (в отличие от Киндаити Хаттори считает их родство возможным).

Статья Ота Акира «Изучение английского языка в Японии» по содержанию шире своего названия: в ней также говорится о влиянии американской и европейской лингвистики на японское языкознание. До второй мировой войны известность в Японии имели прежде всего работы европейских ученых — наиболее значительным было влияние О. Есперсена, популярными были и идеи других ученых, в частности Ф. де Соссюра, в то время как работы американских лингвистов (даже Э. Сепира и Л. Блумфилда) были почти неизвестны. Заметим, что в главе «Япония» нигде не говорится о влиянии на японскую лингвистику работ русских и советских ученых, в частности, исследований Е. Д. Поливанова по японскому языку (особенно в области акцентологии), значение которых отмечается многими японскими языковедами²⁴.

После 1945 г. в японском языкознании наиболее ощутимо влияние американской, в первую очередь, дескриптивной лингвистики, а из европейских школ — иногда влияние лондонской школы и глоссематики. Если до второй мировой войны господствовало изучение языка в связи со значением, был замечен интерес к универсальным грамматическим категориям, то после войны стали появляться работы, в которых к явлениям языка подходили более формально, часто исключая значение из рассмотрения. Повысилось внимание к общей модели, а не к частностям, появились исследования, в которых пытаются связать между собой различные уровни языка. Влияние американской лингвистики проявилось и во внимании к фонологии и к акустической фонетике, а также в стремлении рассмотреть язык в более широком аспекте, связывая языкознание с психологией, математической логикой, теорией информации и т. д. В последнее время проявляется интерес к теориям порождающих грамматик, однако японские работы в этой области пока не идут дальше применения идей Хомского к отдельным областям японского языка. Пока трудно говорить о том, насколько значительно влияние этого направления: по мнению Ота, здесь есть опасность возродить традиционную грамматику, недостаточно формализованную.

Однако влияние американской лингвистики не привело к забвению традиций японского языкознания. Крайние теории американского структурализма, совершенно игнорировавшие значение, никогда не имели успеха в Японии, так как слишком противоречили всему предшествующему опыту японской лингвистики.

Изучение английского языка получило большое распространение в Японии в по-

²⁴ См., например: «Кокугогаку дзйтэн» («Лингвистический словарь»), Токио, 1955, стр. 877.

слевоенное время. Среди работ по фонологии упоминаются книга Ота Акира «Phonemics of American English» (Токио, 1959), дающая описание фонологической системы диалектов северной части Среднего Запада; исследования просодических элементов, труды по исторической фонологии. В настоящее время ведутся исследования экспериментально-фонетического характера (Тории Цугуёси и др.). Менее разработаны проблемы английской грамматики, причем работы более общего характера в основном носят традиционный характер (в духе идей О. Есперсена или А. Марти); следуются отдельные узкие проблемы, главным образом, синтаксиса. В некоторых работах (например, Морис Есинобу) изучаются вопросы семантики. Ведутся диалектологические исследования (труды Танигучи Дзиро по ирландскому диалекту). Японские языковеды часто обращаются к изучению языка отдельных английских писателей. В статье Ота большое внимание уделяется проблемам практического изучения английского языка в Японии, описывается учебно-методическая литература и книги практического характера (сопоставительные грамматики и др.).

В рецензируемом томе, таким образом, дан широкий обзор японского языкознания с XVII—XVIII вв. до 1964 г., в целом дающий представление (хотя и не всегда достаточно полное) о том вкладе, который внесли японские ученые в науку о языке.

Обзорной статьей «Лингвистика в Корейской республике»²⁵ (стр. 735—757) открывается третья глава «Корея. Монголия. Тибет» рецензируемого тома; эта статья впервые знакомит лингвистический мир Запада с основными достижениями и современным состоянием корейского языкознания в Южной Корее.

Проследившая развитие важнейших отраслей науки о корейском языке в южной части Корейского полуострова после падения японского колониального режима в 1945 г., автор дает полезную информацию в виде многочисленных библиографических ссылок, составляющих почти половину обзора (кстати, сведения о публикациях он получил de visu или же путем консультаций с южнокорейскими лингвистами). Благодаря тому, что библиографическое описание работ приводится в системе «романизации корейского письма» Маккьюна — Рейшауэра и в переводе на английский язык, библиография доступна и лингвистам, не знающим корейской графики.

Из-за отсутствия в нашем распоряжении многих работ южнокорейских языковедов (главным образом статей из сборников и периодических изданий) мы лишены возможности фактически оценить ряд интерпретаций автора. Поэтому придется ограничиться самым общим перечнем проблем, затрагиваемых в обзоре. Естественно, что Ф. Лукофф упоминает лишь наиболее существенные работы, ибо полная библиография литературы по корейскому языкознанию могла бы в настоящее время составить солидный том²⁶. И все же в некоторых частях его обзор нуждается в дополнении и уточнении.

Ф. Лукофф условно выделяет два периода в развитии языкознания в Южной Корее: 1) в 1945—1950 гг. корейские лингвисты были заняты вопросами стандартизации языка и составлением дескриптивных грамматик (как отмечает автор, новый тип дескриптивной грамматики корейского языка был разработан в 1946 г. Чон Ёльмо, ныне проживающим в КНДР); 2) после 1950 г. внимание большинства лингвистов (Ким Минсу, Ким Хёнчю, Ким Юнгёда, Ли Гимун, Ли Сунёда, Ли Хисён, Нам Гваду, Хё Уда, Чхве Хёнён, Ю Чхандона и др.) сосредоточено преимущественно на диахроническом исследовании корейского языка. Историческая проблематика детально отражена в обзоре.

Значительная доля работ по истории корейского языка посвящена исторической фонологии периода после изобретения корейского алфавита в 1444 г. В них рассматриваются такие спорные вопросы, как звуковой потенциал исчезнувших букв и буквосочетаний, природа тональных отметок с левой стороны корейского письменного слога, эволюция «сильных» согласных, историческое смягчение согласных, сингармонизм и т. д. Предпринимаются также попытки реконструировать фонетику древнекорейского языка до XV в. Отсюда и повышенный интерес к корейскому языку в сравнительно-историческом плане (главным образом в связи с «алтайской гипотезой»). Вышло несколько исторических грамматик корейского языка. Достаточно глубоко изучены пассивные, каузативные и гонорифические формы глагола, система времен гла-

²⁵ Эта статья написана американским ученым Ф. Лукоффом, который известен в корееведении своими трудами — «A grammar of Korean» (Ann Arbor, 1954), «Spoken Korean. Basic course» (1—3, New York, 1945—1947) и др.

²⁶ Аннотированную библиографию работ южнокорейских лингвистов см.: «Кукхак Ёнгу нондэ чхоннам» («Указатель работ по Корее»), Сеул, 1960; списки работ по корейскому языкознанию см.: К о н б Р о к у р б, Тэсэн гогаку си хотё (Дополнение к «Истории корейского языкознания»), в кн.: О г у р а С и м п ё й, Дэвэй Тэсэн гогаку си (История корейского языкознания. Доп. и испр. изд.), Токио, 1965; «Хангук чхульпхан ёнгам», 1963», Сеул, 1963, стр. 259—277, 455—458.

гола, эволюция поминативных аффиксов -ка/-га и -и, морфематические альтернативы, процессы словообразования и т. п. К добросовестной сводке работ в этом разделе обзора хотелось бы добавить лишь материалы по этимологии корейского языка: «Овон чарё чипсод». Тонгук тэхаккё кугё кудмун хакхве («Материалы по этимологии»). Сост. Об-во по изучению корейского языка и письменности при Ун-те Тонгук), вып. 1—3, Сеул, 1957—1958; Чхве Хаккын, Овон йбигу панпымон сого (Заметки о методах этимологического исследования), ч. 1—2, «Хангыль», № 126—127, 1960. Автору следовало бы упомянуть и первые словари средневекового корейского языка, появившиеся после 1945 г. — Пад Джоххйбна (1947), Чаң Тхэджина и Ким Бйбджэ (1948), Ли Саңхуна (1949).

Обширные исследования проводятся корейскими лингвистами в области диалектологии, а также профессиональных аргю. Большую ценность имеют записи самого южного корейского диалекта — о. Чеджудо. В обзор Ф. Лукоффа включена лишь незначительная часть работ по диалектологии, опубликованных в Южной Корее.

Если судить по обзору, то современный корейский язык еще не стал главным объектом лингвистического анализа. Правда, в поле зрения южнокорейских языковедов постоянно находятся вопросы орфографии, упорядочения лингвистической терминологии, составление учебных грамматик и словарей, но по сравнению с историей языка здесь уже и беднее круг проблем. Возможно, одна из причин этого кроется в отождествлении научной грамматики со школьной. Но как бы то ни было, перевес исторической проблематики пагубно сказался на разработке и описании современного языка. Вместе с тем в обзоре не указаны некоторые сборники статей и монографии отдельных авторов по современному языку, например, Ли Хисың, Чосён бхак нонго (Статьи по корейскому языкознанию), Сеул, 1947; Ким Минсу, Син кугёхак са (Новая история корейского языкознания), Сеул, 1964; Ли Джинмо, Кугёхак кэрон (Очерк корейского языкознания), Сеул, 1953; Яң Джудон, Кугё йбигу нонго (Статьи по изучению корейского языка), Сеул, 1962, и др.

Не включен в обзор и ряд работ по орфографии, в частности, труды Чхве Хйёнбэ (1945, 1954, 1956), а также «Хангыль матчхумпён саджён» («Орфографический словарь корейского языка»), Сеул, 1961.

Больше всего в обзоре не повезло лексикографии. Кроме «Большого словаря корейского языка» в шести томах и нескольких словарей древней и диалектной лексики, в обзоре не упомянуты много-

численные словари самых различных типов: толковые — современного литературного языка (Ли Юндже — 1947, 1959; Син Гичхоль и Син Едчхоль — 1958), современного национального языка (Об-во по изучению корейского языка и письменности — 1958; Об-во по изучению корейского языка — 1958, 1961; Ли Хисың — 1961, 1966; Пак Усён — 1963; изд-во «Гоца» — 1963 и др.); двуязычные (корейско-английские, англо-корейские и др.); иероглифические²⁷, терминологические и т. д.

Обзор Ф. Лукоффа довольно точен в отношении сообщаемых им библиографических сведений. Укажем на отдельные замеченные неточности. Годом основания «Хангыль», печатного органа Корейского лингвистического общества, следует считать не 1932 г. (см. стр. 736), а 1927 г. (с февраля 1927 г. до октября 1928 г. вышло девять номеров, после чего был перерыв в выпуске журнала до мая 1932 г.)²⁸. Перевод названия работы Чхве Хйёнбэ «Исследование корейской письменности» и год ее издания даны в обзоре неверно («Исследование корейской орфографии» — см. стр. 737 и 1942 г. вместо правильного 1940 г.). В названии книги Ким Хйонгю (1962) ошибочно написано последнее слово — «Кугёхак кэрон» (должно быть: кэсоль). Имеются опечатки в транскрипционной орфографии.

Ф. Лукофф выражает сожаление по поводу того, что вынужден был ограничиться обзором лингвистической работы только в Южной Корее из-за недоступности изданий, выпущенных в КНДР. Разделяя это сожаление, нам бы хотелось в самых общих чертах отметить широкий размах деятельности, развернутой языковедами КНДР²⁹. (Аналитический обзор развития лингвистики в КНДР за годы после освобождения оставляем на будущее.)

С первых же лет после установления народной власти в Северной Корее языковая политика была направлена на нор-

²⁷ Ким Минсу, Сэ чаджён (Новый иероглифический словарь), Сеул, 1961; Квён Санно, Чаң Добиң, Коса соё саджён (Словарь китайских фразеологизмов, встречающихся в исторических источниках), Сеул, 1961.

²⁸ См.: Чхве Хйёнбэ, Хангыль каль (Исследование корейской письменности), Сеул, 1940, стр. 70, 114.

²⁹ Обзоры работ языковедов КНДР см.: Ю. Н. Мазур, Корейская Народно-Демократическая Республика (в серии «Вопросы языкознания за рубежом»), ВЯ, 1952, 3; е го же, Корейский язык, М., 1960, стр. 107—108, библиография стр. 115—116; О. П. Петрова, Вопросы языка в КНДР, ВЯ, 1953, 3; Цой Ден Ху, Из истории языкознания в Корее, ВЯ, 1954, 4.

мирование и демократизацию языка. Поэтому основным объектом исследования здесь был и остается современный корейский язык. Им занимаются несколько научных центров КНДР. В феврале 1947 г. было создано Общество по изучению корейского языка и письменности, которое издавало ежемесячный журнал «Чосонь йонгу» («Изучение корейского языка», с апреля 1949 г. всего вышло 12 номеров). С учреждением Академии наук КНДР в 1952 г. Общество было преобразовано в Институт корейского языка и корейской литературы, который в 1956 г. стал называться Институтом языка и литературы. С января 1956 г. этот Институт выпускал двухмесячный журнал «Чосонь ому» («Корейский язык и литература»), от которого в 1961 г. отпочковался собственно лингвистический журнал «Чосонь охак» («Корейское языкознание»). В 1966 г. языкознание и литературоведение снова были объединены под одной обложкой — «Ому йонгу» («Изучение языка и литературы», периодичность — четыре номера в год). В 1964 г. в связи с выделением в системе АН КНДР Академии общественных наук Институт языкознания стал самостоятельным учреждением АОН. 11 апреля 1964 г. было основано Корейское лингвистическое общество. Несколько позже была создана Комиссия по нормированию корейского языка. С февраля 1958 г. по 1962 г. включительно издавался также ежемесячный (вначале двухмесячный) научно-популярный журнал «Маль-гва кыль» («Язык и письмо»), а с июня 1968 г. стал выходить ежеквартальник «Мунхваб хаксып» («Изучение культурного [= литературного] языка»). Большую работу ведут и кафедры корейского языка в Университете им. Ким Ир Сена и в педагогических институтах.

В перечисленных журналах, а также в различных сборниках и ученых записках опубликовано огромное количество статей по самым разнообразным проблемам корейского языкознания. Один их перечень занял бы много страниц. Поэтому мы укажем лишь наиболее крупные монографические исследования, сборники и словари (место издания всех их — Пхеньян).

Современный корейский язык: «Чосонь нодондац-ый чидо-митхе кхэва паль-тархан ури минджого» («Наш национальный язык, развивающийся и совершенствующийся под руководством Трудовой партии Кореи»), 1962; «Маль-гва кыр-ый мунхвасон» («Культура языка и письменности»), 1963; «Ури сэчхваль-гва оён» («Язык в нашей жизни»), 1963; «Хйондэ чосонь» («Современный корейский язык»), ч. 1. Лексика и фонетика, 1961; ч. 2. Морфология, 1961; ч. 3. Синтаксис, 1962.

Грамматика: «Чосонь мунпхон» («Грамматика корейского языка». Сост. Об-во

по изучению корейского языка и письменности), 1949; Ким Сугён, Чосонь мунпхон (Грамматика корейского языка), 1954; Ли Гынён, Чосонь кодыц мунпхон (Грамматика корейского языка для высшей школы), 1955; Ким Бйондже, Чосонь мунпхон (Грамматика корейского языка), 1956; «Чосонь мунпхон» («Грамматика корейского языка». Сост. Ин-т языка и литературы АН КНДР), т. 1. Фонетика и морфология, 1960; т. 2. Синтаксис, 1963.

Фонетика: Ли Гынно, Сирхон тохэ чосонь ымсёнхак (Фонетика корейского языка. Экспериментальное исследование), 1949; его же, Чосонь йокчонь йонгу (Исследование акцентуации корейского языка), 1964.

Орфография: «Чосонь чхольччашпхон» («Орфография корейского языка»), 1954, 1956; «Чосонь чхольччашпхон саджон» («Орфографический словарь корейского языка»), 1956; «Чосонь верэб пхёгипхон» («Способы написания иностранных слов в корейском языке»), 1955, 1958; «Чосоньмаль кюбон чип» («Нормирование корейского языка»), 1966; «Верэб матчхумпхон» («Правописание иностранных слов»), 1968.

Диалектология: Ким Бйондже, Чосонь паёнхак кэб (Очерки корейской диалектологии), ч. 1, 1959; ч. 2, 1965.

Стилистика: Ли Гынён, Чосонь мунчхерон (Стилистика корейского языка), 1964.

История языка: Чон Моңсу и Хоң Гимун, Хунмин джоным йокхэ (Корейский национальный алфавит, с объяснениями и таблицами), 1949; Чён Йёльмо, Силла хяңга чухэ (Толкование песен *хяңга* периода Силла), 1954; Хоң Гимун, Хяңга хэсёк (Комментарий к *хяңга*), 1956; его же, Иду йонгу (Исследование письма *иду*), 1957; его же, Чосонь йокса мунпхон (Историческая грамматика корейского языка), 1966; Хван Буйон, 15 сегн чосонь чонхчон помджу-ый йонгу (Исследование категории ориентации в корейском языке XV в.), 1959; «Чосонь пхёджун са» («История корейского литературного языка»), 1965.

Лексикография: «Чосонь сосаджон» («Малый словарь корейского языка»), 1955, 1956; «Ноджо саджон» («Русско-корейский словарь»), 1958; «Чосоньмаль саджон» («Словарь корейского языка»), 6 тт., 1960—1962; «Сэ онхйон» («Новый иероглифический словарь»), 1964; «Хйондэ чосоньмаль саджон» («Словарь современного корейского языка»), 1968.

В КНДР опубликовано также много памятников корейской письменности.

Раздел «Монголия», написанный Н. Поппе, посвящен обзору лингвистической работы, которая ведется в настоящее время в Монгольской Народной Республике. Сделанный очень тщательно обзор дает общее представление о состоянии и основных видах этой работы, о некоторых наи-

более интересных трудах ведущих ученых-филологов; недостаточность материала, которым располагал автор обзора, не позволила более полно представить тематику и объем лингвистических исследований. Поэтому для полноты картины следовало бы внести некоторые дополнения.

В обзоре справедливо говорится, что монголы, несмотря на свою долгую историю, — молодая нация. Действительно, сама МНР, ее наука и лингвистика, в частности, еще очень молоды. Не все разделы науки о языке развиты равномерно, но можно видеть, как год от года углубляется и расширяется проблематика языковедческих работ. Недлишне напомнить об осуществлении монгольскими учеными-языковедами всех важных практических мероприятий, связанных с ликвидацией неграмотности и постановкой дела образования в стране.

В настоящее время в лингвистической работе МНР наиболее развиты три направления: исследования по грамматике монгольского языка, диалектологические исследования и словарная работа.

Что касается грамматических исследований, то тематика здесь весьма разнообразна и включает в себя вопросы фонологии, проблемы отдельных частей речи и частных грамматических категорий, вопросы структуры слова и структуры монгольского предложения.

В последнее время достаточно внимания уделяется изучению и описанию звукового строя монгольского языка. Много в области фонологии сделано акад. Ш. Лувсанванданом, целый ряд работ которого (помимо указанных в обзоре) посвящен редуцированным гласным в халхаском диалекте монгольского языка, происхождению долгих гласных современного монгольского языка, фонемной системе халха-монгольского языка, фонемной системе древнемонгольского языка³⁰. В 1967 г. вышла его книга «Грамматика современного монгольского языка». Звуковой состав монгольского языка³¹, содержащая разделы фонетики, фонематики и графики. Книга Ш. Лувсан-

вандана, который использовал фонологические исследования монгольского языка, проведенные русскими, западноевропейскими и американскими учеными, дает довольно полное описание монгольской фонематической системы и является заметным вкладом в монгольское языкознание.

Морфемная структура монгольского слова рассмотрена в статьях А. Лувсандэндэва и Ш. Лувсанвандана³². Грамматическое значение и функции некоторых морфологических формантов разбираются в статьях П. Бямбасана, Ц. Аюрзана, Л. Дамдинжавы³³. Опубликованы описания отдельных частей речи, например, послелогов, некоторых местоимений, сложной и спорной в монгольском языке части речи — наречия, парных слов³⁴.

В 1966 г. вышла в свет «Грамматика современного монгольского языка»³⁵, учебное пособие для студентов университетов и вузов, составленное коллективом авторов под общей редакцией Ш. Лувсанвандана. Эта первая национальная грамматика для высшей школы — заметное событие в лингвистической жизни Монголии. Издан также учебник старописьменного монгольского языка для вузов³⁶.

³² А. Лувсандэндэв, Монгол угийн бутэц, «Хэл зохиол», I, 2, Улаанбаатар, 1960; Ш. Лувсанвандан, Монгол хэлний угийн бутцийн тухай асуудалд, «Монгол Улсын Их Сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг» (далее сокращенно — МУИСЭШ бичиг), 7, Улаанбаатар, 1964.

³³ П. Бямбасан, Орчин цагийн монгол хэлний *-маар, -мээр, -моор, -мөөр*, дагавар, «Улсын Багшийн Дээд сургуулийн заах арга эрдэм шинжилгээний бичиг» (далее — УБДС-ийн ЗАЭШБ), II, Улаанбаатар, 1964; Ц. Аюрзана, Орчин цагийн монгол хэлний *нэр* уг бутээх дагавар, «Их Сургуулийн багш оюутны эрдэм шинжилгээний бичиг» (далее — ИСБЭШБ), Улаанбаатар, 1963; Л. Дамдинжав, Зарим уг хувилгах дагавар уг бутээсэн нь, «УБДС-ийн ЗАЭШБ», II, 1964.

³⁴ См.: Ш. Барайшир, Орчин цагийн монгол хэлний дагавар угийн тухай, Улаанбаатар, 1958; З. Төмөрцэрэн, Монгол хэлний зарим төлөөний угийн тухай, Улаанбаатар, 1962; Ш. Барайшир, Монгол хэлний дайвар угийн утга зүйн асуудалд, «БНМАУ-ын ШУАМ», Улаанбаатар, 1964; Э. Вандуй, Монгол хэлний хоршоо угийн учир, «Шинжлэх ухаан», 4, Улаанбаатар, 1964.

³⁵ «Орчин цагийн монгол хэл зүй», Улаанбаатар, 1966.

³⁶ Д. Чойжилсурэн, Монголын хуучин угсийн сурах бичиг, Улаанбаатар, 1965.

³⁰ Ш. Лувсанвандан, Монгол хэлний халх аялгууны балархай эгшгийн тухай асуудалд, «Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын шинжлэх ухааны академийн мэдээ», 2, Улаанбаатар, 1964 (далее сокращенно — БНМАУ-ын ШУАМ); ег о ж е, Орчин цагийн монгол хэлний урт эгшгийн гарлын тухай, «Хэл зохиол», Улаанбаатар, 1967; S. Z u v s a n v a n d a n, The Khalkha-Mongolian phonemic system, «Acta orient. Hung.», XVII, 2, 1965; Ш. Лувсанвандан, Эртний монгол хэлний фонемийн систем, «Studia Mongolica», V, 2, Улаанбаатар, 1965.

³¹ Ш. Лувсанвандан, Орчин цагийн монгол хэлний зүй. Монгол хэлний авианы бутэц, I, Улаанбаатар, 1967.

В трудах монгольских ученых разрабатываются и вопросы синтаксиса. Грамматическим признакам и принципам выделения обстоятельства и дополнения в монгольском предложении посвящена монография Л. Мишига³⁷, занимавшегося изучением и структурных типов словосочетаний³⁸. Признаки и особенности подлежащего и определителя раскрыты в брошюрах Э. Вандуя³⁹. Впервые затронут совершенно не исследованный вопрос о смысловом и акцентном членении монгольского предложения в работе Ж. Чойжилсурана⁴⁰.

Почти все монгольские языковедные работы написаны в плане «традиционной» грамматики; новые лингвистические методы еще не нашли широкого применения у монгольских языковедов.

Особенно активизировалась диалектологическая работа в МНР. В последние 10—15 лет идет интенсивное исследование монгольских и немонгольских диалектов и говоров, распространенных на территории республики. Почти ежегодно организуются комплексные этнолого-лингвистические экспедиции в разные районы страны. Уже опубликованы материалы о фонетических, морфологических и лексических особенностях диалектов дербетов, дзахахи и торгоутов, дзаханских сартулов, хубсугульских дархатов, хотогойтов, узумчин, а также некоторых наречий халхаского диалекта⁴¹. На основании собранных материалов, предоставляющих широкие возможности

для сравнительной и сравнительно-исторической монголистики, в настоящее время ведется работа по составлению диалектологического атласа МНР.

В обзоре вскользь упоминается исследование бурятских диалектов советскими учеными. Между тем, изучение монголоязычных народов на территории СССР — бурят и калмыков — настолько продвинулось вперед, что сейчас можно говорить о бурятоведении и калмыковедении как о ветвях советского монголоведения.

Наряду с диалектологической работой широко развернута лексикологическая и лексикографическая работа. Изучается словарный фонд монгольского языка, составляются различные, в том числе отраслевые словари. Кроме упомянутых в обзоре монголо-русского словаря А. Лувсандэндэва (1957 г.) и толкового словаря Я. Цевела (1966 г.), издан первый том вновь составленного русско-монгольского словаря Ц. Дамдинсурана и А. Лувсандэндэва⁴². Вышло в свет довольно много терминологических словарей. Государственная терминологическая комиссия уже много лет периодически издает свои выпуски по различным отраслям знаний, в том числе и по языкознанию. В 1964 г. был издан русско-монгольский и монголо-русский словарь лингвистических терминов⁴³, а в 1965 г. русско-монгольский терминологический словарь Э. Вандуя⁴⁴. Из отраслевых словарей можно назвать словарь литературоведческих терминов, словари музыкальных, торговых, математических, сельскохозяйственных, медицинских, ветеринарных и др. терминов, а также терминов библиотечного дела.

Из иностранных языков в МНР по традиции продолжают изучаться тибетский и маньчжурский языки, хотя ни один из них не стал еще объектом специального лингвистического исследования. Издаются грамматики этих языков⁴⁵, переиздаются старые словари. В 1949 г. был переиздан монголо-тибетский, в 1959 г. — тибетско-монгольский словарь, оба под редакцией Б. Ринчена. Другие зарубежные языки почти не исследуются, хотя в морфологических работах для сравнения часто привлекаются данные тюркских, корейского, японского языков.

³⁷ Л. Мишиг, Монгол хэлний тусгагдахуун ба байц, Улаанбаатар, 1957.

³⁸ Л. Мишиг, Монгол хэлний холбоо угийн зүйл, Улаанбаатар, 1957.

³⁹ Э. Вандуй, Өгүүлэгдэхууний тухай, Улаанбаатар, 1958; егo же, Өгүүлбэрийн дэд гишуун — тодотголмын тухай, Улаанбаатар, 1958.

⁴⁰ Ж. Чойжилсуран, Монгол хэлний огуулбэрийн утга дуудлагын хувьд хэрхэн ангилахыг, «ИСБОЭШБ», Улаанбаатар, 1963.

⁴¹ Э. Вандуй, Дөрвөд аман аялгуу, Улаанбаатар, 1965; Ж. Цолоо, Захчин, торгууд аялгууны онцлогоос, «Хэл зохиол», I, 14, 1964; Э. Вандуй, Забханы сартуул ба тууний аман аялгуу, там же, II, 7, 1964; С. Бадамхатаг, Хөвсгөлийн дархад ястан, Улаанбаатар, 1965; Ш. Шинэхуу, Хотгойдын аман аялгууны авиа зүйн зарим онцлог, «ИСБОЭШБ», 3, 1963; Ж. Цолоо, Хотгойдын аман аялгууны онцлог, «БНМАУ-ын ШУАМ», 4, 1964; Ж. Томорцэрэн, Үзэмчин, аялгууны зарим онцлогоос, «Studia Mongolica», IV, 13, 1965; Ш. Барайшир, Зарим пугийн халхын аялгууны авиазүйн тухай, Улаанбаатар, 1956; Ш. Шинэхуу, Халхын аялгууны өмнөд хэсгийн авиа зүйн зарим онцлог, «ИСБОЭШБ», 3, 1963.

⁴² Ц. Дамдинсуран, А. Лувсандэндэв, Орос-монгол толь, I, Улаанбаатар, 1967.

⁴³ «Нэр томъёоны цуврал бичиг. Хэлний шинжлэл», боловсруулсан Ч. Лувсанжав, II, 2, Улаанбаатар, 1964.

⁴⁴ Э. Вандуй, Орос-монгол нэр томъёоны толь, Улаанбаатар, 1965.

⁴⁵ Ц. Дорж, Төвд хэл бичигт суралцах дэвтэр, Улаанбаатар, 1961; Д. Дэндэв, Манж хэлний сурах бичиг, «Хэл зохиол», I, 13, 1961.

Достижения монгольского языкознания, как это верно отмечено автором обзора, являются успешным и обнадеживающим началом и залогом его дальнейшего развития.

Обзор «Тибет» (стр. 766—774), написанный Т. Уайли, представляет собой один из наиболее удачных в рецензируемом томе. Он дает краткое описание изучения тибетского языка в самом Тибете, изучения его в КНР, изучения его на Западе.

Труды по тибетскому языку не настолько многочисленны, чтобы можно было бы их обзор ограничивать узкими хронологическими рамками, поэтому Т. Уайли с полным основанием начинает с упоминания о первой грамматике тибетского языка, написанной создателем тибетской письменности, и далее указывает ряд трудов тибетских филологов более позднего времени. В обзоре упоминаются все основные труды по тибетскому языку, появившиеся на протяжении уже довольно длительной истории изучения тибетского языка за пределами Тибета. Автор показывает себя хорошим знатоком современной литературы по тибетскому языку: в обзоре содержатся упоминания не только научных публикаций, но также и труднодоступных учебных изданий вроде учебников английского языка для тибетцев, попавших в Индию.

Несколько библиографический уклон обзора вызван вовсе не нежеланием автора входить в содержательное обсуждение проблем тибетского языка. В тибетском языкознании столько нерешенных вопросов, что краткое изложение идей и результатов исследований просто невозможно. Поэтому, как и следовало ожидать, наиболее содержательно в обзоре освещена проблема тонов, которая изучена более других. Однако, как кажется, обзор этой проблемы только вытравил бы, если бы он былечат с исследований Чжао Юань-жэня, предпринятых еще в 30-х годах XX в.⁴⁶

Совершенно справедливо указывая на внешние причины, способствовавшие развитию исследований по тибетскому языку, Т. Уайли не говорит о наличии также и внутренних причин, обусловивших интерес лингвистов к этому предмету. Как известно, на рубеже XIX и XX вв. были заложены основы сравнительно-исторического изучения языков китайско-тибетской семьи. Тибетский же язык имеет письменность с VII в. и до сих пор сохраняет архаичную орфографию, которая позволяет с помощью иноязычных транскрипций тибетского языка и тибетских транскрипций иностранных языков реконструировать фонологическую систему тибетского языка, относящуюся к времени

создания письменности. Поскольку ни один из языков китайско-тибетской семьи не имеет столь старой фонетической письменности, очевидно, что тибетский имеет большое значение для их сравнительного изучения. Поэтому в значительном числе трудов по тибетскому языку преследуются цели сравнительно-исторические.

Изучение живого тибетского языка продвигается довольно медленно прежде всего потому, что Тибет всегда был весьма труднодоступным местом, куда лингвисты обычно не попадали. Поэтому лингвистические исследования по тибетскому языку чаще всего основываются либо на материалах, собранных представителями других профессий, либо на материалах довольно случайных информантов. Тибетский язык разделен на несколько довольно далеко отстоящих друг от друга диалектов, среди которых диалект Лхасы пользуется наибольшим престижем. Однако само по себе понятие «лхасский диалект» до сих пор не определено с достаточной четкостью — известно несколько описаний этого диалекта, которые различаются в весьма существенных деталях. Это досадное расхождение в описаниях одного и того же диалекта, вероятно, является следствием того, что лингвистические материалы берутся от небольшого числа информантов, представляющих либо различные варианты лхасского диалекта, либо некоторые другие диалекты, близкие к лхасскому.

Технический уровень фонетических исследований тибетского языка возрастает — об этом свидетельствует экспериментальная работа Э. Рихтера по фонетике лхасского диалекта⁴⁷. Недостаток ее в том, что она основана на магнитофонном воспроизведении небольшого курса тибетского языка, записанном от одного диктора. Для того чтобы получить представление о лхасском диалекте в целом, следует привлечь значительно более широкий материал.

Т. Уайли справедливо отмечает оживление исследований в области тибетского языка в КНР после 1951 г. Нелишне было бы указать, что оно было подготовлено трудами китайской школы тибетологии, которая связана с такими именами как Ли Фан-гуй, Чжао Юань-жэнь, Ло Чан-пэй, Ван Цзин-жу, Вэнь Ю и др.

Экспедиции лингвистических учреждений АН КНР, Центральной Академии Национальных меньшинств в Пекине и провинциальных академий национальных меньшинств в Чэнду и Ланьчжоу постоянно работали в Тибете на протяжении многих лет. В основе полевых лингвистических изысканий по тибетскому языку лежала тщательно разработанная программа-анкета, содержащая вопросы по всем

⁴⁶ Yu Dawchuan, *Jaw Yunnanren, Love songs of the sixth Dalai-Lama*, Peiping, 1930, стр. 1—13, 25—29.

⁴⁷ E. Richter, *Grundlagen der Phonetik des Lhasa Dialektes*, Berlin, 1964.

разделам грамматики тибетского языка. Не входя в обсуждение самой анкеты, следует лишь сказать, что уровень самих вопросов свидетельствует о значительном прогрессе китайской школы тибетологии. К сожалению, китайских публикаций по тибетскому языку очень мало. Среди них видное место занимает большое исследование Цзинь Пэна по сравнительному изучению диалектов Лхасы, Шигадэ, Чамдо, основанное на материалах, собранных им лично во время пребывания в Лхасе⁴⁸. Остальные публикации представляют собой небольшие статьи, написанные на материалах экспедиций, по основная масса материалов полевых исследований так и не вовлечена в научный оборот.

Во второй части рецензируемого тома «Языкознание в Юго-Восточной Азии» (стр. 775—919) также изложение ведется по географическому принципу — в сущности по странам, которые в двух случаях объединяются по соображениям лингвистического порядка. Эта часть тома состоит из пяти глав, написанных лингвистами — как правило, крупными специалистами по важнейшим языкам обозреваемых ими стран. Главы следующие: «Бирма» (автор У. С. Корниц, США), «Тайланд и Лаос» (У. Дж. Гедней, США), «Вьетнам» (Л. С. Томпсон и Д. Д. Томас, США), «Индонезия и Малайзия» (Э. М. Уленбек, Голландия), «Языкознание в Камбодже и камбоджийский язык» (Дж. М. Джекоб, Англия). Вне поля зрения оставлены Филиппины.

Главы не равновелики (например, «Бирма» занимает 5 стр., «Индонезия и Малайзия» — 52 стр.) и очень разнородны в отношении плана построения, затрагиваемой тематики, стиля изложения, различаются размерами прилагаемых библиографий. Тем не менее, каждая из глав дает, во-первых, конкретный обзор развития языкознания (обычно вместе с проблемами государственного языка, языка школы) в рассматриваемой стране (или, соответственно, в двух странах) за период после второй мировой войны; во-вторых, в этих главах обозреваются работы по языкам страны, проведенные или проводимые за рубежом (в Европе, Америке и т. д.). Авторы пытаются, таким образом, совместить два принципа обзора языковедческой работы: по местам ее выполнения (или опубликования) и по ее предметам — языкам, языковым группам; в результате в главах второй части тома освещается исследование языков данной страны внутри нее и за ее пределами.

Несомненно, без внимания к протекающему научному процессу в отдельных стра-

нах невозможно составить представление о современном состоянии науки и о тенденциях ее развития. Кроме того, для углубленного исследования любого языка необходимо знакомство с лингвистическими работами, проведенными в связи с ним и с близкими ему языками в стране их распространения; в частности, интересно то, как описывают язык сами его носители.

Соединение регионального принципа обзора языковедческой работы с предметным принципом в области Юго-Восточной Азии облегчается тем, что в этих странах — в отличие, например, от Японии — до сих пор не опубликовано почти ничего научно ценного по иностранным языкам, а также по общему языкознанию.

Тем не менее, при избранной системе подачи материала рассыпается литература, относящаяся к языковым семьям и группам близких языков. Например, тайские и мон-кхмерские языки распространены почти во всех странах материковой Юго-Восточной Азии (а сверх того в Китае). Политическими границами разрывается и ареал тибето-бирманских языков. В рецензируемом томе не остается также места для обзора компаративной работы по указанным генеалогическим объединениям языков, не говоря уже о проблемах сверхдальних связей между ними. (Ряд важных трудов по этой проблематике все же перечисляется, но обычно эти перечни остаются вне логической структуры изложения. В несколько особом положении находится глава «Индонезия и Малайзия»: в ней освещается изучение языков только одной — австронезийской — семьи, которая почти не представлена на других территориях). По нашему мнению, целесообразней было бы построить изложение по группам родственных языков (иногда, может быть, и проблематичным), уделяя при этом внимание исследованию языков в странах их распространения.

Неодинаков характер обзора научной литературы в отдельных главах. В большой и в общем схематической главе «Бирма», а также в более обстоятельных главах «Вьетнам» и «Индонезия и Малайзия» обзор преимущественно «тематический»: сообщается, какая имеется литература (реже — какие ведутся работы) по тем и иным темам и проблемам, причем проблемы только называются и почти не расписываются; о взглядах, защищаемых тем и иным автором, почти не говорится. В главе, посвященной Тайланду и Лаосу, и в особенности — в главе о Камбодже изложение большей частью ведется по проблемам: раскрывается существо излагаемой проблемы и прослеживается развитие научной дискуссии по ней (подобные сведения, хотя и очень лаконичные, даются в части случаев также в главе «Индонезия и Малайзия»).

⁴⁸ Цзинь Пэн, Цзан юй Ласа, Жикэцэ, Чанду хуади бицзяо яньцзю, Пекин, 1958.

Отбор литературы находится в зависимости от конкретной темы и от плана статьи, в отношении разработки которых авторы были, очевидно, практически самостоятельны (редакция ограничивалась лишь самыми общими указаниями, см. стр. VII).

Поэтому в смысле полноты охвата научной литературы главы второй части тома довольно разнородны.

В отношении полноты учета всех действительно важных научных работ по языкам данной страны, вышедших после второй мировой войны, можно сделать несколько замечаний по поводу главы Э. М. Уленбека «Индонезия и Малайзия», которая уже благодаря количеству затрагиваемых в ней языков достаточно содержательна и (по отношению к состоянию изучения этих языков на 1963—1964 гг.) в основном надежна. В этой главе, однако, не затрагиваются вопросы грамматического строя индонезийских языков в сравнительном аспекте. Ни в тексте, ни в библиографии не упоминаются монография И. Вильса «Пассивный глагол в индонезийских языках»⁴⁹ и более ранние работы по так называемым спрягаемым формам глагола (И. Йонкер, С. Эссер, Р. Хааксма). Обсуждая вопрос о применимости к индонезийским языкам традиционного сравнительно-исторического метода, Э. М. Уленбек не упоминает о статье В. Айхеле⁵⁰, представляющей интерес с точки зрения методики реконструкции более древних стадий развития индонезийских языков. Он не касается трудов Г. Кало (ГДР) — представителя своеобразного, пусть в целом и переспективного направления в австронезийской компаративистике.

Степень охвата литературы, изданной в стране ее уроженцами, в разных главах тоже неодинакова. Особенно небогата в этом отношении глава «Бирма» (вместе с библиографией). Библиография главы «Вьетнам» выглядит иначе: здесь много работ вьетнамцев, однако, во-первых, перечисляются, главным образом, работы, которые вышли на европейских языках; во-вторых, мало отмечается изданий ДРВ, причем все они, за исключением одного, относятся еще к 50-м годам. Много работ, вышедших в обозреваемых странах (в основном, в одной из них — в Индонезии) на местных языках, можно найти в библиографии главы «Индонезия и Малайзия». Однако даже в отношении Индонезии нельзя сказать, что существующая литература охвачена полностью (например, зарегистрированы не все статьи Ф. С. Ватусеке и Х. Г. Таригана по об-

ластным языкам Индонезии, вышедшие к 1963 г.).

Нет сомнения, что на информативной ценности глав сказались и задержка, происшедшая с изданием тома. Рукописи авторов были готовы, согласно замечанию Ш. Шебеока (стр. V), в 1965 г., а как следует из слов некоторых авторов (стр. 783, 815, 866, 919), даже и на год раньше. Тем не менее, по-видимому, нигде не сделано необходимых корректив в тексте главы с целью отразить развитие науки за последние годы. Имеются дополнения в библиографиях. В частности, в библиографии главы «Вьетнам» (а также в списках глав) отмечен ряд работ, вышедших в 1964—1966 гг. Но характерно, что среди них нет ни одной работы, изданной в Советском Союзе. Советские публикации прослеживаются в этой главе только до 1962 г.; не учтена и монография Ю. К. Лекомцева «Структура вьетнамского простого предложения» (М., 1964). Итак, авторам главы «Вьетнам» свойствен тот же недостаток, в каком они обвиняют советских лингвистов (стр. 831) — это запоздалый учет заграничных научных изданий. Почти таково же положение в главе «Таиланд и Лаос».

В библиографиях трех остальных глав дополнений за счет новых изданий очень мало. В них не учитываются даже вышедшие в 1965 г. 14 и 15-й тома журнала «Lingua», специально посвященные языкам Юго-Восточной Азии и Океании⁵¹.

В библиографиях встречается неполное оформление библиографических справок (в частности, в главе «Бирма»); попадаются опечатки и даже серьезные ошибки. Так, например, в разных главах (стр. 780, 846, 888) смешиваются журналы «Acta orientalia» (Копенгаген) и «Archiv orientální» (Прага).

В целом вторая часть тома представляет картину современного состояния исследований языков Юго-Восточной Азии (конечно, «современное состояние» следует понимать несколько расширительно: в некоторых главах, в частности «Индонезия и Малайзия», отставание обзора от того уровня, которого исследования достигли к настоящему моменту, весьма ощущается). Все же создаваемая второй частью тома картина не целостна, не повсюду достаточно полна и ясна, не выдержана по характеру изложения и по стилю.

Кроме второй части тома, языкам Юго-Восточной Азии посвящена небольшая статья в главе «Япония» (1 часть тома). Японский вьетнамист Т. Минэя представляет здесь обзор исследований сво-

⁴⁹ J. Wils, Het passieve werkwoord in de Indonesische talen, 's-Gravenhage, 1952.

⁵⁰ W. Aichele, Beiträge zur indonesischen Sprachgeschichte, «Oriens Extremus», 3, 1956.

⁵¹ Между прочим, второй сборник санданских текстов Х. ван дер Везна, о котором Э. М. Уленбек пишет «to appear» (стр. 897), еще в 1966 г. вышел (H. van der Veen, The Sa'dan Toradja chant for deceased, 's-Gravenhage, 1966).

их соотечественников по языкам этого региона, начиная с довоенных лет и кончая 1964 г. (некоторые из японских изданий отмечаются и во второй части тома, главным образом в библиографиях). Японские лингвисты внесли немалый вклад в изучение австронезийских языков. В частности, абортивные языки Тайваня известны науке в основном благодаря трудам Н. Огавы и Э. Асаи. Х. Идзуи работал над языком Микронезии и занимался также проблемами сравнительно-исторического исследования австронезийской семьи. Крупнейшим специалистом по тибето-бирманским языкам является Т. Ниседа, который также работает над реконструкцией тангутского языка. К сожалению, многие из работ по языкам Юго-Восточной Азии, опубликованных на японском языке, мало известны за пределами Японии. Краткий обзор Т. Минэи полезен тем, что он

способствует включению этих работ во всемирный научный процесс.

*

В заключение следует особо подчеркнуть заслугу издательства, взявшегося за такое сложное предприятие, как выпуск многотомника «Современные течения в языкознании». Следует надеяться, что работа над этим исключительно полезным изданием не будет прекращена: такие книги, в которых подводятся результаты развития языкознания за определенный период, должны издаваться регулярно. При составлении планов на будущее следует иметь в виду, что в рецензируемом томе не упомянуто о трудах по тангутскому, киданьскому и центральноазиатскому языкознанию, достижения которых достойны того, чтобы информировать о них читателей издания «Современные течения в языкознании».

D. G. Haus, Introduction to computational linguistics. — New York, American Elsevier, 1967, XVI+231 стр.; «Readings in automatic language processing», ed. by D. G. Hays, New York, American Elsevier, 1966. V+202 стр.

В последние годы бурно развивается новая отрасль прикладного языкознания — решение лингвистических задач с помощью вычислительных машин. Эта область исследований настолько нова, что в русском языке еще не утвердилось ее терминологическое определение. По аналогии с английским термином «computational linguistics» ее следовало бы назвать вычислительной лингвистикой¹.

Вычислительная лингвистика призвана решать широкий класс задач, связанных с лингвистическими исследованиями и автоматической обработкой текста. Упомянем некоторые из них: составление разнообразных словарей и конкордансов, статистический анализ текстов, исследование вероятностного изменения языковой модели во времени, оценка степени родства языков, дешифровка текстов, кодировка текста в терминах заданных признаков, перевод текстов с одного естественного языка на другой, перевод текстов с естественного языка на информационный, реферирование и индексирование текстов².

Работы по вычислительной лингви-

стике имеют широкий выход не только в языкознание, но и в психологию, социологию, педагогику и документалистику. Психология и социология в большей степени основаны на анализе того, что люди говорят и пишут. Социологи проводят беседы, групповые дискуссии, изучают письма, дневники, газеты и т.д. — их интересует в основном содержание сообщений и отсюда — мотивы поведения людей. Документалистика может дать материал для решения этих вопросов. Документалистика основана на анализе формы и содержания сообщений и потому тесно связана с вычислительной лингвистикой. Наконец, можно указать на взаимосвязь педагогики и вычислительной лингвистики — в деле создания учебных пособий, в разработке систем программированного обучения и т.п.

Именно такой широкий подход к вычислительной лингвистике как дисциплине, имеющей первостепенное значение для всего комплекса гуманитарных наук, характерен для Д. Хейса, подготовившего обе рецензируемые книги. Д. Хейс — видный американский антрополог (в том значении этого термина, который принят в США), посвятивший последние десять лет углубленным исследованиям по вычислительной лингвистике. Его книги заполняют давно ощущавшийся пробел — отсутствие пособий по вычислительной лингвистике.

Первая из рецензируемых книг — «Введение в вычислительную лингвистику» — прекрасный вадемукум по проблемам

¹ Предлагались и другие названия — «автоматизация в лингвистике», «автоматическая лингвистика», «автоматизация лингвистических работ» (см. в частности: И. А. Мельчук, Международная конференция по автоматизации в лингвистике, НТИ, 1967, 7).

² Подробнее см.: В. А. Москвич, Автоматизация некоторых аспектов лингвистической работы, ВЯ, 1966, 1.

вычислительной лингвистики и основным методом их решения. Композиция книги соответствует ее назначению. Вначале дается доступное неподготовленному читателю описание устройства вычислительных машин и основ программирования, затем — рассматривается решение на ЭВМ ряда простых задач и в конце — решение сложных задач.

Программистская часть книги знакомит с техникой использования языков программирования и способами построения программ сортировки данных, поиска данных в словаре, накопления данных, внесения исправлений и дополнений в информационные массивы. Много места уделено описанию алгоритмов и программ грамматического анализа текстов на основе грамматики зависимостей и трансформационной модели. Каждая из задач иллюстрируется примером конкретного алгоритма.

Общелингвистический интерес представляет та часть книги, где рассматриваются процедуры грамматического анализа в свете современных синтаксических теорий. Для того чтобы дать детальную характеристику синтаксических структур, наблюдаемых в речи, или извлечь из текстов их смысл, лингвисту необходим более мощный аппарат, чем контекстуально-свободные грамматики фразовых структур. Автор рассматривает три проекта такого более мощного аппарата: трансформационную грамматику Н. Хомского, грамматику фразовых структур Ю. Пендерграфта и многоуровневую грамматику С. Лэма. В грамматике Н. Хомского сравнительно простая грамматика фразовых структур порождает глубинные структуры со связанными терминальными цепочками. Трансформации, оперируя ими, производят поверхностные структуры со связанными цепочками, которые могут быть преобразованы в написанные предложения или устные фразы. Задача аппарата трансформационной грамматики — определить глубинную структуру любого анализируемого предложения.

Ю. Пендерграфт предложил построить помимо дерева составляющих второе дерево, характеризующее отношения между частями дерева зависимости. Отношения второго порядка, согласно Ю. Пендерграфту, отражают семантические структуры. Каждый уровень имеет свою грамматику. Предложение может иметь правильную синтаксическую структуру относительно первой грамматики, но быть неправильным с точки зрения второй — тогда оно будет грамматически правильным, но бессмысленным³.

Уровневая грамматика С. Лэма строит несколько параллельных схем любого текста. Каждая схема относится к отдельному уровню анализа⁴.

Автор рецензируемой книги праведливо указывает на перспективность теории уровневой грамматики: факты естественных языков описываются проще, если они рассортированы по уровням; каждый вид явлений рассматривается на одном уровне, где механизмы, управляющие другими видами явлений, не входят в поле внимания; вероятно, обработка языковой информации в мгу человека происходит приблизительно таким же образом.

Д. Хейс посвящает отдельную главу книги описанию аппарата уровневой грамматики, анализирующей текст в плане четырех уровней: фонемного, морфемного, лексемного, семемного. Особое внимание он уделяет механизмам перехода от лексемного уровня к семемному. К сожалению, изложение этого круга проблем, столь актуальных для современного языкознания, произведено крайне упрощенно и поверхностно. Впрочем этот упрек можно отнести и в адрес тех американских авторов, на чьи работы опирался Д. Хейс.

Наиболее ценными для лингвиста являются те главы книги, в которых рассматривается методика использования ЭВМ в целях лингвистического исследования. Со времени появления известной статьи П. Гарвина принято различать три степени участия вычислительной машины в лингвистическом исследовании — низшую (без использования какой-либо лингвистической теории), среднюю (с частичным использованием теории) и высшую (полностью основанную на лингвистической теории). Низшая степень использования ЭВМ — это собирание данных с ее помощью (составление конкордансов к текстам, словарей). Средняя степень — это проверка с помощью ЭВМ информации, полученной заранее (например, испытание алгоритмов автоматического перевода и переводных соответствий при автоматическом переводе новых текстов).

Высшая степень достигается тогда, когда машина полностью руководствуется теорией, выработанной лингвистом (например, устройством, которое можно опустить на парашюте в джунгли для описания неизвестного языка)⁵.

Д. Хейс рассматривает случаи, относящиеся ко всем степеням участия ЭВМ в работе лингвиста. Оправдана та подробность, с которой он описывает различные виды конкордансов к тексту — по

³ «Symposium on the current status of research», ed. by W. P. Lehmann, E. D. Pendergraft, LRC-63-SR1, Linguistics research center, The University of Texas, стр. 15—60.

⁴ S. M. L a m b, Outline of stratificational grammar, Berkeley, 1962.

⁵ P. L. G a r v i n, Computer participation in linguistic research, «Language», XXXVIII, 4, 1962.

его словам, «конкорданс — это необходимое орудие исследования для новичка в лингвистике, а каждый лингвист — новичок, когда он начинает работать над новым языком» (стр. 170)⁶. Лингвист стремится во что бы то ни стало получить полный конкорданс к анализируемому тексту в печатной форме. Между тем он не задумывается о технических аспектах работы по изготовлению конкорданса — объем конкорданса в десятки раз превышает объем оригинального текста, поэтому его изготовление крайне перенатянуто. Конкорданс к «Божественной комедии» Данте занимает 1000 страниц по 100 строк в каждой странице; конкорданс к миллиону слов исходного текста занимает десять таких томов, а конкорданс к собранию сочинений Фомы Аквинского (1 700 000 строк исходного текста) займет 100 таких томов! Поэтому целесообразно хранить конкорданс в памяти ЭВМ и выдавать на печать отдельные статьи конкорданса по требованию лингвиста. Разумеется, такой план может быть реализован лишь при наличии мощной машинной базы.

Д. Хейс подробно описывает различные процедуры автоматического анализа текста — процедуру идентификации морфных границ по З. Харрису⁷, установления правил морфотактики, позиционной классификации элементов предложения по П. Гарвину⁸, идентификации синтаксических конструкций и т. п. Особый интерес представляет изложение работ по грамматическому анализу с автоматическим исправлением ошибок (иначе — автоматической классификации элементов текста). Автоматическая классификация предполагает разделение объектов, наблюдаемых в тексте, по классам в соответствии с их дистрибутивными свойствами. Работы в этом направлении интенсивно развиваются как в США, так и в нашей стране⁹. В перспективе развертывание этого круга исследований может

привести к созданию самообучающихся систем автоматического анализа текста.

В конце книги дается популярное описание проблематики автоматического перевода, индексирования и реферирования.

На фоне многочисленных работ по автоматическому переводу, полных саморекламы, туманных обещаний и явной спекуляции на нениформированности рядового читателя в вопросах автоматического перевода книга Д. Хейса выделяется как объективное реалистическое описание подлинных проблем и перспектив этой области прикладной лингвистики.

Д. Хейс откровенно говорит о том, что машина пока переводит очень плохо, а будет ли она переводить намного лучше в будущем — это вопрос открытый. Он различает пять уровней автоматического перевода: 1) транслитерацию; 2) пословный перевод; 3) синтаксический перевод; 4) пофразный перевод; 5) семантический перевод. В настоящее время мы достигли третьего уровня перевода, дальнейшее движение требует введения в память машины семантической и энциклопедической информации, что в практическом плане вряд ли рентабельно.

Глава по документалистике не вполне удалась Д. Хейсу. Он много пишет о типах изданий и системах публикации, но очень бегло говорит о проблематике автоматического индексирования и реферирования. Между тем именно это направление наиболее интенсивно развивается в последнее время, и, вероятно, в ближайшем будущем основная масса специалистов по вычислительной лингвистике будет работать в этой области.

В целом книга «Введение в вычислительную лингвистику» заслуживает высокой оценки. Это очень квалифицированное руководство по вычислительной лингвистике, которое можно использовать как для обучения студентов, так и для ознакомления с вычислительной лингвистикой. К ряду глав приложены списки вопросов для самоконтроля, каждая глава сопровождается аннотированной библиографией. Книга завершается указателями — именным и предметным.

Прекрасным дополнением к книге Д. Хейса является составленный им сборник «Хрестоматия по вычислительной лингвистике». В сборник включены следующие 12 статей: 1) «Специальные языки для описания машинных языков и их обработки — чертова дюжина» (С. Горн); 2) «Естественные языки — их ввод в вычислительные машины» (М. Кэй и Т. Зи); 3) «Быстродействующая словарная система большой емкости» (С. Лам и У. Джейкобсен); 4) «Синтаксический анализ» (Д. Хейс); 5) «Алгоритм предсказуемого анализа и метод сокращения числа вариантов анализа» (С. Куно); 6) «Синтаксическая связность, синтаксические функции и русский синтаксис» (Д. Хейс); 7) «Грамматика спецификато-

⁶ О различных видах конкордансов см.: S. M. Lamb, L. G. Gould, Concordances from computers, «Mechanolinquistics project», Berkeley, 1964.

⁷ Z. S. Harris, From phoneme to morpheme, «Language», XXXI, 1955.

⁸ P. L. Garvin, Automatic linguistic analysis—a heuristic problem, «1961 international conference on machine translation of languages and applied language analysis», London, 1962.

⁹ Из советских работ см.: А. Я. Шайкевич, Распределение слов в тексте и выделение семантических полей, сб. «Иностранные языки в высшей школе», М., 1963; Н. Д. Андреев, Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении, Л., 1967, Изложение ряда американских работ см. в упомянутой выше статье И. А. Мельчука.

ров» (Д. Диннин); 8) «Методология исследований в целях машинного перевода» (Х. Эдмундсон и Д. Хейс); 9) «Механизация синтаксического анализа» (С. Лэм); 10) «Указатель ключевых слов в контексте для технической литературы» (Г. Лун); 11) «Автоматическое сопоставление фраз» (Дж. Сэлтон); 12) «Основы синтаксического перевода» (В. Ингве).

Статьи сборника отражают развитие вычислительной лингвистики за последнее десятилетие — начиная от ранних работ по автоматическому переводу (статьи В. Ингве, Х. Эдмундсона и Д. Хейса) и кончая современными проектами сложных информационных систем (статья Дж. Сэлтона). Четыре статьи посвящены проблемам синтаксического анализа (статьи Д. Хейса, С. Куно и С. Лэма). Это объясняется тем центральным местом, которое занимали вопросы синтаксического анализа в работах по автоматическому переводу.

Недостатком сборника является полное отсутствие в нем работ по семантике. Между тем как раз в области семантики сосредоточены в настоящее время усилия специалистов по вычислительной лингвистике.

Хрестоматия Д. Хейса дает хорошее представление о работах по вычислительной лингвистике по состоянию на 1965 г. Отправляясь от указателей литературы, приложенных к каждой статье хрестоматии, читатель сможет углубиться в изучение того или иного вопроса.

Помимо хрестоматии Д. Хейса в последние годы издано еще несколько сборников статей по вычислительной лингвистике (в основном, труды конференций),

но подбор работ в них случаен — он всецело определяется списком докладов на конференциях¹⁰.

В ближайшем будущем должно появиться множество пособий и книг по вычислительной лингвистике, что вызвано увеличивающейся с каждым годом важностью исследований в этом направлении и скудостью учебной литературы по этим вопросам. Книги Д. Хейса — первые в этом ряду книг — еще долго будут служить основными пособиями по этой дисциплине. Поскольку русский читатель не имеет таких пособий, а необходимость в них ощущается весьма остро, желательно в кратчайшие сроки организовать издание перевода книг Д. Хейса на русский язык.

Всем тем языковедам, которые хотят получить адекватное представление о сущности вычислительной лингвистики, следовало бы ознакомиться с книгами Д. Хейса. Они убедят в том, что вычислительная лингвистика — это не нечто скрытое за семью печатями, за непонятной символикой и бесчисленными новыми терминами. Подлинная вычислительная лингвистика — это четкая и ясная программа исследований, ведущая к реальным и лингвистически значимым результатам.

В. А. Москович

¹⁰ См., например, сб. «Computation in linguistics. A case book», ed. by P. L. Garvin, B. Spolsky, Bloomington — London, 1966, «Les machines dans la linguistique», éd. par I. Stindlova, Prague, 1968.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

РУКОПИСИ С ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ ТЕМАТИКОЙ В ДРЕВНЕХРАНИЛИЩЕ ПУШКИНСКОГО ДОМА

Мысль В. И. Малышева о том, что писки древнерусских рукописей научно необходимы¹, получила неоспоримое подтверждение в сложении нового богатого рукописного фонда.

В результате тщательных более чем тридцатилетних археографических разысканий самого инициатора этого дела и всех тех, кого он вдохновил своим редким талантом собирателя и проникновенным восприятием русской старины (среди участников поисковых экспедиций — сотрудники сектора древнерусской литературы ИРЛИ, преподаватели и студенты ЛГУ, научные работники иных институтов и учреждений), в Пушкинском доме теперь сосредоточено свыше 4500 рукописей (XII—XIX вв.). По ним (как и по рукописям других хранилищ) учеными разных специальностей уже исследуется рукописное наследие древней Руси.

Значение собранных в ИРЛИ материалов для лингвистики трудно переоценить. В этом обзоре будут рассмотрены лишь рукописи с языковедческой тематикой, но интересы лингвиста, понятно, выходят далеко за пределы избранного аспекта.

Привлекают внимание три общих и вместе с тем специфических черты собранных в ИРЛИ материалов:

1. Рукописи Пушкинского дома в основном представляют собой традицию Севера², в них отчетливо проявились черты севернорусских говоров³.

2. Коллекции ИРЛИ по преимуществу состоят из книг, которые хранились у крестьян (найжены даже личные и родовые

крестьянские библиотеки), в них запечатлелась письменная культура севернорусского крестьянства⁴; среда бытования рукописных книг отразилась и на их облике (они проще, беднее монастырских кодексов) и на их содержании (сказалась в отборе текстов, в характере копирования, в создании новых памятников, в записях и приписках владельцев); отсюда ясно, что эти рукописи — ценный источник по изучению и литературного и обиходного языка XVI—XIX вв. в том виде, в каком он был представлен в северных областях.

3. Среди рукописей ИРЛИ очень большое, если не сказать подавляющее, число списков относится к XVIII в. — недвусмысленное свидетельство того, насколько сильна была еще в ту пору рукописная традиция; изучение языка XVIII в. без обследования рукописных источников, наиболее непосредственно отразивших демократические тенденции, не может быть научно достоверным.

Переходя к рассмотрению собственно лингвистических сочинений, отметим сказание «О письменах» черноризца Храбра. Здесь оно в поздних списках (рпк. XVII в. Усть-Цилем. № 15, рпк. XVIII в. Мезенск. № 14), но и они важны, так как помогают установить хронологический предел, до которого этот древний болгарский памятник⁵ переписывался у нас и читался, не став еще лишь объектом научного анализа. Две переработки этого сказания оказались в собр. В. Н. Перетца⁶. Одна из них — в сборнике слов

¹ В. И. М а л ы ш е в, Исследования и разыскания по литературному наследию древней Руси, Автореф. докт. диссерт., Л., 1967, стр. 3.

² В научный обиход введены собрания: Гуслицкое, Карельское, Керженское, Красноборское, Новгородско-Псковское, Печерское (последнее в свою очередь делится на Усть-Цилемское, Верхнепечерское, Нарьян-Марские рукописи, Усть-Цилемское новое), Пинежское, Причудское и Северодвинское.

³ См.: В. И. М а л ы ш е в, Древнерусские рукописи Пушкинского дома, М.—Л., 1935, стр. 4 и сл.

⁴ В. И. М а л ы ш е в, Новые поступления в собрание древнерусских рукописей Пушкинского дома, «Русская литература», 1966, 2; 1967, 1; 1968, 2; 1969, 2.

⁵ Публикацию см.: К у й о М. К у е в, Черноризец Храбр, София, 1967, стр. 381—384, 388. Изданы тексты из Мезенского собрания, № 14 и Печерского (Усть-Цилемского), № 15.

⁶ Помимо северных собраний, в древнехранилище ИРЛИ входит целый ряд именных коллекций: И. С. Абрамова, Е. Ф. Будде, К. П. Гемп, В. Ф. Груздева, В. Г. Зыкина, С. Г. Евсеева.

и поучений 1698 г. (Пер. № 143); здесь сказание дано под заглавием, обозначающим его как чтение в день смерти Константина — Кирилла. За ним следует статья «О грамоте», касающаяся греческого алфавита. Список опубликован и исследован В. Ф. Марешем⁷. Другая переработка — в азбуквнике XVII в. (Пер. № 105) под тем же заглавием, но без похвалы князю Владимиру и без эпизода с русином, сочинившим в Корсуне письма; здесь сказание сочетается с летописной повестью (о расселении славян по Дунаю и о происхождении наименований *русь, поляне* и др.). Самый поздний список сочинения Храбра оказался в учебной азбуке последней трети XIX в. (Р IV, оп. 23 № 2).

Достойное место в собраниях ИРЛИ занимают словари и грамматики. В науке давно определилось мнение о большой важности для филологии в целом и в первую очередь для языкознания изучения особого жанра древнерусской научной литературы, который назван азбуквниками, или алфавитами. Древнерусские словари вообще и азбуквники в частности содержат ценнейшие языковые материалы.

Сделанные в духе больших объединительных предприятий XVI в. (Никоновская летопись или же не менее пространное собрание литературных текстов — Макарьевские Великие мшени-четы), азбуквники были в течение долгого времени популярны среди различных слоев населения, в том числе посадского люда. Они дошли до нас во многих списках, полный учет и текстологический анализ которых еще предстоит. Начать подобную работу на научных основаниях из недавнего времени мы не могли, так как не знали детально словарных работ, которые предшествовали азбуквнику, не знали языковой и общественной ситуации их возникновения. Азбуквники вошли в себя словари предшествующего периода. В каком-то смысле в них нашла отражение вся история русской средневековой лексикографии.

Ф. А. Каликина, Муравьевых, В. Н. Перетца (особенно ценное и богатое языковедческими рукописями собрание, всего в нем 657 единиц хранения), Н. С. Плотникова, И. М. Пухальского, И. А. Смирнова, Ф. В. Тумилевича, М. И. Успенского, Хвостовых и др., а также отдельные поступления и рукописи из фондов ИРЛИ АН СССР и ИМЛИ АН СССР, переданные во вновь образованный центр хранения древнего рукописного наследия.

⁷ В. Ф. Мареш, Сказание о славянской письменности (по списку Пушкинского дома АН СССР), «Труды Отдела древнерусской литературы», XIX, М.—Л., 1963.

Собрания Пушкинского дома существенно пополняют данные об азбуквниках: пять новых списков XVII—XVIII вв., фрагмент из азбуквника XVIII в. (Пинеж. № 394) и любопытные выписки из азбуквника, сделанные в XX в. (Калик. № 88). Азбуквники из собр. В. Н. Перетца № 87 и № 105 XVII в. и из Карельского собр. № 2 XVII в. принадлежат к числу тех списков пространного азбуквника, которые получили наиболее широкое распространение⁸. В предисловиях к этой разновидности азбуквника в качестве одного из основных истолкователей слов назван Максим Грек. Наиболее точно воспроизведен названный тип текста в азбуквнике Пер. № 105⁹, но в нем в числе сопутствующих словарному своду статей, кроме отрывка из «Речи тонкословия греческого» (разговорник XV в.) и отрывка из словаря «Сказание речемъ недоведомым» (XVI в.), даны выписки толкований к «Деяниям апостолов» и к тексту псалтыри, среди них и объяснения слов словарного типа (*маранафа си несть, яко ж нецыи нещиваши, евреискія, но сирьскія беседы, толкует же ся господь прииде*). Именно из таких толкований составлялись самые древние из наших словарей¹⁰.

Азбуквники Карел. № 2 и Пер. № 87 имеют уже заметную переработку текста и самого словарного свода¹¹. Разительные перемены в этом отношении находим в четвертом азбуквнике из собраний Пушкинского дома — Пер. № 170, помещенном в сборнике начала XVIII в. Это редкий список, где имя Максима Грека упомянуто не в предисловии, а в самом заглавии словаря («Толкование преподобного отца нашего Максима Грека, инокъ горы Синаискія») ¹². Словарный

⁸ В книге А. В. Пруссак («Описание азбуквников, хранящихся в рукописном отделении имп. публичной библиотеки», Пг., 1915) этот тип азбуквника выделен в первую группу; ее возглавляет азбуквник из собр. М. П. Погодина № 1145, известный в научной литературе.

⁹ Азбуквник ИРЛИ Пер. № 105 близок к азбуквнику ГПБ Погод. № 1145 не только в составе словарного свода, но совпадает с ним и в большей части статей, окружающих свод.

¹⁰ См.: Л. С. Котун, Русская лексикография эпохи средневековья, М.—Л., 1963, стр. 10—215.

¹¹ Если обратиться к спискам азбуквников Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, то новые тексты ближе всего примыкают к азбуквникам ГПБ XVI № 2 и ГПБ Эрм. № 213.

¹² Пока известен лишь азбуквник ГПБ Погод. 1145 начала XVII в., где также в самом заголовке сказано: «Превод Максима Грека».

свод его своеобразен. Сравнение его со словарем азбуконника Пер. № 105 всего на одну букву (Б) показало, что соответствуют в них только 26 статей (в азбуконнике Пер. № 170 из 48, в азбуконнике Пер. № 105 из 87), а буквально совпадает всего четыре статьи. Вместе с тем в азбуконнике Пер. № 170 есть и случаи развития толкований (например, азбуконник Пер. № 105 *броня, пансырь*; азбуконник Пер. № 170 *броня, латы или пансырь*; азбуконник № 105 *блядвыи, лжывыи*; азбуконник Пер. № 170 *блядвыи, лжывыи или ложь с лестию смешав глаголюи*), а 11 статей добавлено (среди них: *бдите, сну не вдавайтесь; блявание, травами врачевание; бедныя, бедныя наричет сукорюкия и рук не имущия; баскаки, дети боярские, посылаются на приказ*; указано, что последнее слово татарское).

Очень ценен список азбуконника в сборнике XVIII в. Верхнепечерского собр. № 4. Здесь под названием «Начало букв, в них же толкует неудобь разумеваемая речия» оказался краткий азбуконник, сохраняющий более архаический состав, чем азбуконники пространные¹³. Таким образом, поздний список XVIII в. дает возможность пополнить сведения о начальном этапе сложения азбуконника (середина XVI в.).

Возникший в результате активизации в XVI в. переводческих и исправительских работ, которая в свою очередь была вызвана языковой и общественной ситуацией эпохи, азбуконник не может быть приписан какому-нибудь отдельному лицу или группе лиц. Собираание и обогащение словарных материалов оказалось в ряду повседневных и насущно необходимых занятий русских книжников.

Представляется существенным разяснение и учет всех списков азбуконников, а также составление аннотированного перечня их. О создании такого сводного каталога азбуконников, или своего рода путеводителя по библиотекам, где находятся хотя бы важнейшие из них, справедливо говорит М. П. Алексеев. Он считает эту задачу «делом первой необходимости»¹⁴.

Помимо азбуконников, в собраниях ИРЛИ есть несколько списков словарей древнего периода. Словарь в лествице Иоанна Синайского «Толкование неудобь познаваемымъ речемъ» (XIV—XV вв.) найден в лествице середины XVI в. (Пер. № 40) и в сборнике XVIII в. (Верхнепечер. № 4). Оба списка принадлежат

ко второй группе II редакции словаря¹⁵. Словарь к псалтыри «Толк о неразумных словесех» оказался в соборной рукописи XVIII в. (Усть-Цилем. № 15) и имеет здесь наиболее полное название: «Толкование о неразумных словесех псалтырных»¹⁶. Это весьма архаический тип словаря, но дошел он до нас лишь в списках XVI—XVII в.¹⁷. Богат словарными материалами сборник второй половины XVII в. из Пинежского собр. № 197¹⁸.

В мировой науке все более возрастает интерес к изучению разговорной речи. Важность исторического аспекта этой широкой темы не может вызывать сомнений. Исследования Б. А. Ларина показали ценность данных, которые содержатся в словарях-разговорниках¹⁹. Изучением русских разговорников занят М. П. Алексеев²⁰, а также зарубежные ученые: Б. Унбегаун и И. Симонс (Англия), Р. Янобсон (США), Х. Соренсен, Л. Хаммерих (Дания), С. Люнден (Норвегия), П. Иогансон, Э. Гюнтер (ГДР).

Среди отдельных поступлений рукописного хранилища ИРЛИ — русско-скандинавский разговорник (ОП. оп. 24, № 5). Словарь находится в сборнике середины XVIII в., который написан несколькими почерками. Той же скорописью написан еще всего лишь один текст: разговор прусского короля с фельдмаршалом Венделем 31 июля 1759 г. Содержание словарика (в нем не больше 200 слов и выражений) чисто бытовое. Материал расположен тематически, но без строгого порядка. Совершенно ясно,

¹⁵ Текстологический анализ списков словаря к лествице см. в кн.: Л. С. К о в т у н, Русская лексикография эпохи средневековья, стр. 228—237.

¹⁶ Так же лишь в рукописи ГПБ Сол. 858 (748) и в печатной следованной псалтыри 1641 г., в остальных известных нам списках в заголовке словаря не сказано, к какому тексту он был составлен.

¹⁷ См.: Л. С. К о в т у н, Русская лексикография эпохи средневековья, стр. 183—188.

¹⁸ Полный состав сборника приведен в статье: Г. Я. С я м и н а, Э. М. Ш у с т о р о в и ч, Описание Пинежского собрания рукописей, хранящихся в кабинете русского языка Ленинградского университета, «Вестник ЛГУ», 20, Серия истории, языка и литературы, 4, 1966, стр. 134.

¹⁹ Б. А. Л а р и н, Парижский «словарь москвитов» 1586 г., Рига, 1948; его же, Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618—1619), Л., 1959. См. также его статьи более раннего времени.

²⁰ М. П. А л е к с е е в, Словари иностранных слов в русском азбуконнике XVII в.; см. также его статьи более раннего времени.

¹³ В собраниях ГПБ, где несколько десятков азбуконников, ему соответствуют редкие списки: ГПБ Погод. 1143, О. XVI, 1, Погод. 1648.

¹⁴ М. П. А л е к с е е в, Словари иностранных слов в русском азбуконнике XVII в., Л., 1968, стр. 10.

что словарь составлен для себя и темы возникали по потребности (наименования лиц по профессии и родству, названия деревьев, периоды — в пределах дня, года, названия частей тела, одежды и т. д.). Разговорные фразы относятся к купле-продаже, дан и рассказ о кучке, которого обокрали в дороге, а также формулы приветствий и прощания. Приведем в качестве примера группу названий одежды: *каван, камзол, фуфайка, портки, рубашка, шуба, шапка, колпак, шляпа, епанча, чулки, сапоги, башмаки, пряжка, перчатки, запанки, ленты шелковые*.

К числу более поздних словарей относится русско-остояцкий словарь (частью на немецком языке) XIX в. из собр. М. И. Успенского № 46. Он находится при немецких переводах для некоего Пента. Словник его любопытен: по отношению к литературным нормам нашего времени здесь много слов либо устарелых (и вовсе вышедших из употребления), либо просторечных. Ср.: *упованье, равноденник, падушник, запечник, заплутаться, запрягание, вопиять, изжимать, мелкопоместье, примучить, прозяблый, передошлый, прокуда, сусляк* и т. д. Анализ материалов может способствовать выяснению изменений, происшедших в активном и пассивном запасе слов за последнее столетие.

Отметим еще два лексикона: 1) в сборнике сочинений Н. П. Григоровского XIX в. (из собр. П. С. Богословского № 61) — остояцкий словарь, здесь же поэтические тексты в сравнении языков немецкого и остояцкого; 2) двойной лист из ученической тетради XVIII в., где среди других текстов (таблица умножения, отрывок из церковной службы) — русско-немецкий словарь (немецкие слова написаны русскими буквами).

Обзор материалов по грамматике вернее всего начать со статей, которые помещались в сборниках грамматического содержания и грамматических азбуковниках (рукописные книги, в которых основные направления языковедческого анализа еще не разделились, — существенный признак их архаики).

Тип грамматических азбуковников среди рукописей ИРЛИ представлен в книге под шифром Пер. № 105, о которой уже шла речь. В ней и перед словарным сводом, и после него идут статьи по грамматике, орфографии, системе ударений. Они озаглавлены: «Книга, глаголемая буквы», «Сказание о десяти просодиях», «А се осмочастные от грамматикия», «О тонкогласных и деблогласных», «О еже каяждо просодия достоин писати и глаголати», «Се четверогласие во единых лежащее», «О этимологии», «Буквы неисследованного разума имен», «От святого Иоанна Дамаскина о осми частех слова вкратце понужная избрана зде», наконец, сочинение о десяти силах гре-

ческих (типах ударения), которое дано без названия. Начинается со слов: «едлини 10 сил полагают верху складов письменных».

Статьи эти относятся к разным периодам, однако исторически расслоить их пока невозможно. Неудовлетворение состоянием наших знаний о последовательности развития грамматических учений высказано в книге Я. С. Лурье: «История языкознания в древней Руси совершенно не исследована, — пишет автор. — Ряд памятников древнерусского языкознания („различные статьи грамматического содержания“, включающие „литорею в квадратах“ из „Лаодикийского послания“, перевод грамматического трактата „Донатус“, грамматические сочинения Максима Грека) был издан И. В. Ягичем, но материал этот так, в сущности, и остался неразобранным»²¹. «Совершенно игнорирует „различные статьи грамматического содержания“ в своей недавно опубликованной книжке П. С. Кузнецов: от „Осьми частей слова“ псевдо-Дамаскина он непосредственно переходит к переводу „Донатуса“»²². Между тем «Донатус» «лишь с начала XVI в. присоединился к „запасу пестрых грамматических статей“, распространявшемуся, судя по довольно многочисленным рукописным сборникам, в течение XV, XVI и XVII столетий»²³ (по словам И. В. Ягича). Есть, например, основания отнести к более раннему периоду (до «Донатуса») сочинения «Книга, глаголемая буквы» и «Сказание о грамоте»²⁴ (в наших собраниях: Пер. № 105 и Пер. № 143).

Грамматические сочинения XVII и XVIII вв. представлены в рукописях ИРЛИ в виде учебников и трактатов: Мелетий Смотрицкий «Грамматика» 1648 г. ркп. XVIII в. (Оп. оп. 23, № 84); «Синтагмы и синтаксисмы» — учебник Киево-Могилянской коллегии (с добавлением) на русском и латинском языках, 1736 г. (Пер. № 221); «Язык» (перевод с французского С. Волчкова), 1746 г. (Пер. № 279); «Грамматический разум» (предисловие грамматик) в ркп. XVIII в. (Карел. № 32) и ркп. XIX в. (Керженец. № 17); «Учение о языке» (синтаксис, стилистика), ркп. XIX в. (Пер. № 531). К этому прибавим статьи и книги о греческом и латинском языках: греческий и латинский алфавиты в составе сборника 1649 г. (ИМЛИ, № 3); в том же сборнике «Литорская азбука» (образцы тайнописи); «Грамматика латинского языка» (с упражнениями) на латинском и русском

²¹ Я. С. Лурье, Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI века, М. — Л., 1960, стр. 198, 199.

²² Там же, стр. 199 (примеч.)

²³ Там же.

²⁴ См. там же.

языках 1713 г. (Пер. № 409); Сборник школьных упражнений на латинском и французском языках 1716 г. (ОП. оп. 23, № 136); «Морфология греческого языка» Симона Тодорского (копия с издания: Киев, 1738) на латинском языке, ркп. XVIII в. (Пер. № 253); «О частях речи» на латинском языке, ркп. XVIII в. (Пер. № 261); «Рассуждение (школьное) о звуках в языке» на латинском языке, ркп. XIX в. (Пер. № 578).

Оставляя до другого случая обзор рукописей по стилистике, т. е. риторики и поэтики²⁵, а также ценные данные, связанные с переводческой деятельностью и обучением иностранным языкам, остановимся в заключение на текстах, которые занимают в северных собраниях, в силу их крестьянского характера, заметное место. Это книги начального обучения грамоте — азбуки (учебные, начальные, прописи) и буквари. Большое внимание таким материалам уделил В. Н. Перетц. К XVIII—XIX вв. относятся азбуки Пер. № 344, 478, 484, 497, 534, соч. «По азбуке» Пер. № 351, азбуки Мезен. № 14, 46, Пинеж. №№ 27, 137, 419, Карел. №№ 76, 97, 98, 99, Причудск. №№ 29, 42, Верхнепечер. №№ 44, 45, 110, азбука

²⁵ Риторик и поэтик в собраниях ИРЛИ много, особенно в коллекции В. Н. Перетца, отличающейся редкой целеустремленностью собирателя; попадаются они и в северных собраниях. Назовем здесь: «Риторика» (поморская), ркп. XVIII в., Усть-Цилем. № 23, «Риторическая рука», ркп. XVIII в., Усть-Цилем. № 29, 36; этот текст есть и в собрании В. Н. Перетца № 190.

(пропись) 1752 г. ОП. оп. 23, № 1 (написана «мастером» села Иванова дьяконом Федором Ивановым), азбука В. Бурцева 1770 г. (копия с издания: М., 1637) с миниатюрой в красках (училище) (Пер. № 377), азбука-пропись («Данилова азбука») 1774 г. (Буд. № 12), азбука учебная (копия с супрасльского издания 1781 г.), две трети листов рукописные, написаны в последней трети XIX в., букварь 1701 г. («Сократ учения христианского») новгородского митрополита Иова (Пинеж. № 113), первое учение отрокам (начальная грамота), ркп. XVIII в. (Пер. № 336), «Наказание учителям, как учить детей грамоте», Верхнепечер. ркп. XIX в. №№ 4, 23 и ркп. XX в. № 33, «Рассуждение о распространении грамотности среди крестьян, прежде чем разрешить им владеть недвижимым имуществом», ркп. XVIII в. (Пер. № 453), «Специальный разговор о необходимости образования городским сословиям» Н. Анашкина 1850 г. (Пер. № 633).

Нельзя не видеть значения этих источников для истории народного образования.

Итак, новый фонд древних рукописей ценен для лингвистики. Его не могут теперь обойти специалисты, занятые историей звуков и букв, а также грамматисты, лексикологи, стилисты. К нему обратятся знатоки по теории и практике перевода и филологи, которых интересуют проблемы обучения языку, родному и иностранным. Перед нами — материалы, впервые введенные в научный обиход, еще не тронутые научным анализом.

Л. С. Ковтун

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 23 по 28 апреля 1969 г. в Пловдиве состоялся **Международный симпозиум по этногенезу балканских народов**, организованный лингвистической и археологической комиссиями Международной ассоциации по изучению Юго-Восточной Европы с помощью и при содействии Болгарской Академии наук. Задуманный и осуществленный как комплексное междисциплинарное научное мероприятие, симпозиум объединил усилия археологов, историков и лингвистов. Необходимость в обмене новой информацией, координации результатов и перспектив исследований по указанной проблематике особенно назрела в настоящее время, когда, с одной стороны, значительно увеличился фронт археологических раскопок в этом важнейшем для истории европейской цивилизации районе, с другой стороны, неизмеримо возросли и углубились наши знания реликтовых языков Балканского п-ва и сопредельных областей древней Анатолии.

В работе симпозиума приняли участие ученые из Болгарии, Югославии, Румынии, Венгрии, СССР, Англии, США и Турции. Было прослушано 22 доклада и множество выступлений. Почти все они концентрировались вокруг действительно фундаментальной проблемы: этногенез народов Балканского п-ва в свете археологии, истории и лингвистики.

Работа была организована не по секциям, а протекала в виде последовательных общих заседаний: из четырех дней, отведенных на слушание докладов и дискуссии, два были отданы археологам, один лингвистам и один историкам.

Среди вопросов, поднятых археологами, можно выделить три достаточно общих, имеющих самое непосредственное отношение к лингвистическому аспекту этнологии Балканского п-ва: 1) время появления индоевропейцев на Балканах; 2) соотношение автохтонных и привнесенных археологических культур или отдельных культурных элементов в центре и на востоке Балканского п-ва; 3) очаги распространения и пути проникновения (или взаимодействия) археологических культур и соответственно этносов в этом географическом районе.

Как и следовало ожидать, мнения археологов и лингвистов по первому вопросу существенно разошлись. Полярные точки зрения были выражены М. Га-

рашаниным (Югославия) в докладе «Автохтонное население и степные кочевники в эпоху перехода от неолита к веку металлов» и Вл. Георгиевым (София) в докладе «Этногенез Балканского п-ва по данным лингвистики». Первый предполагает, что в период перехода от неолита к бронзе, видимо, на рубеже III и II тысячелетий до н. э. на Балканы волнами проникали индоевропейцы — кочевники из восточных степей, которые постепенно индоевропеизировали автохтонное население Балканского п-ва. Георгиев, напротив, как и во многих предшествующих трудах, отстаивает мысль о заселенности Балканского п-ва индоевропейцами (протофракийцами, протофритгийцами, протогреками и др.) на протяжении всего неолита (Караново I—IV и т. д.), т. е. начиная с VI тысячелетия до н. э. Неиндоевропейского населения, согласно Георгиеву, в этом районе, как и в западной Анатолии, никогда не было; в палеолите этот район был просто необитаем. Думается, что оба мнения достаточно далеки от истины и за вероятную датировку появления индоевропейцев на Балканах следует принять по многим соображениям рубеж IV и III тысячелетия до н. э.¹

Вопрос о соотношении автохтонных и чужеродных элементов в центре и на востоке Балканского п-ва нашел более единодушное разрешение: балканские этнические группы, фиксированные сравнительно поздними письменными памятниками (фракийцы, дакийцы, иллирийцы и др.), возникли в период неолита и первых веков бронзы в результате взаимопроникновения и контаминации местных

¹ Тезис Вл. Георгиева вызвал столь сильный отпор со стороны многих участников симпозиума, особенно археологов, что пришлось вычеркнуть из проекта заключительного коммюнике вполне приемлемый, по нашему мнению, пункт: «индоевропейские племена населяли Балканский п-ов значительно ранее, чем признавали до сих пор». Утверждение о том, что на Балканах и в западной Малой Азии с самых древних времен не было никаких групп неиндоевропейского населения, вызвало возражения Ф. Барипча и И. Пудича (Югославия), В. Думитреску (Румыния), Л. А. Гилядина (СССР) и некоторых других.

и привнесенных культур; при этом роль локальных автохтонных элементов, хотя и определяемая всеми по-разному, была весьма значительна. В этом смысле высказались в своих докладах археологи: В. Думитреску «К вопросу о самой древней неолитической культуре Румынии», Г. И. Георгиев (Болгария) «Развитие древних доисторических культур на юге Болгарии», М. Гарашанин в упомянутом докладе, Драга Гарашанина (Югославия) «Проблема лингвистической принадлежности неолитических народов в центральном районе Балкан».

Последняя проблема вызвала наиболее живую дискуссию. Из трех точек зрения самой вероятной представляется та, в соответствии с которой в неолите и раннебронзовом веке признается существование тесных связей и в отдельные моменты взаимовлияний между западной Анатолией и восточными и центральными областями Балкан при доминирующем интрузионном фоне культур восточного Средиземноморья. Именно так трактовали в общих чертах эту проблему: Г. И. Георгиев, признающий вместе с тем и возможность параллельного развития балканских культур (например, Караново VII — Езеро); Дж. Мелларт (Англия) в докладе «Доистория Анатолии и ее связи с Болгарией», где он теперь допускает в период до великого переселения народов проникновение этнических групп только из Анатолии² (причем в культурах Дж. Мелларт уточнил, что анатолийские элементы по-прежнему следует связывать с хеттоязычными народами); В. Думитреску — для района к северу от Дуная в эппалеолите и раннем и среднем неолите. Этот тезис как будто находит подтверждение в топонимическом ландшафте обоих регионов, содержащих много тождественных лексем (или основ). На современном этапе наших знаний о древних языках Балкан и Анатолии, кажется, можно, кроме разграничения хронологических слоев, поставить задачу по выделению анатолизмов в балканской топонимии и балканизмов в анатолийской. В свете последних работ, инвентаризирующих фракийско-(дакийско)-балтийские ономастические изоглоссы, намечаются отдельные процедурные моменты для решения намеченной задачи в этимологическом аспекте. Ряд лингвистических фактов и некоторые предвари-

тельные соображения по данному вопросу были предложены нами в сообщении «Фрако-малоазиатские лексико-ономастические отношения», высказанном в дискуссии по докладу Дж. Мелларта³.

По сравнению с многими археологами лингвисты, за исключением Вл. Георгиева, коснулись, как нам кажется, более конкретных проблем, что вполне естественно для современного уровня развития балканского и анатолийского языкознания.

Открывший лингвистическую часть симпозиума доклад Вл. Георгиева «Этногенез Балканского п-ва в свете лингвистических данных» содержал характеристику всего лингво-этнического комплекса балканистических проблем. Почти не сообщая новых лингвистических фактов по сравнению с предшествующими работами (в чем, собственно говоря, и не было необходимости), Вл. Георгиев в своем докладе осуществил очень полезный для ученых различных специальностей синтез лингвистических и историко-филологических данных в применении к этнологии Балкан в догреческий и парегреческий период. Материал в нем скомпонован по основным географическим районам указанной области, включая о. Крит. Среди новых положений, имеющих значение для общей теории лингвистического субстрата на Балканском п-ве, в докладе можно выделить два момента. 1. Определенное признание гетерогенности догреческого субстрата хотя бы для Крита, что выразилось, по мысли докладчика, в появлении в начале минойской эпохи (с 2600 г.) в вост. и центр. Крите «эмигрантов» из зап. Малой Азии (гомер. этеокритян или термиллов): они составили наряду с более древними племнами, населявшими Крит с 6000 г., второй этнический догреческий

³ Рамки лингвистического журнала вынуждают нас ограничиться простым перечислением остальных докладов археологов, имевших по большей части специфический характер: В. Миков (Болгария) «Болгария в бронзовом веке»; Д. П. Димитров (Болгария) «Троя VII б2 и фракийские и мизийские племена на Балканах»; И. Чичикова (Болгария) «О хронологии начала железного века во Фракии»; М. Петреску-Димбовица (Румыния) «Некоторые соображения относительно конца бронзового века начала периода Халыштатт в карпато-балканском пространстве»; Ида Богнар-Куцян (Венгрия) «Доисторические связи между Венгрией и Болгарией»; Х. З. Кошай (Турция) «Культура Арас-Караз в районе среднего Евфрата»; П. Детев (Болгария) «Археологические данные о непрерывности культуры телья Раскопаница около деревни Моноле в Пловдивском районе».

² Таким образом здесь Дж. Мелларт пересматривает свою теорию, согласно которой носители культуры Гумельнды — лувийцы двигались в III тыс. до н. э. из восточнобалканских районов в Анатолию; он отказывается в данном докладе также и от построений, основанных на аргументе так называемой «сероминийской» керамики.

слой. Из новых хетто-лувийских этимологий критских топонимов отличаются правдоподобием: *Kútaion*, можно возвести, вероятно, к хетт. *kutt(a)*-«стена»; *Múrtiv(v)a*, возможно, восходит к хетт. *mutin*-«виноград»⁴. 2. Допущение в качестве рабочей гипотезы мысли о том, что носители «пеласгского» языка пришли в центральную и южную Грецию из Фракии. Специально доказательству этого положения был посвящен и наш доклад «„Пеласгский“ и фракийский». В чисто лингвистическом и экстралингвистическом плане большой интерес представляет раздел доклада Вл. Георгиева «Значение ономастики», где подвергнуты этимологическому анализу названия больших рек Балканского п-ва, по 12 самых крупных в каждом из четырех районов (юг, восток, северо-восток, запад п-ва). Будучи индоевропейского происхождения, почти все они засвидетельствованы у Гомера (реже Гесиода). Сохранив в подавляющем числе свою фонетическую структуру в современных балканских языках, эти названия таким образом имеют возраст порядка 35 веков. Если учесть к тому же, что в центральных и восточных областях Балкан данный топонимический слой — самый древний из доступных исследования (например, топонимия древней Фракии), то практическая автохтонность в этих районах таких этнических групп, как фракийцы, дакийцы, фригийцы, мизийцы, становится очевидной, разумеется, с учетом некоторых иных моментов, в характеристику которых здесь нет возможности углубиться. Тем не менее, вряд ли данный тезис может быть доказан посредством методики, легкой в основу доклада А. В р а ч у (Румыния) «Об автохтонном характере древнего населения Дакии». Докладчик иллюстрирует или даже как будто доказывает исконность дакийцев тем, что несколько топонимов и ряд апеллятивов, квалифицируемых Г. Ивэнеску, Дж. Девото, В. Полаком в качестве доиндоевропейских рудиментов в румынском языке, оказываются, по мнению А. Врачу, индоевропейскими и происходящими в первую

очередь из языка дакийцев. Последнее вполне возможно, так как субстратом румынского языка, вероятно, послужил дакийский. Однако одного этого обстоятельства явно недостаточно, чтобы свидетельствовать в пользу первоначальности дакийского населения в этом ареале, поскольку дакийцы могли сами прийти сюда в тот или иной период истории и принести эти индоевропейские слова с собой. Более показателен, на наш взгляд, языковой материал, свидетельствующий о вероятных лингво-этнических контактах дакийцев и фракийцев с балтийцами на севере и северо-востоке и с арийцами на востоке.

Внимание участников симпозиума, прежде всего своей методикой, привлекло сообщение К. В л а х о в а (Болгария) «Ареальная и этногенетическая дистрибуция фракийских личных имен». Докладчик заметил и четко проследил, что отдельные антропонимические основы встречаются в группе надписей, обнаруженных в строго замкнутом ареале. Соответственно каждый такой ареал эвентуально отражает район расселения какого-то племени или группы племен. Так, основа *Auðov-* (с ней образовано более 130 имен) засвидетельствована главным образом в центральной области бассейна р. Марицы и на побережье Черного моря, где обитали племена *Vuðoi* и *’Ouboi*; *Zauk-*, *Σauk-* — в юго-восточной Фракии, несколько имен — в области дако-мизийцев; *Torx-* (*Torxos*, *Torxov*, *Torxov-παῖζης* и т. д., около 20 примеров) — на побережье Эгейского моря. Ареал основы *Torx-*, с нашей точки зрения, позволяет пойти, видимо, дальше и сопоставить ее с продуктивной анатолійской основой **Tarhu-*, позднеанат. *Tarx-*, *Troḫ-*, учитывая, что м.-аз. (анат.) *a* могло передаваться посредством *o* и *o*. Предложенная нами идентификация была поддержана Э. Х э м п о м.

Доклад И. П у д и ч а (Югославия) «Язык древних македонцев», выдвинувшего довольно шаткие основания (например, сомнительный тезис о наличии в македонском «передвижения согласных») для постулирования связи этого языка с так называемым северо-восточным фригийским Хааса и догреческим индоевропейским, содержит в приложении очень полезное собрание македонских глосс и имен собственных с указанием источников. Наиболее веские возражения этой гипотезе выдвинул Вл. Г е о р г и е в, настаивавший на ранее аргументированном и повторенном в его докладе положении о тесной близости (вплоть до общего праязыка в V—IV тысячелетии) македонского с фригийским и греческим⁵.

⁴ Вместе с тем необходимо отметить, что излишнее доверие к показаниям суффиксального анализа и недооценка более глубокой этимологической процедуры привела докладчика к включению в число пеласгских нескольких топонимов явно анатолійского происхождения, например, *Δαβρύθρος*, *Πέραιθος*, *Τυλίσ(σ)ος*, *Πέραιον* и т. д. (относительно их генезиса см.: Л. А. Г и п д и н, Язык древнейшего населения юга Балканского п-ва, М., 1967). В этом кроется, нам кажется, также причина непризнания Вл. Георгиевым доиндоевропейского субстрата в Эгее и соответственно значительного превышения древности заселения пеласгами этого района.

⁵ Ср.: V. I. G e o r g i e v, La toponymie ancienne de la péninsule Balkanique et la thèse méditerranéenne, Sofia, 1961, стр. 28.

Важной проблеме современной индоевропеистики посвятил свой доклад «Положение фракийского в кругу индоевропейских языков» Р. А. Кросслэнд (Англия). В докладе излагались весьма интересные идеи (в рамках теории В. Порцига — А. Камменхубер) относительно протофрако-фригийской общности, ее вхождения в западную окраинную область центральных («остаточных») диалектов, совпадающую с сатемным изоглоссным ареалом, с одной стороны, и периферической позиции собственно фригийского в самом протофрако-фригийском ареале, в связи с ослаблением сатемных тенденций во фригийском, с другой. Наличие медиа-пассива на -*or* (характерная черта «периферических» диалектов) во фригийском объясняется контактами, возможно, не ранее второй половины III тыс., между протоанатолийским и протофрако-фригийским, принадлежащим к сатемной изоглоссной области. Далее, «передвижение согласных» фригийский и армянский приобрели в Анатолии под воздействием субстрата, как и в более раннее время хетты. Здесь сразу возникает два вопроса: 1) откуда передвижение согласных у балканских фракийцев и элементы передвижения у фригийцев до их переселения в Малую Азию, о чем достаточно убедительно свидетельствует топонимия? 2) в каком географическом районе могли происходить контакты между протоанатолийцами и протофрако-фригийцами, если эти контакты датируются Р. А. Кросслэндом второй половиной III тысячелетия? (Анатолия отпадает, так как племена фракийцев и фригийцев впервые появились там тысячелетием позже).

Для методологии выявления дакийского субстрата определенный интерес представляет сообщение Э. Хэмпа (Cilia) «Два фантома балканского этногенеза», где были подвергнуты критике как избыточные некоторые дакийские реконструкции Г. Райхенкрона румынских слов на -*z* (при обосновании этих реконструкций последний привлекал факты армянского языка). Докладчик, кроме того, вновь обратился к рум. *vatră*, алб. *vatër/vatrë* «очаг» и родственным им словам современных балканских языков, чтобы отвергнуть мысль Йокля о заимствовании предка данных слов из иранского и высказаться в духе Болгарского этимологического словаря⁶, возведя через албанские формы всю группу слов к и.-е. **aitrā*.

На заключительном заседании были прослушаны и обсуждены три историко-филологических доклада по существенным проблемам этнологии Балканского

п-ва и сев.-зап. Малой Азии: Э. Кондрак и (Румыния) «Этногенез балканских народов: письменные источники» (обзор этих источников с доисторических времен до периода римского владычества); Хр. М. Данаев (Болгария) «К этногенезу и передвижениям древнефракийских племен во II половине II тысячелетия и I половины I тысячелетия до н. эры» (поздательное переселение с Балкан в Малую Азию — с середины II тысячелетия основной массы мизийских племен, с 1200 г. по их следам фригийцев и на рубеже VIII—VII веков фракийцев, среди которых главную роль играли битинцы); В. Велков (Болгария) «Фракийцы и фригийцы по гомеровским поэмам» (относительно двух групп фракийских племен у Гомера и т. д.).

Симпозиум был организован четко и планомерно, ход его был рассчитан и осуществлен по минутам; во многом это заслуга акад. Вл. Георгиева.

В заключение хотелось бы отметить своевременность и эффективность симпозиума для специалистов доистории и ранней истории Балканского п-ва и сопредельных областей, где интересы лингвистов, археологов и историков всегда тесно смыкались. На будущей подобной конференции желательно шире осветить комплекс проблем, связанных с этническими группами иллирийцев и населением догреческой Эллады.

Л. А. Гундин (Москва)

*

С 20 по 23 октября в г. Ашхабаде состоялась научная конференция по двужычию и многоязычию, организованная Научным советом «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций», Институтом языкознания АН СССР, Институтом языка и литературы им. Махтумкули АН ТуркмССР и посвященная столетию со дня рождения В. И. Ленина.

В конференции приняли участие представители почти всех союзных республик, большинства автономных республик и областей нашей страны.

Открывая конференцию, президент АН ТССР акад. АН ТССР П. А. Азимов отметил, что она призвана обсудить важные вопросы языковой жизни народов СССР, имеющие как теоретическое, так и практическое значение. Сама проблематика конференции — современное развитие и взаимодействие национальных языков в республиках Советского Союза — как бы подводит итоги практической реализации заветов В. И. Ленина в области национальной политики и языкового строительства в нашей стране.

На конференции были прослушаны 41 доклад, 22 сообщения и свыше 20 вы-

⁶ См.: Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Займов, Ст. Илчев, Български этимологичен речник, София, 1963, стр. 123 и сл.

ступлений в прениях. Из них 12 докладов и 3 сообщения были сделаны на пленарных, остальные — на секционных заседаниях.

На пленарных заседаниях обсуждались доклады, в которых проблема двуязычия была охарактеризована с разных точек зрения, начиная с постановки самой проблемы как научной дисциплины. В частности, в докладе Ю. Д. Дешериева и И. Ф. Протченко (Москва) «Основные аспекты исследования двуязычия и многоязычия» в обобщенном виде изложены социологический, собственно лингвистический, психологический и педагогический аспекты проблемы (с соответствующей характеристикой каждого из них) и определен круг задач, охватываемых каждым аспектом.

Многоплановость изучения данной проблемы наглядно была продемонстрирована в других докладах, прослушанных на пленарных заседаниях; количественно преобладали доклады, в которых раскрывались разные стороны социологического и лингвистического аспектов изучения двуязычия и многоязычия.

В докладе «Современное общественное развитие и проблема двуязычия» Ф. П. Филин (Москва) указал на зависимость развития двуязычия от развития общества: на разных ступенях общественного развития двуязычие имело свои специфические особенности и отношение к нему общества было неодинаковым. Двуязычие является органической частью общественных функций языка, которые в свою очередь изменяются в соответствии с изменением структуры общества, поэтому история двуязычия тесно связана с историей развития общества.

Ф. П. Филин предложил периодизацию этапов в развитии двуязычия применительно к разным языкам: 1) первичное двуязычие первобытного общества; 2) двуязычие эпохи рабовладельческой формации; 3) двуязычие феодального периода; 4) двуязычие эпохи капитализма; 5) двуязычие социалистического общества.

Разные стороны социологического аспекта изучения двуязычия были представлены в докладах: П. А. Азимова (Ашхабад) «О туркменско-русском билингвизме», где туркменско-русское двуязычие рассматривалось как основной тип двуязычия на территории многонациональной Туркмении; О. С. Ахманов (Москва) «Дихотомия „язык — диалект“ в свете проблем современного билингвизма», где исследовалось противопоставление двуязычия как одинаково совершенного владения двумя языками и двуязычие как диглоссия (неодинаковое владение двумя языками); Н. Х. Ханазарова (Ташкент) «О причинах и критериях двуязычия», где эволюция двуязычия изучалась в связи с закономерностями развития производительных сил

и культуры человечества; А. Т. Борща (Кишинев) «Изучение русского языка за рубежом и его роль в международной жизни».

На конференции освещался широкий круг вопросов лингвистического аспекта изучения двуязычия. Н. А. Баскаков (Москва) в докладе «Двуязычие и проблема взаимопроникновения различных уровней при взаимодействии языков» обобщил изменения на всех уровнях тюркских языков, совершившиеся в результате национально-русского двуязычия. Проницаемыми оказались все уровни языка, но в разной степени. Даже самый подвижный раздел языка — лексика — имеет непроницаемые группы слов (термины родства, названия частей тела, явления природы и т. д.). Наиболее проницаемую часть представляет терминологическая лексика социально-идеологического характера. В таком же плане охарактеризованы остальные уровни языка.

Л. И. Баранникова (Саратов) в докладе «О сущности интерференции и специфике ее проявления» четко изложила свое понимание интерференции: имеется в виду изменение в структуре (или отдельных ее частях) одного языка под влиянием другого.

Интерференция не тождественна взаимодействию, ибо последнее представляется как процесс, а интерференция — результат этого процесса. Докладчик также разграничивает интерференцию от заимствований. При заимствовании элементы одной системы, проникая в другую, изменяются в соответствии с нормой заимствующего языка. При интерференции изменяется сама заимствующая система, в ней появляются новые единицы, развиваются новые типы отношений между ее элементами.

В докладе В. Н. Ярцевой (Москва) «Структурно-семантические кальки в условиях двуязычия» охарактеризованы различные типы калькирования (синтаксические, лексико-синтаксические) на материале германских языков. Разные типы калькирования являются следствием различных форм функционального взаимодействия контактирующих языков. В частности, в условиях маргинального соприкосновения функциональных сфер двух языков обычны кальки на уровне либо лексики, либо изолированных синтаксических моделей из языка-суперстрата или из языка, обладающего большим социальным престижем, и т. д.

Т. П. Ломтев (Москва) в докладе «Тождество семантики и различия в выражении как основание интерференции в одном языке в двуязычной среде» остановился на интерференции в области семантики глаголов. У билингва при построении предложения на неродном языке выбор глаголов не совпадает с выбором глаголов на родном языке. Поэтому воз

никают неточности в употреблении глаголов при синтезировании предложений. Эти неточности можно устранить, пользуясь составленными докладчиком таблицами соотношений в употреблении глаголов на разных языках.

Доклад В. А. Аврорина (Ленинград) «Двуязычие и школа» посвящен языку школьного обучения в условиях двуязычия у малых народов Сибири. Отмечая имеющиеся недостатки в выборе языка обучения в начальных классах, В. А. Аврорин рекомендует обучать детей, особенно в сельских местностях (там, где национально-русское двуязычие не получило широкого распространения) на родном языке в течение первых двух, трех или четырех лет в зависимости от глубины знания детьми русского языка и уровня развития литературы на родном языке.

В докладе В. З. Панфилова (Москва) «Взаимодействие языков при двуязычии с точки зрения взаимоотношения языка и мышления» указывалось, что процесс взаимодействия языков при двуязычии приводит к сближению их структур («упрощение» их грамматических структур и лексических систем и т. д.), т. е. осуществляется тенденция к установлению взаимодозначного соответствия между взаимодействующими языками. Таким сближающим звеном в этом процессе служит мышление билингва. В. З. Панфилов рассмотрел психофизиологический механизм существования двуязычия в мозгу человека и психофизиологический механизм взаимодействия языков при двуязычии. В заключение он отметил, что в процессах интерференции языков проявляется тенденция к установлению большего соответствия между языковыми единицами и соответствующими единицами мышления, а также между синтаксическим и логико-грамматическим уровнями предложения.

На заключительном пленарном заседании с сообщением об отражении двуязычия в языке художественных произведений И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и других отечественных писателей выступил акад. М. П. Алексеев (Ленинград). Н. Г. Корлякову (Киев) рассказал о развитии полисемантизма в условиях славяно-романского двуязычия. В сообщении В. А. Ицкова и Б. С. Шварцкопфа (Москва) проблема двуязычия рассмотрена в тесном переплетении с вопросами культуры родной речи; имеется в виду широко распространенное явление, когда билингв в процессе речи на родном языке активно (иногда — без прямой надобности) вводит слова и выражения второго языка в родную речь. В связи с этим признается необходимым дифференцированный отбор заимствований.

Остальные доклады и сообщения были прослушаны на заседаниях трех секций.

В первой секции были сконцентрированы доклады преимущественно социалистического содержания. Почти во всех докладах и сообщениях приводились данные, характеризующие языковую ситуацию и социальные причины развития национально-русского двуязычия на материале разных языков. В коллективном докладе В. С. Расторгуевой, Ч. Х. Бакаева, М. И. Исаева, А. А. Керимовой, Л. А. Пирейко (Москва) «О характере двуязычия у иранских народов СССР» двуязычие рассматривалось в противопоставлениях: частичное — массовое (в смысле распространения двуязычия среди населения) и полное — неполное (в смысле глубины владения вторым языком); приводились материалы, свидетельствующие о влиянии русского языка на родной язык в области лексики, морфологии, синтаксиса, фонетики. Б. Н. Ниязмухамедов (Душанбе) говорил об узбекско-таджикском двуязычии и о двуязычных поэтах и писателях разных времен, писавших на узбекском и таджикском языках. Двуязычие тюркских народов охарактеризовано в ряде докладов. М. Закриев и Р. Юсупов (Казань) рассказали о разных этапах развития татарско-русского двуязычия, начиная с IX в. до наших дней. Т. Тагмуратов и Б. Чарыров (Ашхабад) в докладе «Вопросы двуязычия и многоязычия в условиях Туркменской ССР» осветили вопросы соотношения общественных функций туркменского и русского языков и влияния русского на туркменский язык. А. Т. Кайдаров (Алма-Ата) привел материалы по уйгурско-казахско-русскому трехязычию. В. И. Рассадин (Улан-Удэ) рассказал о тофаларско-русском двуязычии. В докладе Е. Н. Ероповой (Ашхабад) рассматривались некоторые формы лингвистической интерференции и возможности их использования в методике преподавания языков.

Вопросам двуязычия у народов Прибалтики были посвящены два доклада. В докладе А. Видугириса и С. Каралюнас (Вильнюс) «О типах двуязычия в Литовской ССР» рассматривалось литовско-русское, литовско-латышское, литовско-польское, литовско-белорусское, литовско-немецкое, литовско-еврейское, литовско-караимское, литовско-украинское и др. двуязычие. Русско-литовское двуязычие слабо развито среди литовцев в сельской местности и больше распространено среди интеллигенции и городской части населения, причем обычно пассивное владение русским языком. В докладе Ю. С. Елисеева (Москва) «О двуязычии в Финляндии» охарактеризована языковая ситуация в Финляндии и функциональное соотношение финского и шведского языков в разные исторические эпохи.

Б. Д. Муниев и Д. А. Сусеева (Элиста) рассказали о калмычко-русском двуязычии и социальных условиях, способствовавших развитию двуязычия в Калмыкии.

О белорусско-русском двуязычии сообщил Н. В. Бирилло (Минск). А. И. Подторацкий (Москва) посвятил свое сообщение терминологическому двуязычию. В докладе А. К. Шагирова (Москва) «К проблеме своеобразия русской речи в условиях национально-русского двуязычия» показаны отклонения от синтаксических и стилистических норм русской литературной речи, связанные не только с влиянием родного языка, но и с трудностями усвоения второго языка вообще.

Конкретно-социологическое исследование двуязычия дано в докладах: А. И. Холмогорова (Рига) — на материале Латвийской ССР, В. Г. Говорущенко (Таллин) — на материале эстонско-русского двуязычия; М. Н. Губогло (Москва) — на материале молдавско-русского двуязычия в южной Молдавии; Ф. Д. Климчук (Минск) — на материале русско-белорусского, русско-польского, русско-украинского и др. типов двуязычия южных районов Брестской области. В докладе С. Н. Онеенко (Новосибирск) «Характеристика двуязычия у нанайцев» приведены предварительные данные по социолингвистическому обследованию нанайско-русского двуязычия. Г. Е. Трапезников (Москва) охарактеризовал социологическое изучение вопросов интернационального воспитания молодежи республик Средней Азии.

Доклады, прочитанные на второй секции, были построены в основном на анализе конкретного языкового материала по двуязычию, с одной стороны, в пределах родственных и неродственных языков, с другой — в пределах диалектов. В ряде докладов и сообщений наряду с общей характеристикой языковой ситуации, в которой возникало двуязычие или многоязычие, содержался анализ фактов по всем уровням языка. В докладе И. Г. Абдуллаева (Баку) говорилось о формах проявления двуязычия и многоязычия в Азербайджане на материале взаимодействия азербайджанского языка с иранскими. В коллективном докладе Р. И. Могилевского, Л. Н. Ройзензона, А. А. Цой (Самарканд) освещены вопросы изучения билингвизма и полилингвизма в условиях Самарканда. Н. С. Ковалев (Воронеж) остановился на особенностях влияния русского литературного языка на систему украинского говора Воронежской области. В сообщении А. К. Калимова (Москва) охарактеризовано двуязычие и многоязычие у среднеазиатских дунган. А. Гукасян (Ереван) выступил с сообщением о трехязычии

удин и процессе грегориизации их. Н. Д. Джидалаев (Баку) рассказал о многоязычии народов Дагестана.

М. А. Кумахов (Москва) в докладе «К проблеме интерференции в условиях билингвизма» анализировал развитие и взаимопроникновение единиц различных уровней языковой структуры. Вместо традиционного членения языковых уровней на проницаемые и непроницаемые докладчик предложил разграничивать открытые и закрытые подсистемы в пределах каждой системы (фонологической, грамматической и т. д.); закрытые подсистемы характеризуются образованием бинарных и многочленных противостоятельств. М. М. Михайлов (Чебоксары) в докладе «Двуязычие и взаимовлияние языков» рассмотрел вопросы интерференции на уровне речи у билингов — носителей родственных и неродственных языков в национально-смешанных семьях. А. А. Дарбеева (Москва) остановилась на особенностях развития двуязычия в изолированных монгольских языках и диалектах; при этом она отметила большую подверженность изолированных языков влиянию второго языка на всех уровнях, что сопровождается более глубоким обособлением их от родственных языков.

Интересные материалы польско-белорусского двуязычия на уровне фонетики даны в докладе В. Л. Вережича (Минск). Фонетическим же материалом оперировал Л. П. Сергеев (Чебоксары) в докладе «Проявление интерференции при взаимодействии литературного языка и диалектов в условиях диалектной среды (на материале чувашского языка)». Анализ на уровне лексики был представлен в докладе Т. С. Коготковой (Москва) «О некоторых особенностях освоения литературной лексики в условиях диалектного двуязычия», на уровне морфологии — в докладе А. М. Асланова (Кировабад) «О морфологической интерференции диалектов и родственных языков» (на материале языков Азербайджана).

Оживленное обсуждение в прениях вызвал вопрос о критериях разграничения заимствований и более сложных явлений интерференции, а также о критериях определения заимствованных фонем и морфем. В результате острой дискуссии выступившие высказались за более внимательный подход к языку обучения в начальных классах — языком обучения должен быть тот, которым ребенок владеет хорошо.

На третьей секции доклады в основном были посвящены влиянию двуязычия на грамматическую структуру языка. К. М. Мусаев (Москва) в докладе «Общенародное двуязычие и синтаксис родного языка» раскрывает развитие синтаксиса караимского языка под влиянием общенародного караимско-славянского

двуязычия. М. Г. Булахов (Минск) охарактеризовал особенности проявления интерференции на уровне словообразования в белорусской и русской речи. В докладе А. Л. Пумпянского (Москва) изложено исследование порядка слов в языке научной и технической литературы с точки зрения двуязычия. А. А. Давитиани (Тбилиси) сообщил о синтаксической интерференции, вызванной различием конструкций грузинского и русского предложений. Исследованию лексики были посвящены сообщения: М. А. Косичану (Кишинеу) «Интерференция в антропонимии (на материале славяно-молдавского языков)»; Л. И. Ройзензон и П. И. Могилевского (Самарканд) «О некоторых частных вопросах двуязычия» (образование аббревиатур в лужицких языках под влиянием немецкого). Татарская антропонимия явилась объектом изучения Р. С. Субаевой (Казань), топонимия Туркмени — предметом обзора А. Боржкова (Ашхабад). З. У. Блягоз и Х. Д. Воджодков (Майкоп) выступили с сообщениями об адыгейско-русском двуязычии, А. Н. Сердобов (Кызыл) — о тувинско-русском двуязычии в социологическом аспекте.

В заключительном слове Ф. П. Филин отметил, что двуязычие в лингвистическом аспекте теснейшим образом связано с теоретическими проблемами языкознания. Развернувшиеся дискуссии по ряду теоретических вопросов способствовали успешному проведению конференции.

Участники конференции приняли рекомендации, в которых выдвигается ряд практических задач по изучению актуальных теоретических и практических проблем языкового развития. Признано чрезвычайно важным исследование процессов становления национально-русского двуязычия, повышения роли языка межнационального общения в развитии языков и культур наций и народностей Советского Союза.

А. А. Дарбеева (Москва)

★

С 29 августа по 2 сентября 1969 г. в Берлине (ГДР) проходило очередное заседание ПИАК (Permanent International Altaistic Conference). Если предыдущие заседания ПИАК характеризовались семинарской формой работы, то заседание 1969 г. вылилось в международную конференцию.

Впервые в истории ПИАК собрались почти все представители алтаистических центров мира, присутствовали многие ведущие алтаисты. Наиболее многочисленной была советская делегация, которая насчитывала 37 алтаистов Москвы,

Ленинграда, Алма-Аты, Ашхабада, Баку, Ташкента, Казани, Нукуса и др.

На открытии конференции с приветственной речью от Берлинской Академии наук выступил избранный II заседанием ПИАК (в Копенгагене) президент конференции Г. Хазай. Отмечая необычайно широкое представительство на нынешнем заседании алтаистов мира, генеральный секретарь ПИАК Д. Синор (США) подчеркнул одну из основных задач этой международной организации — научное контактирование, обмен мнениями, дискуссия и научная информация. От общества Türk Dil Kurumu конференцию приветствовал С. Булуц (Турция). На этом же пленарном заседании был заслушан доклад проф. Х. Ф. Юнкера (Берлин) «20 лет алтаистики в ГДР». Докладчик охарактеризовал научные центры алтаистики в ГДР, среди которых ведущее место занимает Институт ориенталистики при Берлинской Академии наук, где Г. Хазай возглавляет важнейшую работу по изучению и расшифровке уйгурских турфанских текстов, ценное собрание которых находится в хранилищах Берлинской Академии наук. Х. Ф. Юнкер акцентировал внимание алтаистов на проблемах методов анализа материала алтайских языков, выявления тех исследовательских приемов, которые позволили бы объединять в единую типологическую и материальную общность сильно обособившиеся и различающиеся алтайские языки.

Доклад Д. Синора «Состояние и задачи международных алтаистических исследований» носил обзорный характер. Сравнительно-историческое изучение алтайских языков имеет довольно длительную историю, тем не менее, подчеркнул докладчик, до сих пор четко не определены критерии правомерности сведения алтайских языков в единую, генетически замкнутую семью, не разработана методика определения ареала этой языковой общности. Именно из этого исходит расширительное толкование семьи алтайских языков. Не установлены как генетические связи между конкретными языковыми подгруппами, — например, тюркской, монгольской, тунгусо-маньчжурской, корейской, — так и их хронологическая соотношенность. В то же время Д. Синор отметил большую исследовательскую работу, которая проведена в области тюркологии, монголистики, тунгусо-маньчжуроведения (работы В. Багра, Й. Бенцинга, Б. Я. Владимирцова, Н. А. Баскакова, А. фон Габен, А. Зайончковского, Л. Лигети, К. Менгеса, О. П. Сунника, Ф. Фукса, В. И. Цинцус и др.). Наряду со значительными достижениями по частным отраслям, алтайское языкознание пока не располагает полной сравнительной грамматикой алтайских языков, а также сравнительным словарем алтайских языков. (После работы Г. И. Рам-

стедта «Введение в алтайское языкознание» предпринимались лишь отдельные попытки создания общего курса алтайских языков — см. работы Н. Поппе, Дж. Клоусона.)

Специальное пленарное заседание было посвящено 100-летию со дня рождения В. Банга — одного из ведущих представителей урало-алтайской теории¹. Деятельность В. Банга, роль его наследия в сокровищнице алтаистической литературы, его вклад в изучение и расшифровку турфанских текстов были охарактеризованы в докладах чл.-корр. АН СССР А. Н. Кононова (Ленинград), А. фон Габен (ФРГ). Очередная медаль ПИАК была присуждена Дж. Клоусону.

На конференции работали четыре секции, на заседаниях которых было сделано более 70 докладов по исследованию языков, литературы, фольклора, истории, этнографии, искусства алтайских народов. Советская делегация представила на конференцию 31 доклад. Из них — 21 доклад по лингвистике, 4 доклада по литературоведению и фольклористике, 6 докладов по истории и этнографии.

В лингвистических докладах советской делегации нашли отражение вопросы сравнительного исследования алтайских языков, а также отдельных групп языков алтайской общности — тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских; общеалтайская тематика была в основном представлена в докладах советской делегации.

Теория генетического родства алтайских языков предлагалась в докладе Н. А. Баскакова (Москва); различные вопросы грамматики и лексики алтайских языков ставились в докладах ленинградских ученых О. П. Суника, И. В. Кормушина, С. Н. Муратова², В. И. Цинциус, В. Д. Колесниковой, О. А. Константиновой и др.

В докладе М. З. Закиева (Казань) «Доалтайские синтаксические модели» выдвигалась гипотеза об исторической идентичности синтаксических моделей алтайских и уральских языков. Выделяя два типа синтаксических моделей — предикативный и конкретизирующий (атрибутивный), докладчик полагает, что путь развития этих моделей в алтайских и уральских языках был одинаковым.

В плане сравнительно-исторического анализа материала алтайских языков был

построен доклад О. Рона-Таш (Венгрия) «Тохарские элементы в тюркских языках». В докладе сделана попытка установить хронологию тохарских элементов в их отношении к тюркской и монгольской общности, возводимых в свою очередь к генетически единой алтайской общности.

Определение сущности грамматического строя алтайских языков с позиций нового системного подхода к исследованию языка нашло отражение в докладе Г. П. Мельникова (Москва) «Строй алтайских языков как система».

Доклад Г. Д. Санжеева (Москва) «К вопросу о так называемых ротацизме и ламбдаизме в алтайских языках» содержал критику имеющихся исследований по соответствиям $a \sim p$ и $l \sim ш$ в алтайских языках. По мнению докладчика, монгольские слова, приводимые алтаистами как примеры этих соответствий, являются по происхождению большей частью тюркизмами и не могут быть использованы как веские доводы в пользу родства алтайских языков. Эта же тема, но с противоположных позиций трактовалась в докладе Т. Текина (США) «О соответствии $л \sim ш$ в тюркских и монгольских языках»: иллюстративный материал по соответствиям $л \sim ш$ и $л \sim с$ приводился для обоснования генетического родства тюркских и монгольских языков. Из других зарубежных исследователей к проблеме алтаистики обратились лишь П. Миятев (Болгария) в докладе «Современное состояние алтаистики в Болгарии» и Л. Базэн (Франция) в докладе «Роль запретных слов в развитии алтайских языков».

Два доклада советских лингвистов были посвящены вопросам тюрко-монгольских языковых отношений; это доклады С. К. Кенесбаева (Алма-Ата) «К вопросу о тюрко-монгольской языковой общности» и Б. О. Рузбаева (Фрунзе) «О киргизских и монгольских лексических параллелях в топонимии».

Представители советской тюркологии сделали целый ряд докладов по различным вопросам грамматики и лексики тюркских языков. А. Н. Кононов в докладе «Показатели собирательности-множественности в тюркских языках» этимологизировал эти тюркские показатели в сопоставлении с соответствующими формантами других алтайских языков, убедительно показав, что единственным продуктивным аффиксом мн. числа во всей доступной обозрению истории тюркских языков был и остается общетюркский аффикс *-lar/-ler* и чувашский аффикс *-sem* (и их фонетические варианты). Эти показатели образовались в результате фузионного сплавления общеалтайских показателей собирательности-коллективности-множественности: $-lar/-ler < *l + + -r$, $-sem < -sen < *s + -n$.

¹ См.: W. Bang, Uralaltaische Forschungen, Leipzig, 1890.

² См. об этом хронику алтаистической конференции в Ленинграде — ВЯ, 1969, 6; «Проблема общности алтайских языков. Тезисы докладов на I алтаистической конференции, организованной ЛО Института языкознания [АН СССР]», Л., 1969.

А. З. Абдуллаев (Баку) в докладе «Формы развития дательного падежа в тюркских языках» высказал гипотезу о том, что в современных тюркских языках показатели дательного падежа *-а, -га* — результат фонетической трансформации сложного образования *-гару*, возводимого докладчиком к самостоятельному слову со значением «рука» и дошедшего до наших дней в реликтовых образованиях.

В докладе «Категория модальности и ее отражение в тюркских языках» Ф. Р. Зейналов (Баку) предложил критерии, позволяющие выделить модальность в самостоятельную категорию.

В докладе Н. З. Гаджиевой (Москва) «Два источника формирования условного периода в тюркских языках» рассматривались две тенденции, сыгравшие определенную роль в развитии условного периода в тюркских языках: одна связана с желательным оптимизмом *-са*, другая — с временным *-са* (развившимся на базе деепричастия). А. Г. Эйвазов (Баку) в докладе «История изучения имени прилагательного в тюркских языках» обосновал выделение прилагательного в тюркских языках как особой части речи. С. А. Атамирзаева (Ташкент) сделала доклад «К вопросу о происхождении умлаута в тюркских языках». Тема доклада Л. А. Покровской (Москва) «Об устойчивости семантической группы слов, обозначающих родственные отношения в тюркских языках» связана с методикой сравнительно-лексикологических исследований по алтайским языкам. Доклад К. М. Мусеева (Москва) «Некоторые наблюдения над историческим взаимодействием тюркских языков с нетюркскими» касался, главным образом, исследования терминов родства в западнокавказских языках (кумыкском, карачаево-балкарском, караймском и крымско-татарском).

Истории и современному состоянию узбекского языка были посвящены доклады Э. Фазыловой (Ташкент) «Староузбекский язык», И. Д. Циртула (США) «Сложные глаголы в узбекском языке» и Д. Шultz (ГДР) «О немецкой транслитерации узбекских собственных имен и фамилий».

Два доклада тюркологов из ГДР касались тюркских письменных памятников. В докладе Г. Хаая и «Об одном отрывке из рунического памятника в честь Тоньюкука» были предложены частные уточнения по чтению рунической надписи в честь Тоньюкука. О несторианско-тюркских текстах из Турфана доложил П. Циме (ГДР). А. С. Твритинова (Москва) сделала доклад «Два списка Канун-наме султана Селима I из советских рукописных коллекций».

Вопросы взаимодействия тюркских языков с нетюркскими были освещены в докладах С. Какук (Венгрия) «Османско-турецкие лексические заимство-

вания в венгерском языке» и Х. Калеш (Югославия) «Влияние турецкого языка на словообразование в албанском языке». Многие доклады зарубежных лингвистов были посвящены турецкому языку и, в частности, его диалектологическому и историческому изучению: З. Коркмаз (Турция) «Вопрос о языковых особенностях анатолийских диалектов в связи с этнической структурой», С. Булч «О некоторых формах спряжения в анатолийских диалектах», И. Майер (ГДР) «Среднеанатолийский диалект Сиваса», И. Блашковица (Чехословакия) «Османско-турецкий язык XVII века в ареале Дуная» и др. С. Тежджан (ФРГ) прочел доклад «О состоянии исследования языка халадз»; носители этого языка, который, по мнению докладчика, является особым языком тюркской семьи, живут в Иране.

Целый ряд докладов был посвящен монголоведению: Н. П. Шастина (Москва) «Монголоведение в СССР», Н. Ц. Мункуев (Москва) «Монгольские документы из Кара-Кото», Б. Ринчин (Улан-Батор) «Понятие души в монгольском шаманизме».

На конференции были представлены и темы, связанные с развитием тюркских поэтических форм (И. В. Стеблева, Москва: «К вопросу о развитии тюркских поэтических форм в XI в.»), с фольклором тюркских народов (Н. С. Смирнов, Алма-Ата: «Алтайские и казахские версии эпоса „Козы-Корпеш“»; Н. Боратав, Франция: «О Ходже Насреддине и месте его рождения Сиврихисар»), литературой (доклады М. С. Сильченко, Алма-Ата; Р. Г. Фиша, Москва; И. Т. Татарлы, Болгария), искусством и историей тюркских народов (доклады А. Зайончковского, Польша; Е. Эсин, Франция; С. К. Камалова, Нукус; Ш. Ф. Мухамедьярова, Москва; Е. К. Саркисяна, Ереван и др.).

Таким образом, проблематика 12-й алтайской конференции была многообразна и охватывала как частные темы по отдельным алтайским языкам, литературе, искусству, истории, так и некоторые общелтайские проблемы. Последние, к сожалению, не заняли ведущего положения на конференции из-за значительной дробности тематики.

Следующая, 13-я конференция ПИАК соберется в 1970 г. в Страсбурге под председательством избранного 12-й конференцией президента И. Меликовой (Франция).

Дальнейшая разработка общих проблем алтаистики будет способствовать более углубленным сравнительным исследованиям отдельных подгрупп алтайских языков: тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских.

Н. З. Гаджиева, Л. А. Покровская
(Москва)

*

Вопросам отраслевой лексики иберийско-кавказских языков была посвящена Третья региональная научная сессия по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков, проходившая с 8 по 10 сентября 1969 г. в городе Грозном. На пяти пленарных заседаниях было прослушано 40 докладов.

В работе сессии приняли участие лингвисты-кавказеды из различных научных центров Советского Союза: Москвы, Тбилиси, Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Карачаево-Черкесской АО, Северной Осетии, Дагестана, Абхазии, Азербайджана.

Открывая сессию, председатель Оргкомитета по созыву региональных научных сессий акад. АН Груз ССР А. С. Чикобава подчеркнул, что поскольку иберийско-кавказское языкознание — понятие историческое, историко-сравнительный подход является для него основным методом исследования.

Ленинской национальной политике и основным итогам изучения нахских языков в Чечено-Ингушской АССР за советский период был посвящен доклад А. А. Саламова (Грозный).

Цели и задачи изучения отраслевой лексики были определены в докладе А. С. Чикобава (Тбилиси) «Отраслевая лексика и научная актуальность ее изучения». Полный учет отраслевой лексики — особенно в бесписьменных языках и в их диалектах (вместе с контекстами, в которых отраслевые слова употребляются, и с должным учетом соответствующих реалий) представляется необходимым с точки зрения лингвистической и культурно-исторической.

Цикл докладов был посвящен абхазско-адыгским языкам.

В докладе К. В. Ломтатидзе (Тбилиси) «Названия месяцев в абхазском языке» была вскрыта сложная картина деэтимологизации соответствующих терминов, происходящей в языке. В диалектах абхазского языка фрагментарно сохранились как исконно абхазские, так и усвоенные из других языков названия месяцев, и восстановить древнюю абхазскую систему названий месяцев затруднительно, поскольку менялось количество месяцев, не все названия месяцев сохранились, перемешались названия разного происхождения, в результате чего несколько названий могут обозначать один и тот же месяц (и наоборот).

Доклад Г. В. Рогава (Тбилиси) был посвящен именам органической принадлежности («рука», «нога», «голова», «сердце», «лист», «корень» и т. д.) в абхазско-адыгских языках. Отметив, что дифференциация имен по органической при-

надлежности существует в адыгейском, где эти имена выделяются и морфологически, докладчик охарактеризовал это явление как инновацию (результат фонетических изменений).

Значение диалектной лексики для решения историко-генетических проблем раскрыла в своем докладе З. И. Керашева (Майкоп).

Отраслевая лексика с корнями *ты* «ячмень», *хы/фы* «просо» в адыгских языках была рассмотрена в докладе М. А. Кумахова (Москва), проанализировавшего строение производной лексики с данными корнями (по языковым данным ячмень и просо являются у адыгов наиболее древними из всех хлебных злаков).

Терминам животноводства (они были распределены по тематическим группам) в адыгских языках был посвящен ряд докладов: термины коневодства в адыгских языках были рассмотрены З. Ю. Кумаровой (Москва), в абхазско-абазинских диалектах — С. А. Амичба (Сухуми), термины животноводства в адыгейском языке — Х. Б. Дауровым (Майкоп), названия домашних и диких животных в адыгских языках — А. К. Шагировым (Москва).

Структурно-семантическая характеристика и классификация лексики адыгских народных игр была дана в докладе Б. М. Берсирова (Майкоп). Терминам родства и семейных отношений в абхазско-абазинских диалектах был посвящен доклад В. Х. Конджария (Сухуми).

В. Г. Шенгелиа (Тбилиси) рассмотрел названия деревьев в адыгейском языке: они образуются от названий соответствующих плодов посредством словообразовательного суффикса или при помощи слова «дерево», либо сочетанием обоих случаев.

Осетинские термины материальной культуры в топонимии Северной Осетии были рассмотрены в докладе А. Д. Цагаевой (Орджоникидзе).

Ряд докладов был посвящен отраслевой лексике нахских языков. Чеченская терминология транспорта в плане как синхронного структурного анализа, так и историко-этимологического толкования отдельных терминов была рассмотрена в докладе Ю. Д. Дешериева (Москва) и С. М. Мовтаева (Грозный).

Вайнахские названия одежды и ее частей явились предметом изучения И. А. Оздоева (Грозный). Названиям растений в вайнахских языках, относимых к наиболее древним слоям словарного фонда нахских языков, был посвящен доклад Ф. Г. Оздоевой (Грозный). Народные названия трав, цветов и грибов в нахских языках были рассмотрены Ю. И. Алироевым (Грозный), отметившим их связь с наименованиями животных, птиц, насекомых; отдельные

названия трав легли в основу названий племен. В докладе Т. И. Дешериевой (Москва) и Ю. Д. Дешериева проанализированы чеченские наименования кукурузы и процессов ее обработки.

О результатах изучения анатомических терминов в чеченском языке доложил А. Д. Тимаев (Грозный).

Строительной лексике в нахских языках были посвящены доклады К. З. Чокоева (Грозный) и Т. Б. Гониашивили (Тбилиси).

Названия птиц в ингушском и чеченском языках были рассмотрены в докладе Р. И. Ахриевой (Грозный).

Д. С. Иманашвили (Тбилиси) рассмотрел некоторые группы лексики животноводства в чеченском языке (с учетом диалектных вариантов) — как названия, выражающие общие понятия, так и конкретные названия, различающие животных по возрасту, полу, масти и другим признакам.

Грузинско-нахским схождениям в отраслевой лексике, свидетельствующим о древних грузинско-нахских языковых связях, были посвящены доклады А. Л. Чинчараули (Тбилиси) и О. И. Кахадзе (Тбилиси).

Отраслевая лексика дагестанских языков также рассматривалась в цикле докладов. Термины культурных растений вцесских (дидойских) языках были проанализированы Е. А. Бокаревым (Москва), термины животного мира в лезгинском языке — У. А. Мейлановой (Махачкала), которая усматривает в них два слоя — исконные названия, восходящие к пралезгинской или прадагестанской языковой общности, и заимствованные.

Системы обозначения возраста домашних животных в аварском языке коснулись в своем докладе З. Н. Джапаридзе (Тбилиси).

Терминология кубачинских златокупецов была рассмотрена А. А. Магометовым (Тбилиси), отметившим преобладание терминов отглагольного образования и композитов.

С. М. Хайдаков (Москва), проанализировавший термины гончарного производства в лакском языке, распределил их по тематическим группам.

Названия частей тела в крызском и лезгинском языках, где они различаются только фонетико-морфологическими особенностями, были рассмотрены в докладе Ш. М. Саадиева (Баку).

Термины гужевого транспорта в крымском языке, среди которых обнаруживается большое количество тюркских и персидских заимствований, осветил в своем докладе В. С. Хидиров (Баку).

Дахурским терминам овцеводства, по сравнению с другими отраслевыми терминами в этом языке, посвятил свой доклад А. М. Асланов (Кировабад).

Иноязычный (главным образом — тюрк-

ский) слой в сельскохозяйственной лексике лакского языка исследован в докладе Н. С. Джидаева (Баку).

Некоторые культовые термины — исконные (часто дохристианские) и заимствованные (индо-иранские, семитские и армянские) — в удинском языке были рассмотрены в докладе Г. В. Рошила (Баку).

Были прослушаны также доклады Р. Х. Темировой (Черкесск) «Названия растений у адыгов (черкесов) Карачаево-Черкесской автономной области» и А. О. Мальсагова (Грозный) «Небесные светила и связанные с ними имена мифологических божеств вайнахов».

Два доклада были посвящены вопросам терминологии. Чеченская и ингушская грамматическая терминология была рассмотрена М. Д. Чентиевой (Грозный), вопросы унификации номенклатуры иберийско-кавказских языков — Г. В. Топурия (Тбилиси).

Как показала работа этой сессии, посвященной столетию со дня рождения В. И. Ленина, достигнутые результаты по сбору и систематизации терминов отраслевой лексики уже положили начало широкому изучению отраслевой лексики иберийско-кавказских языков. Сессия отметила необходимость разработки программ по сбору отраслевой лексики, начав с лексики животноводства. В заключительном выступлении чл.-корр. АН СССР С. Г. Бархударов, подчеркнув научную актуальность разработки отраслевой лексики, отметил, что данная сессия окажет стимулирующее влияние на изучение лексики в Советском Союзе.

Сессия приняла решение созвать очередную четвертую региональную научную сессию по историко-сравнительному изучению иберийско-кавказских языков, посвятив ее проблемам синтаксиса, в 1971 г. в г. Нальчике, и развернуть подготовку к пятой сессии (1973 г. в г. Орджоникидзе), посвятив ее проблемам языковых контактов на Кавказе.

А. А. Магометов (Тбилиси)

*

По инициативе Научного совета по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций» и Института языкознания АН СССР 25—27 ноября 1969 г. на филологическом факультете Белорусского государственного университета состоялся второй симпозиум «Тюркские лексические элементы в восточных и западных славянских языках», на котором было

прослушано около 30 докладов и сообщений¹.

В коллективном программном докладе «Проблематика словарей тюркизмов восточно- и западославянских языков» Н. А. Баскакова, И. Г. Добродомова (Москва) и А. Е. Супруна (Минск) не только разрабатывалась лексикографическая сторона вопроса, но и делалась попытка теоретически обобщить формальные и семантические признаки тюркизмов, а также каналы проникновения последних в славянские языки. Доклад вызвал плодотворный обмен мнениями. Созвучный по тематике доклад А. И. Журавского (Минск) обогащал дискуссию конкретным материалом белорусского языка. В выступлении Р. З. Князбейли (Баку) речь шла о тюркизмах, зафиксированных в академическом семнадцатитомном словаре современного русского литературного языка. К. М. Гюльямянц (Минск) исследовала хронологическую и тематическую стратификацию турецких заимствований в словаре польского языка.

В докладе М. Г. Булахова (Минск) на обширном библиографическом фоне «тюркологических обследований» древнерусской письменности был предпринят лексикологический анализ Духовных грамот XIV—XVI вв. Тюркским элементам в лексике Духовной грамоты Ивана Калиты посвящен был доклад В. И. Филоненко (Пятигорск). В. Д. Аракин (Москва) подробно остановился на систематизации лексических тюркизмов в русских былинах. А. Н. Качалкин (Москва) рассмотрел тюркские заимствования в русских памятниках XVII в. А. К. Аптонovich (Вильнюс) сосредоточил свое внимание на восточных словах (главным образом религиозных терминах) в текстах белорусских татар.

В докладе Н. А. Баскакова выяснялась роль тюркизмов в русской антропонимии; Н. В. Бирило (Минск) на многочисленных примерах показал, что около 3% современных белорусских фамилий имеют в своей основе тюркские лексемы.

В сообщении А. М. Булыки (Минск) анализировалась словообразовательная способность тюркизмов в старобелорусском языке, И. Т. Спирина (Уральск) говорила о фонетическом освоении тюркских заимствований в уральском говоре русского языка.

* 1 См.: «Тюркские лексические элементы в восточных и западных славянских языках. Тезисы докладов второго симпозиума», Минск, 1969.

Г. Ф. Благова (Москва) проследила пути, по которым проходило освоение тюркизмов в русской этно-лингвистической терминологии, а Н. П. Бутенко (Львов) исследовала тюркскую географическую лексику в составе топонимов.

Ряд выступлений характеризовался этимологической направленностью. И. Г. Добродомов, привлекая материал чувашского языка, истолковал как булгаризмы восточнославянские лексемы *шапка* и *яндол*. Сообщение В. В. Мартынова (Минск), основанное на белорусск. диалектн. *капіца*, *капыл*, содержало некоторые предположения относительно этногенезиса антов; в сообщении М. Д. Феллера (Львов) о русск. *басма*, *басмить* косвенно подтверждалась гипотеза о распространении печатной книги по пути — «Татария — Московия — Скифия — Италия». А. Е. Супрун этимологизировал белорусск. *тулун* и *агач*. Г. И. Халимоненко (Москва) привел примеры тюркских заимствований в современном украинском языке. Сообщение Н. И. Зайцевой (Минск) было посвящено тюркизмам в чешской и словацкой мифологической лексике; Д. С. Сетаров (Карши) исследовал тюркизмы в русской орнитологической терминологии, а Г. В. Пальцев (Минск) этимологизировал белорусск. *бугай* «выпь». Живой интерес вызвал доклад Р. В. Кравчука (Минск) «Тюркологические мифы (мнимые тюркизмы в славянских языках)».

Несколько выступлений было посвящено путям и ареалам распространения тюркизмов в славянских языках: доклады И. С. Козырева (Орел) «Пути проникновения тюркизмов в русский и белорусский языки», Э. Н. Кушлиной (Душанбе) «Некоторые вопросы ареальности тюркизмов в русском языке», Л. А. Кубановой (Карачаевск) «Словарные тюркизмы и лингвистическая география», Б. Ю. Нормана (Минск) «Русский язык как передатчик тюркизмов».

В целом симпозиум с определенностью очертил область совместных интересов тюркологов и славистов. Обсуждались принципиальные вопросы методики составления словарей тюркизмов в славянских языках, уточнялся характер тюрко-славянских языковых контактов, было определено и систематизировано множество конкретных примеров таких контактов.

Б. Ю. Норман (Минск)

CONTENTS

The number is dedicated to V. I. Lenin's centenary

Articles: V. V. Vinogradov V. I. Lenin's style and tasks of textology; V. A. Avrorin (Leningrad). Lenin's principles of language policy; Y. A. Belčikov (Moscow). The importance of V. I. Lenin's works for the study of Russian literary language of XIX — XX centuries; B. A. Serebrennikov (Moscow). The reflection of the development of human thought in the structure of language; **Discussions:** Arn. Gikobava (Tbilisi). On the relation of the Kartvelian languages to the Indo-European and North-Caucasian languages; A. L. Zhovtis (Alma-Ata). On the criteria of typological characteristics of the free verse; E. S. Kubrikova (Moscow). On the types of morphological divisibility of words, quasi-morphs and markers; **Materials and notes:** T. B. Alisova (Moscow). A tentative classification of simple sentences on semantic-grammatical principles; **From the history of versification-study:** S. I. Ghindin (Moscow). V. Y. Briusov's views on the linguistic acceptability of rhyme-systems and the development of Russian syllabics (based on manuscripts of the nineties); **Critics and bibliography;** **Scientific life:** L. S. Kovtun (Leningrad). Manuscripts containing linguistic themes at the depositary of the Puškin House.

SOMMAIRE

Le numéro est dédié au centenaire de V. I. Lénine

Articles: V. V. Vinogradov. Le style de V. I. Lénine et les tâches de textologie; V. A. Avrorine (Léninegrad). Principes léninistes de politique linguistique; Y. A. Belčikov (Moscou). L'importance des oeuvres de V. I. Lénine pour l'étude de l'histoire de la langue littéraire russe de XIX — XX siècles; B. A. Serebrennikov (Moscou). La reflexion de la pensée humaine dans la structure de la langue; **Discussions:** Arn. Gikobava (Tbilisi). Sur la relation des langues kartveliennes aux langues indo-européennes et caucasiennes septentrionales; A. L. Zovtis (Alma-Ata). Les critères de caractéristique typologique du vers libre; E. S. Kubrikova (Moscou). Types de divisibilité des mots, quasi-morphes et markers; **Matériaux et notices:** T. B. Alisova (Moscou). Essai d'une classification semantico-grammaticale des propositions simples; **De l'histoire de l'étude de versification:** S. I. Ghindin (Moscou). Les vues de V. Y. Briusov sur l'acceptibilité des systèmes de vers et le développement de vers syllabique russe; **Critique et bibliographie;** **Vie scientifique:** L. S. Kovtun (Léninegrad). Manuscrits contenant des sujets linguistiques dans le dépôt de la Maison de Pouškine.

Технический редактор Н. И. Васильева

Сдано в набор 29/XII—1969 г. Т-00866 Подписано к печати 9/III 1970 г. Тираж 7165 экз.
Зак. 3362 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 13,3+2 вкл. Бум. л. 4³/₄ Уч.-изд. листов 15,7

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10